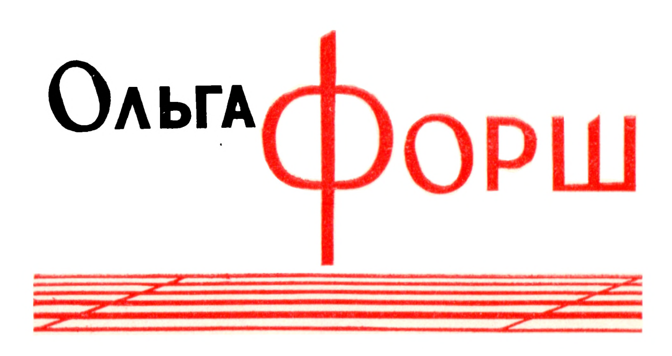
ОЛЬГА
ФОРШ
7

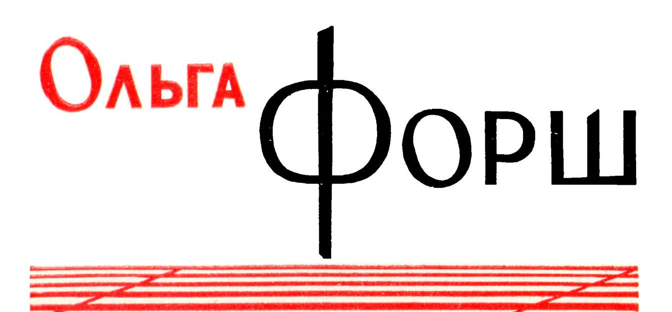
Ольга
Форш

ИХЛ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

Издательство
«Художественная литература»
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД
1964



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
7

РАССКАЗЫ
ПЬЕСЫ
1924—1929

Издательство
«Художественная литература»
МОСКВА • ЛЕНИНГРАД
1964

Примечания
А. В. Тамарченко

О. Д. ФОРШ

1934 год

ЛЕТОШНИЙ СНЕГ

ДЛЯ БАЗЫ

I

— Дьякон-то наш из Дубовой Луки, дьякон Мардарий, живцом стал! Как же, и Марфа Степановна, и управдом Сютников, и Петька Козырь — все выследили, все удостоверились: переодевается.

Едва на столбцах афиши: «Совместное выступление»... звезды первой величины — один протоиерей, другой протоиерей, а приглашенные — шрифтом помельче, — дьякон сейчас — пиджачишко, полугалифе, самоделку с ушами, и по черному...

И в указанной зале собрания со всеми вотрется.

Однако Марфа Степановна способ нашла, как особу духовного звания и в перелицовке признать. Гриб подосиновик хотя в какой гущине, а изо всех краснеет, так и церковники из живцов. Кто к длиннополой одежде привык, как обкорнается, сейчас норовит колени ладошками прикрывать; то ли ему поддувает с непривычки, то ли конфузно ему — не иначе раздетый.

Вот по этой ручной замашке и ловили прихожанки переодетых церковников без обману. А поймают — раскалятся. Они и сзади подберутся гвоздить и вдогонку ему шепотком: живец, балтист, подосиновик...

Раз Петька Козырь с другими зефирщиками с Васильевского острова до самого до дому затеяли дьякона потравить, да на пути другой секрет его и открыли.

— Дьякон-то ведь не домой, а в кафе «Козерог» как стрельнет!

— Эге, выследим, — сказал Петька другому зефирщику, — а пока что папиросками торганем.

— Сафо толстая, Зефир трехсотай, Гражданс-ки-я!

Часа два надсаживались, чуть дьякона не зевнули.

Да полно, дьякон ли это Мардарий? Глаза углем обведены, на щеках красные пятна, как у клоуна в цирке, в воротник бороденкой ушел, нахлобучился поскрытней, и по-заячьи...

Визганул Петька Козырь, и с зефирщиком к Марфе Степановне:

— Готовьте, буржуйка, сахару — сообщение первой важности! Дьякон Мардарий в кафе «Козерог» нумера распапашился выполнять.

Эх, яблочко да мелко рублено,
Не целуй, клеш, под нос, я напудрена.

— Врешь, Петька, это уж обязательно врешь, — и в радости Марфа Степановна к дверям, у дьяконицы распытать.

— А ты, Петька, иди, иди! Пока не украл!

— Скажи курице, она сейчас улице, — огрызнулся Петька, — а сахар-то где? — И за дверью: — Буржуйка саботажная!

А когда в темноте, нахлобучившись, бороденка в воротник, дьякон, как тать, пробирался к себе, на все этажи свистнул Петька с зефирщиком:

— Дьякон-живец, твой антихрист отец!

Выпуская гостя, управдома Сютникова, вышла Марфа Степановна за порог своей двери, плюнула перед дьяконом, растерла калошей, хлопнула с сердцем задвижкой, насадила крючок и дважды с музыкой щелкнула ключом — будто от громилы, оборонялась от дьякона. А гость ее, управдом, он же богоспец Сютников, отступая на шаг и пряча за спиной руки, сказал:

— Дьякон, дьякон, как дошел ты до жизни такой?

Дома дьяконица, с обвязанной щекой, бессонная над больной пеленашкой, жадно схватила протянутую дьяконом распухшую от обращения красную столимонку, положила ее на стол и притиснула сверху холодный утюг. И молчала дьяконица. Молчал и дьякон.

II

Дьякон Мардарий в Дубовой Луке и родился, и на лето из семинарии приезжал, и женился, и с дьяконицей своей двух детей народил. Одно в военное время, другое под Временным — оба вскормлены как у людей: на материнском молоке да на коровьем. И лишь только третье — окончательно революционного времени — подымалось на сгущенном и на белой крупе из посылки «Ара».

Не любят получающие арийцы стекловидную эту крупу, ею рынки завалены, она ходит дешевле пшена.

Родилась эта третья дьяконова пеленашка в столице. И совсем бы ей при такой бедности не родиться! Что поделаешь: от абортной ориентации скромная дьяконица в стороне, а многоплодие в духовном кругу как было, так и есть — статья не поддекретная.

Но зачем было дьякону из Дубовой Луки да в столицу?

Жил он на селе, немудрящий, мужиками любимый. И дед и отец Мардария в той же Дубовой Луке были священниками.

Чудной народ мужики: деда Мардариева, хмельного попа и ленивого, так любили, что перед благочинными за него распинались, когда, бывало, по пьяному делу между ектеньями он не такое словечко ввернет, а доносчик растебенькает. Запрутся на опросе, покроют: окромя божественных, не было слов...

А вот на отца Мардариева, на академика, на постника, как снег — челобитная: не продохнуть от попа, убери его, владыко!

Развел благочинный руками: старому пьянице потакали, а тут ака-де-мик...

— Старый поп деревенцами не гнушался, службу скоро правил, грехов не тянул. Этот же после обеденки еще «слово» норовит, а что не пьет — кишка у него тонка, нам это даже совсем не угодно.

Мардарий весь в деда: и хохотун, и простец, и с ранних лет — на свадьбе ль, на хресьбинах ли — любит стаканчик глушить.

Приятель и кум, Захар-винокур, бывало, сахару в водку сыпнет, перстом размешает, в чайной чашечке поднесет: пей сладимую, слаще жить!

С Захаром и с другими парнями хаживали в Ордынок-монастырь.

Пели поминаньице, родителей за копеечку, родню за денежку.

Заводил тонко Мардарий:

Папеньку родного.
Маменьку родную.
Папеньку хрёстного.
Маменьку хрёстную...

Весь день собирали, ввечеру пропивали. Нравилось вечером в реке раков ловить на лучину. Река от заката — плавленое золото, задолго придешь, любуешься. Монастырь нравился: тихий, рабочий, с диковинно расписанными образами.

Во всю стену хватил художник от Матфея главу седьмую: «И что ты смотришь на сучок в глазу брата своего...»

И бревно из глаза осудителя — агромадное, четверо надуваются, еле держат. А другой образ радостный: «и взыграше младенец». Чрево у Елизаветы взято в разрез, и нагой младенец в нем на скрипке играет.

И вот эти два образа — вся наука Мардарию. Умом не хитер, сердцем берет. А для сердца тут все: от Христа ему радостно, как младенцу во чреве. А урок его главный-то: к брату, к ближнему — свое бревно помни, другого не ешь. И оттого что Мардарию вся мудрость тут, на ордынской стене, по книжкам в семинарии шел плоховато, уж куда в академию!

Отец умер, и Мардарий в той же церкви стал дьяконом. Женился, обзавелся хозяйством; и век бы ему, как отцу и как деду, тут вековать. Хотя бы и револю-

ция? Что ж особенного! Перемена правительства — другое поминовение, а служба та же и тот же храм. А хоть волнения кругом не избыть, тому, кто смиренно сидит и об одном иждивении рук своих промышляет, тот и сыт, тому и хлопот больших нет. К тому же Мардарий — всего дьякон, и за все про все в ответе не он, а священник.

И вот опять: зачем дьякону в такое-то внезапное время из насиженной Дубовой Луки да в столицу?

Еще было начало революции. Еще кричали по России приказы: «Я, Керенский, я...»

Еще могли быть и такие и эдакие мнения, а по железным дорогам шла демобилизация.

Первоначально дьякон Мардарий втиснулся в туго набитый вагон без всякого особенного мудрования, по одной лишь фамильной надобности: поехал в уездный город к собственной теще, на предмет обмена сырья на мануфактуру.

И ничего с ним в вагоне и не было, кроме обычного в такое время разнообразия разговоров, а вот поди ж: поехал один человек, воротился другой.

III

В вагоне, на нижнем диване, друг против дружки — собеседники. Один говорит, другой слушает; от него видно дьякону на лоб свисший чуб, усы, бородка; другой с побывки едет опять на собор — он виден весь. Небольшого роста, судя по широким плечам недавно еще плотный, сейчас страшно измученный, почти больной человек. Речь его для дьякона необыкновенна.

Не столько словами, а как-то всем существом, движением коротких пальцев, напряженным, вдаль глядящим взглядом — вызывает он, показывает то, о чем говорит.

— Владыко воронежский, владыко тамбовский... — и замрет.

— Ну что ж, зазорного в этом владыке нет ничего: роста крупного, крест над кафедрой золотится, голос — бас. И хозяин... по докладу видать. Главное дело — хозяин.

— Ну, владыко такой-то...

Помолчит. Словно ищет в новом имени то драгоценное, чего не назвать ему словом.

Дрогнули губы, короткими пальцами скорбно развел: на нет, дескать, и суда нет. Другой, напротив, подперся, чуб свесил, сокрушен, как от тяжкого горя:

— Что ж, и в этом зазорного ничего. Ростом пониже, не ходит — бегает, и к молочникам лют.

Смешлив дьякон, как прыснет:

— Молочники! Это те, что в пятницу чай с молоком?

На минуту обернулись оба на дьякона.

— Извиняюсь, — сказал по-новому Мардарий, — я из Дубовой Луки, мы там в темноте насчет хода событий...

— Какие события, одна ябеда: «крючки» в буфете шмыгают, особам наушничают, а особы нас, профессоров, этак с занозой: «достопочтенные...»

Долго, истово, со страшной внутренней напряженностью и оттого как бы внешней бедностью, необыкновенно ведется рассказ. И верит дьякон рассказчику; не только видит, как видел тот, но вместе с ним и сам

скорбит о чем-то таком заветном... а о чем? И не назвать.

Дивится Мардарий: вольный человек, а поди ж ты, как за наше, церковное, болеет душой.

Осмелел, говорит:

— И как это вы все упомнили: и про главное и про околичности?

— А это душа уж сама затаила, чтобы честной памятью проверять на досуге. Задача-то ведь какая? Ради нее и жить и помереть: Христову правду выразить!

— А на деле-то, а на деле!... — прервал тот, чубатый.

— А на деле пока так: в этом всероссийском соборе, за немногими исключениями, определял средний уровень не огонь, не дела веры, а вот этот скорбно-комический минимум: зазорного нет ничего. И у многих, знаете ли, в руке, благословляющей какую-нибудь персону, —непроизвольный изгибчик и грация этакая, дореволюционного времени.

— А они всем вершат. Создают форму и норму... Мертвый собор.

— Так история и запишет: первый московский всероссийский мертвый собор!

И опять, как сокрушенный тяжким горем, подперся чубатый, ниже свесил чуб:

— Столь угашен у нас дух, иных вдохновений, видно, не стоим.

Религиозная форма и норма.

Вышли соборники на пересадке, и такое у Мардария за них беспокойство: сядут ли дальше, куда им надо, или, приткнувшись на корзины, пропуская все

поезда, снова пойдут особо перебирать за владыкой владыку.

Чувствительно дьякону: не специально духовные люди, а как про духовное говорят!

— Христову правду, вишь, выразить, а за это им и жить и помереть!

И не слыхал в своем-то кругу.

Обмозговать дьякону охота, — а где тут обмозгуешь?

Опять новые люди, опять — смотри, слушай!

На месте соборников внизу примостился только что выбранный товарищами себе в начальники солдат. Зовут его все — господин офицер.

Офицер держит крепкой ладонью серебряный подстаканник с надписью: «От роты уважаемому товарищу».

В подстаканнике тонкий стакан баккара́ и ложечка. Офицер командует в гущу серых шинелей:

— Кротков, на следующей станции возьмите нам в окно две бутылки ситры. Безразлична ее стоимость. Кротков, себе вы возьмите одну четвертую часть, а прочим мы угощаем.

— Какая часть двух бутылок — одна четвертая?

— А кто ж ее знает, — как шмель, сонный бас.

— Вы, Кротков, должны знать, когда вы сознательный. Я вам толковал.

На остановке чья-то рука, должно быть Кроткова, подает две бутылки. Рыжий солдат при передаче легко подбрыкивает одну на ладони.

— Почитай, целую облегчил.

— Кротков-то сознательный.

— Кротков, идите сюда, чай будем пить!

Кротков медведем пробирается к чайнику. Щеки у него — два арбуза, усов еще нет, и ему все равно.

— Кротков, сюда, с нами рядом!

Офицер сжимается на своей корзине и далеко вперед выносит руку со стаканом баккара.

Офицер волнуется. Он знает, что за ним все следят. Дело его тонкое: и себя не уронить и новое революционное сознание между офицерами и нижним чином выявить: равноправие.

— Кротков, вы мне лейте воду, а я вам обратно лью чай!

Одновременно наливают друг другу.

— Кротков, через час времени вам пересадка! Дальше едете вы отдельно, на северо-на-восток. Захлестнитесь потуже: вспомните, я вас научил, что́ на северо-на-востоке?

— Известно что — Вятка. Домой в Вятку еду.

— Вятка есть ваша родина, а я вам доказывал по учебнику, что на северо-на-востоке обязательно холодней. Опасайтесь простуды.

Офицер и Кротков допивают чайник. Офицер бережно обворачивает тонкой тряпкой стакан баккара и прячет в корзину, доставая взамен старую карту России. Водит пальцем по карте.

Все склоняются, двое светят огарком, любопытствует дьякон, вытянув шею, а Кроткову все равно, и не склонился толстым лицом, так стоит.

— Вы скажете дома, Кротков, вы скажете... — Голос у офицера крепнет, а сам он гордый, как на коне. — Вы скажете: «Я ехал через четыре республики — Украинскую, Польскую, Литовскую и, собственно говоря, нашу, именно — Великороссийскую...»

На большой станции, где, помирившись после крутого боя, враждебные стороны выпили все самовары и пассажиры, не раздобыв кипятку, страшно ругали и своих и чужих, офицер целовался с Кротковым и, выгружая его, вдогонку кричал:

— Захлестнитесь потуже, на северо-на-востоке обязательно холоднее! И республики упомните...

Не дошел в ответ бас Кроткова, и, уж верно, подернул плечом:

— И кто их упомнит...

А внизу еще новые: «Центрофлот» и почтенный георгиевский кавалер.

Щека у кавалера подвязана, на рукаве три нашивки, три, значит, раны.

— Щека эта — еще в тысяча девятьсот четырнадцатом году, вверху горы пуля въелась. Зажав рану, сел, извиняйте, на себе собственно вниз и съехал. Другой рукой штыком правил, что рулем. Сам вольно пошел. А в прежние войны еще два раза ранили, и все за нее, за Россию. А нонче-то, нонче, выходит, задаром!

И ничего другого кавалер не говорит. Подопрет крепче щеку, ломит кость к погоде, вздохнет: «Э-эх, все задаром!» А наискось матрос, круглое лицо, темное. Как повернет голову, сверкнет белками и золотом букв.

Спорит матрос с голосом верхней полки. Из-за чьих-то вещей явственно — голос, как диктант диктует.

У голоса выучка, и он с цифрами:

— Обманщики они или обмануты сами. Не встанут в Европе, вы только допустите...

Не допускает матрос:

— Все как надо, весь мир Россия спасет, весь зажжет! Читали: в Кельне... И допустить не хочу!..

Весь день матрос не допускает. Наутро побледнел, осунулся.

И ночь ведь всю спорил. Голос из-за вещей прочел вслух газету.

— Ну, сущие пустяки в Кельне-то!

И с новыми цифрами на матроса...

И к полудню отвечает матрос, глядя в окно на снега, уходящие к самому лесу, чтобы упасть на него белым мехом; говорит матрос будто не людям, а снежному пустырю, а этим верстам мелькающим:

— Ну, хотя бы и обман! За такой и за обман помереть не жалко. Бывало, баранами мерли...

А внизу кавалер тугоухий:

— Это вы верно, матрос! Мы за свое мерли в свое время, вам теперь за ваше. Если человек в полном чине, за что ни на есть, а сложить ему голову надо. Не то воши, воши живого съедят!

IV

Вернулся дьякон и провизию привез и все, как полагается.

И вот затосковал. Церковники те, офицер, солдат да матрос из ума не идут. Всех будто раньше видал, а вот поди ж ты — новые они дьякону люди.

Чем новые? А тем, что всем им до чего-то есть дело такое, хоть бы за это и помереть. А ему вот, Мардарию, ни до чего такого нет дела. Его, значит, воши съедят. Не умеет дьякон, не привык думать, зато с юности

полно сердце волнений: от спелой нивы, от облачных в небе барашков, от белой змеистой дороги, по которой ходили, бывало, в Ордынок, от молитвы иной, от своего служения дьяконского — как препояшется орарем под нехитрое пенье всем миром молитвы господней...

И теперь чаще мнится Мардарию: не пустой он обряд совершает, а благодатно препоясался в путь, как посланец высшей воли, возвестить ее людям.

А какой воли и что именно возвестить — и не знает дьякон.

Но крепко вошло в него новое: найти надо, за что сложить можно душу, чем сан оправдать! Но и страх с этим новым: прилично ли ему, духовному лицу, иметь хотя бы мечтательное участие в общей революции?

Прилично ли даже желать в своем ведомстве перемен?

Летели дни, и наступили времена, когда сроки обыкновенных счислений уже так сгустились, что иной день человек проживал годы, а годы шли за столетие той медленной, неухабистой жизни, что прозывалась «культурной».

Как рыбе из моря на суше один конец — либо научиться дышать по-иному, либо пропасть, — так и человеку в эти годы: либо гони себя в рост на курьерских, либо оседай, иди плесенью...

И вот окончилась война, не стало фронта, пошло устроение домашнее.

Встрепенулся дьякон при «изъятии ценностей» и при слухах о новом церковном движении. А может быть, оно — вот то самое, что он ждет, не умея назвать, — оправдание сана в его чине ангельском?

Денно и нощно — в мечтах Мардарий: как бы ему да в столицу попасть? И вдруг перст судьбы: письмо оттуда. «Овдовел, бездетен, дьяконицу-сестру с мужем и с ребятами приглашаю — вместе легче продержимся».

Дьяконица брата любила и покорная, своей воли нет — Мардарий ей закон. А Мардарий одно:

— Перст это, перст!

И попали из своей Дубовой Луки да в столицу. Дьякон в тихом приходе устроился, не в центре, конечно, но и не совсем на окраине. Да беда: новый перст судьбы, на этот раз не обольщающий, а как бы «первое предупреждение» дальнейших бед. Шурин тиф прихватил, поболел и помер. Осталась квартирка, а половины доходов ищи! Спекуляцией шурин накручивал — валютчиком. А тут дьяконица родила. Самой кормить нету силы, а коровьему молоку здесь возможно поверить, когда сам корову подоишь. В таком роде и было: первые месяцы дьякон дважды в неделю к чухонке за город ездил, бидоны возил, за них чухонке в обмен то лампу, то зеркало.

Проглотила к полугоду дьяконова пеленашка почитай всю обстановку, и, отдав за бидоны стол ломберный с зеленым верхом, дьякон решил перевести дитя на сгущенное. А за сгущенное — денежки. Да болеть пошли и дьяконица и ребята. Сразу — все без подметок, и дрова... топились, топились — ан нет больше дров!

Приход дьякона бедный, из «мертвой церкви», а тут «совместное выступление» и мода на живцов. Еще бы не мода! Один среди церкви служит, другой с органом, третий с женщиной вместо дьякона. Тот стихи Блока между ектеньями с телодвижением говорит. Еще на

отлете и такая община завелась, что не то студента, не то курсисточку-медичку всем миром поставили да без образов, с одними лишь портретами русских классиков, всенощное бдение правят.

Взорвалась твердость прихода, вот-вот все рассыплется.

Дома Мардарию дьяконица душу мотает. К ней соседка Марфа Степановна с вычислением приходила: все проценты в сгущенном молоке совсем не молочные, а из чего-то, бог знает из чего. Без чухонки дитя пропадет. А чухонке дать что? Старшенькие — первая ступень — окончательно без башмаков. Дьяконица себе к летним туфлям пришила рукава старой шубы, не ноги у нее, а трубы самоварные, ночью только и выйти. Ну что, спрашивается, дьякону Мардарию делать? К пану Ступаковичу поступать?

Пан Ступакович давно как бес вокруг дьякона ходит, к себе, в кафе «Козерог», номера петь зовет. Губа не дура у пана Ступаковича, и расчет его без просчета: дьякона и дьячки отощали, голоса у многих не хуже, чем у вольных артистов, а по духовному положению своему возьмутся за дело сходнее. Особливо из «мертвых», так как мода сейчас на живцов.

Вот и пошел с дозором пан Ступакович по церквам, отмечает в блокноте хорошие голоса. Знакомится деликатно, и предложение выступать в номерах с частушкой, с характерной песней «Лапотник», словом, по сезону — с чем придется.

— Гонорар разовой, без заминки, одно условие — не опаздывать. Дело живое, проточное: посетитель, особливо подвыпивший, обожает быстроту и коловращение.

Голос у дьякона Мардария записал в блокнот Ступакович — tenore di grazia,[1] а как при знакомстве узнал, что в селе с своей песней славился, — ну как клещ.

Пан Ступакович не отстает, дьяконица с бидонами пристает — как удержаться Мардарию?

— При моем сане зазорно, ряса на мне!

— Вы не в рясе будете петь, — говорит Ступакович. — Вы рясу в общей уборной на гвоздь повесите, а с чего ряса на гвозде спаскудится? Никак. Вы петь будете в самом наиладнейшем лапотном уборе, и заметьте себе: плисовые шаровары — досконально прежняя роскошь.

Дьякону отец вспоминается — строгий, с академическим значком. А Ступакович свое: гонорар наивысший, разовой, без заминки, один уговор — не опаздывать. Дело живое, проточное.

— Как, неужели и в субботу? Сейчас после всенощной, и грим положить не успеешь?

— Грим? Пустое дело, — сказал Ступакович, — зеркальце выньте да хоть себе в алтаре цветным карандашом тут, там. Шапку нахлобучил, бородой в воротник, и — хотите на пару пива? — никому не узнать.

Дьякон Мардарий руками замахал:

— Такой грех в моем сане!

А пан Ступакович:

— Почему вам грех, когда у меня полный духовный ансамбль! И не какие-нибудь безработные, а сплошь живая и мертвая церковь. Теперь никто ветер себе в голову не впускает — совместительствует. А вы хотите состроить исключение?

— Сан духовный...

---

[1] Лирический тенор *(итал.)*.

— Я же сана, боже храни, не отгнетаю. Сан вам остается для базы. А кафе «Козерог» — отхожий промысел. Ну, не коротко и не ясно?

— Сан для базы! Духовный мой сан?!

Не спал эту ночь Мардарий и, как дятел, одно: «Ехал сюда, чтобы свой сан оправдать. А сан-то... для базы».

V

Дьякон Мардарий в столице больше слыхал о том новом, что творилось в церковных кругах, но, как в Дубовой Луке, это все были злые сплетни, а сам он приблизиться к делу не мог.

Приход его был из «мертвых», и батюшка в проповедях норовил завернуть про последние дни и печать антихриста. Конечно, все это с указанием на далекое прошлое Византии и гонение императора-арианина.

Но преотлично все знали, где сия Византия и кто будет сей арианин. А управдом Сютников, между всем прочим и богоспец, он проведал всю платформу живцов: и кому будут давать красные митры, и кто замечен в «сокрытии ценностей», и сколь много вдовых попов с разрешения ВЦУ поженились.

Он же приносил живцовский «Журнал для всех» с подсчетом на полях, сколько раз упомянуто слово «эксплу-а-та-ция» и прочие советские митинговые слова вместо прежних слов — божественных. А последний листок богоспец Сютников вырезал и наклеил на твердый картон.

Это было объявление о дешевой продаже плащаниц, подсвечников и хоругвей с плагиатным от Гостиного

двора выкриком, вроде рекламы крест-накрест: «Все для церквей!» Сютников, злорадно хихикая, берег этот листок для каких-то иных времен.

А дьякону Мардарию одно любопытство: самому поглядеть, удостовериться, точно ли живцы антихристы?

Прочтя как-то раз о «совместном выступлении», все дела неотложно бросил, в партикулярный свой костюмчик оделся, волосы шарфиком обвязал. Хоть и модны «стрижи», а не всякому просто поднять руки на волосы. Молитва над ними.

Тайком ускользнул на заседание Мардарий — и в самую точку попал. Главный один доказывал, как именно вышел в церкви раскол.

Мардарий не отрывался от главного.

На эстраду перед несметным народом тот выбежал и стал говорить. Разве словами? Нет. Будто — чирк — подожжет, и взорвется ракета, и вокруг огнями цветно... А он им упасть не дает, еще и еще...

Сразу Мардарий не понял смысла слов, боялся понять. Все, о чем он сам при царе еще не то что подумывал — куды, не сумел бы...

А скорее все то, от чего и стыдно и больно бывало, — вот про все это проповедник, как по самой умной книжке.

А войну-то, войну как разделал! Пушки чугунные, неодушевленные орудия, говорит, святой водою окропляли, чтобы им без промаха бить людей. Про все это таким ураганом взметает вверх, в стороны руки, сверкают глаза, весь бледный, яростный...

— Божья гроза, — шепчет Мардарий, — божья гроза.

Как девушка, скромный дьякон вовлекся в вихрь проповедника и весь замер в одном: за что скажет, за то и помру.

А говорит проповедник слова: «социализм», «революция»... «примем гонение и смерть за новое религиозное сознание!» Мардарию вспоминается, как тогда, в вагоне, он взволновался от всего, что видел, и как потушил в себе новый интерес, не зная, смеет ли он, духовное лицо, сопричтись революции. Теперь он видит, что смеет и как это надо.

— Кто принадлежит к прогрессивному духовенству, кто знает, что церкви нужен сдвиг, идите к нам!

Трепещет и стыдится Мардарий: неужто он сам и есть прогрессивное духовенство — ведь двух слов связать не умеет.

И хоть слышит сзади, не понимает насмешливых возгласов:

— При царе войну бы и корили!

— Задним числом дешевле стоит...

А тот на эстраде рассказывал, как они, несколько человек, сделали церковный переворот и как теперь все в церкви по-новому: в одной любви Христовой и в строительстве праведном...

Как только этот проповедник кончил, Мардарий других и слушать не стал, побежал домой.

Скрипит чуть подмерзший снежок, белая улица, и вдруг радость от нее, как от белой дороги, когда с парнями ходили в Ордынок. Молодость воротилась и вознесла. Сейчас сказал бы тем, профессорам, соборным, и кавалеру, и флотскому: «Я вам родня. Я, дьякон Мардарий из Дубовой Луки, тоже знаю, за что, собственно, мне помереть. А за новую, за живую церковь!»

Тихо пробрался в свой коридор дьякон Мардарий, тихо отпер ключом. Не раздеваясь, взял со стола ножницы и, сияя детскими веселыми глазами, отрезал целиком свою забранную в кулак косицу.

Дьяконица проснулась. Замученная, безброво и тупо смотрела на мужа. Потом она глянула вниз, на половицу. На половице, свернувшись кольцом, как змея, чернела густая дьяконова волна.

— Остриг...

И, как по каменным, по ее серым щекам съехали вниз две слезы.

VI

Решающие наступили для Мардария дни. Не в словах указать — оживлять жизнь делами, «новым религиозным сознанием», вместе с ним, с проповедником. Из-за этого с дьяконицей своей голодает.

Что ж ему, как начать? Попроситься в прогрессивное духовенство?

А какой он работник? Косноязычен он и немудрящ.

Вот если б, для примера, за что помереть надо бы, это он может.

Детей люди добрые не оставят...

А духовенству, как и всем, надо правду свою выразить: из-за чего, собственно, оно, духовенство-то, есть именно особое ведомство?

И мечтается дьякону: в обиде тот проповедник, что ему душу пронзил, готовится к ссылке, и на все его дело — гонение. А он, дьякон Мардарий, в ноги и ему: пострадать хочу с вами за все, собственно, о чем вы давеча с кафедры!..

Революция в России: кто умер, а кто узнал, за что ему умереть стоило бы. Ну, а кто и сейчас не узнал — того воши, воши съедят.

Узнал дьякон Мардарий: ему за живую церковь.

На другой день ввечеру пошел Мардарий к управдому Сютникову деликатно выспросить, как и что ему сделать, чтобы вдруг запринадлежать к прогрессивному духовенству, да обиняком допытать, как это в живцы вписываются.

А управдом, он же и богоспец, Сютников его вдруг, как медведя охотник, — по черепу — наповал:

— Живцы твои, дьякон, живцы каковы! — И нумерочком газеты меркает. — Гляди-ка в столбец. — Глазам дьякон не верит. — Отбирать у духовных лиц подписку о признании ВЦУ. А тех, братец, что заартачатся, вон из прихода, за пределы епархий. По старинке им нравится, и тут видать: щука съедена, а зубы-то, зубы остались. Хе-хе... за преде-лы!

Пришел дьякон домой, не спросил ничего, что хотел. Дома узнали — всполошенный дьячок прибегал — завтра утром церковный совет у батюшки на дому.

— Уж ты не прекословь живцам-то, — ноет дьяконица, — с ними не шутки. Отца Павла прихода лишили, а благочинный от Троицы сам «покраснел», с амвона грозил, коли кто не подпишется.

Кричит пеленашка, у нее режутся зубы, и рожок со сгущенным молоком она злобно толкает крепкими кулачками. Наливается красная, выпинаясь замотанным телом, как рассерженный рак.

Марфа Степановна просунула в дверь ядовитую свою голову в холодной завивке и прошипела:

— Успокойте ребенка!

— Снесу ее к доктору, — прошелестела дьяконица белыми губами, встала, пошатываясь от бессонных ночей. Двух старшеньких только что свезла в скарлатине в больницу.

Сидит один дьякон, топит времянку. Дымит она. Дым глаза ест. От него, что ли, плачут глаза. Темен умом дьякон, а сердце простору просит. Ну, ради чего революция? И собственно для духовного ведомства? Прочие ведомства все узнали, ради чего стоит жить и помереть. Ну, а духовенство? Ужели ради власти? И к кому пойти Мардарию, когда он и слова не знает и про свою православную веру, как в семинарии учил, чисто все позабыл. Одно помнит: образа на стене монастырской — «взыграше младенец во чреве» и бревно в глазу осудителя. Да, вот еще недавно узнал: пока жив, найти каждому надо, за что именно ему помереть. Найдешь — в полный чин вступишь, оправдан и сан. А пан Ступакович-то? Сан — для базы. Да неужто и весь тут ответ? А Ступакович легок на помине, стучится. Его стук дробинками бьет, а голос с игрой:

— Ваше преждеосвященство дома?

Молча дьякон впустил.

— Ой, и дымно у вас, — говорит пан Ступакович, — совершенные облака! А топить настоящую печь нету дров? Что? Ведь дровец-то в обрез?

— Мешками берем.

— Срам дрова брать мешками, ведь это не восемнадцатый год, это ведь, слава богу, нэп! А при нэпе одни бездельники не устраиваются. Ну, хотите, завтра же березовых? В счет гонорара. Прямо с вокзала два воза: один мне, другой вам. И чухоночку пришлю — честней-

шая; если что подливает, так одну только невскую воду. Затушите ваш огонь и пойдемте. Ну?

— Обмозговать надо...

— Ну, за парой пива обмозгуете. Ставлю. За сегодняшнее разовое выступление — неподдельную красную столимонку. А дрова это в счет; подмахнете контракт на сезон — и топите себе на здоровье! Гарантирую: как бездымный порох, без дыму, сразу жарища. Грим вам для первого раза я сам наведу, а уж вы завтра карандашики и футлярчик в тайный карманчик.

Зеркальце вынул, тут штрихнул, там штрихнул — красавец мужчина!

Дьякон ходил по комнате, трещал молча пальцами.

Постучали в дверь. Дьяконица.

— Ну? — спросил дьякон.

Дьяконица с трудом подняла бессонные глаза и сказала, кладя на постель пеленашку:

— Скарлатина. В тепле держать надо.

— Тепло — первое дело, — подхватил Ступакович, — первое дело: тепло и легкий питательный стол.

— А тех в больнице на свое молоко перевели.

Голос у дьяконицы шел издалека, будто не она говорила, а в нее, как в трубу, шел откуда-то звук.

— Ну, пойдем! — сказал Мардарий пану Ступаковичу.

VII

Дьякон Мардарий, с подведенными углем глазами, отчего они словно кому-то фривольно подмигивали, с пятном румян на щеках, сидел в комнатушке за открытой сценой, за столиком, против пана Ступаковича.

И, как давно ему не случалось, он глушил одну за одной настоящую прежнюю водку.

Он одет был для выхода в лапти и в онучи, перевитые черной тесьмой, и в рубаху с красными ластовицами, чтобы петь номера.

Пан Ступакович щедро подбадривал из бутылочки. Выпил и сам. И вдруг стал невеселый.

— Моя панна Ванда вон из города в Павловск, и из-за чего? Из-за подлой книжонки. Слыхали, психоанализ Фрейда?

— Нет, — сказал дьякон, — я ученых книг читать не могу.

— Зачем она ученая? Никак. Эта книга паскудней шпика-подлюки. Это такая книга... она вас укусывает, как собака, когда вы совершенно не ждете. Подумайте, жена меня так себе, с лаской спрашивает: «Ну что вы, мой кохане, какие мечтания в снах имеете? Имеете вы мечтания об озере, будто в лодке плывете, а кругом цветы?» Ну, скажите, может ударить вам в голову, что это же вовсе не озеро, а мышеловка, куда мышку хлоп — и пожалуйте! Ну, и мне не пришло. «Как же, говорю, моя кохана, бывает, и озеро мне мечтается в сонной мечте, но чаще, откроюсь я вам, по прежней моей канцелярской работе, что убираю в шуфлятке или в ящиках роюсь...» Вдруг жену, прошу пана, как скарпий ужалил. Позеленела и с кулаками кричит: «Ваши сонные мечтания обличают наяву самые с вашей стороны последние похабности! И с кем вы их поважаете делать, я помру, а дознаюсь!» И вон тогда из дома. А дом-то ее... И ведь это она не с своей головы, а с напечатанной книги: психоанализ Фрейда. И такой этот советский толкователь снов, чтоб ему...

Прозвонил колокольчик. В маленькую дверь глянул такой же, как дьякон, «лапотник» и сказал:

— Ваш выход!

Пан Ступакович с лаской взял дьякона под руку, прошептал:

— Вы не считайте за урон гонору, что сегодня не высший духовный ансамбль! К той неделе подравняю вам сплошь дьяконов. Хотите «живых», хотите «мертвых».

На спевке Мардарий узнал своих партнеров — трех многосемейных дьячков из недальних приходов, и дьячки узнали Мардария.

Но все поздоровались как незнакомые, когда пан Ступакович представил их друг другу под чужими фамилиями.

— Первым номером сезона — «Яблочко». Публика обожает. Ну, адье — жирофле! — Подвыпивший пан Ступакович сделал ручкой.

Через минуту все четверо «лапотников» стояли на открытой сцене, и дьякон Мардарий — запевала, — выворачивая пятки, ерепенясь, с уханием выводил:

Эх, яблочко да покатилося,
Генуэц-конференц да провалилася!

БЕЗ СИГАРЫ

I

«Я хожу без брук, без пинджака, не оставьте, дорогой товарищ, хоть какими-нибудь бруками, я буду от души рад вашей лептой. Известный вам Кобелев».

В прошлый запой Кобелев просил «головное убранство», и Клест дал ему гейдельбергский берет со стебельком из макушки, — но брюки?

Брюки у Клеста одни. И брюки ли?

Сшил их не портной, не портниха, а Сашка Перевертон — человек неизвестного прошлого. Он приспособился перевертывать из одного «что угодно» в другое «что угодно». Клесту джутовую клетчатую попону — в галифе.

— Оно бы соответственней в юбку! — И Перевертон, не освободясь от женского вида материи, так припустил в талии, что Клест обиделся:

— Не собираюсь быть в положении.

— И мужчине доступно законно пузеть, — сказал Перевертон. — Было время — пузели от чина, сейчас —

натуральней от голода. Чуть опухнете — прибавка в экваторе.

И типун ему на язык — напророчил!

Клест опух и заполнил собою все брюки, как раз в тот день, когда Кобелев, судя по записке, остался без брюк.

У Клеста знакомство с Кобелевым еще с тех дней, когда он бечевкой вязал свой пайковый табак и, увешанный им, как грек губками, шел на рынок.

Клест стоял между бабами с бакалеей. Селедки, мыло и спички — товар-мелочь, но требует зазывания, родит свару и шум. Здесь недвижный человек в яркоклетчатом галифе, как маяк в бурном море, — приятен. Покупатель повертит осьмушку, подбросит на ладони, понюхает, сойдется в цене — Клест отцепит. Не сойдется — все так же без слов укроет товар свой ладонью — не тронь! Махорка легко превращалась в «продукты питания», а чего не хватало, на то Клест дорабатывал своими сонетами и терцинами, которые писал он по старинной манере об одних наслаждениях за гробом.

Один фрондирующий редактор, от школьной скамьи памятуя: «Суровый Дант не презирал сонета», противопоставлял эту форму стихов существующей власти и хоть по обстоятельствам, от него не зависящим, не печатал, но копил материал в своей папке. А платил он «на глаз», что́ хоть было немного, но все-таки было. Сейчас доходы все рухнули. Стоять на рынке с махоркой, как раньше, — нельзя.

Ни самодельных сапог, ни рукавиц из обмоток. Клетчатые Клестовы галифе и мягкая шляпа, когда-то gros bleu,[1] сохранявшая ему вид поэта,— сейчас просто срам.

---

[1] Темно-голубой *(франц.)*.

И то сказать, на этой ведь шляпе, как на мягчайшем предмете, положенном на пальто, Клест давно уже спит, съев подушку. Что же до сонетов... никто не печатает. Того редактора посадили, а из одной редакции, красной, вернули с припиской:

«Настоящая брошюра безусловно является лишним балластом в общей гармонии пролетарского творчества, пережевывая старое, отгнившее, и появлением в свет, безусловно, не нуждается».

Однако какая превратность! Сейчас, когда в магазинах явилось решительно все, что бывало раньше, единственно кроме бананов, — поэт Клест голодал, как собака. Он, не пухнувший в голоднейшем восемнадцатом, распух в году нэпа двадцать втором. Но поэт Клест без уныния. Он подвержен уносящим из жизни мечтам и влюблен... и влюблен беспрерывно.

Правда, и тут нелады: свой нежнейший предмет, некую Катю Грамматикати, он то и дело зовет разными женскими именами, ничуть не похожими на имя ее. Клест погружен с головой в поэзию всех времен, всех народов. Так-то оно так, но у Кати Грамматикати ведь тоже свой нрав.

Ее мечты Клеста обижают сильней, чем обидело бы имя соперницы.

Сегодня утром Клест ей сказал:

— Сейчас светит солнце, и, милая Лотта, вас верный Вертер зовет в Летний сад.

— Как вы опустились, до школьного плагиата! — И гневная Катя, по убеждениям ницшеанка, метнулась бешено взором по комнате, проскочила с разбегу глазами в окно, в застывшую маску, подпиравшую теменем и руками верхний этаж. И крикнула Клесту:

— Вы... кариатида! Вон, вон...

Поэт Клест схватился за сердце и стал делать движения ртом, как глубоководная рыба, у которой на суше выпадает пузырь. Потом он кинулся вниз по лестнице, по тротуарам, переулкам и в третий двор и такой же этаж, к рослой Вере Лимонкиной, которая — знал он — Брунгильда. Но, боясь профанировать это знание, Клест звал Веру проще, по Ибсену:

— Вы поймете... одна, Гедда Габлер!

— Но я Вера Лимонкина. — И сверкание голубых глаз, как за минуту сверкнули те, черные.

Вдруг захлопнулась мышеловка. Раздался жалобный писк.

— Мышь! — вскрикнул Клест. И, прижав опять руки к сердцу, с заострившимся профилем, в своих галифе, он встал, как трагик:

— Пустите мышь... на свободу!

Вера Лимонкина мощно, не женской рукой, выбрала мышь из мышеловки и бросила в форточку на голову проходящим. А Клесту сказала:

— В «Петербурге» Белого уже некто Дудкин бледнеет от мыши. Мне вас не надо, в вас нет первотворчества!

Поэт Клест опять летел по лестнице, в переулки, в дверь, в свою темную, от сырости мозглую комнату.

II

Всю ночь Клест писал два сонета о двух поражениях. В перерывах искания рифмы поэт Клест глупо ходил из угла в угол по комнате, как влюбленный паук, забывший, как ему ткать паутину.

Он жил в общежитии с коридорной системой, где в номерах развелись сплошь прозаики и поэты. Когда рифма не шла, Клест ловил коридорные шумы.

Вот в четыре утра в четыре шага стучит к себе поэт Яблонный. Он высокого роста, идет широко. В его мужской шаг, не однажды воспетый им собственной лирой, как прочее все свое, дважды вызванивают мелкий шажок каблучки его дамы.

Отсюда ядовитый Вас. Васыч пустил свое меткое слово:

— В четыре утра в четыре шага ходит Яблонный.

И поздравляли наутро с уловом.

За другой стеной у Клеста старушка, жена знаменитости. Под ночной бесконтрольностью, вставив штепсель, старушка нарушает декрет. Разведя запрещенную плитку, она буржуазно эксплуатирует электричество.

В шесть утра из щелей от старушки в щели Клестовой двери зазмеились вкуснейшие запахи. Клест не выдержал, встал, краснея, стучит:

— Прошу взаймы хлеба!

Старушка в испуге сняла с плитки кастрюлю, накрыла плитку скатертью, положила на скатерть альбом, на альбом группу рабоче-крестьянского правительства и лишь тогда, переменив собственный тонкий голос на бас, сказала в дверь сама про себя:

— Моей сестры, Дарьи Ивановны, нету дома!

Поэт Яблонный на стук Клеста приоткрыл дверь рукой, голою по плечо. От рубашки у него остался один воротник, а все прочее на день скрывалось толстовкой. Поэт Яблонный отдал Клесту свое сбереженье от барышни — один мятный пряник.

Клест схватил у себя с книжной полки двадцать

второе издание «Подарок молодым хозяйкам» Елены Молоховец и часа два предавался кулинарному блуду.

Он ел вперемежку: пельмени по-сибирски, бабу тюлевую, бабу для приятелей, каштаны протертые, утку с рыжиком, борщ по-малороссийски — в-четвертых, и просто борщ, в-пятых...

Пробило восемь. Желудочный сок, познав провокацию, не встречая работы, вдруг загрыз, как бульдог, желудок поэта.

Клест не выдержал — кинулся вон, хоть на улицу!

Клест шел, пока ноги несли. На паперти большой церкви, что против вокзала, он в изнеможении присел.

Торговки кричали: «Пирожки по-филипповски»... Носильщики у вокзала опять в белом фартуке, опять, как бывало, ждут хорошего пассажира.

Обученный одним оккультистом могуществу воли, Клест собрал свои мысли на конце безболезненном и приятном. Он посадил себя в теплую ванну, приказал рабу вскрыть себе вены и стал медленно умирать.

Но и предсмертные радости Клеста были прерваны резким криком Вас Васыча:

— Отрасти у меня хвост, если вы, Клест, не голодны как собака!

Вас Васыч в покупках. Он ехал в село... ныне Детское, и не в Павловск, а в Слуцк.

— Клест, мужайтесь! Я вам дарю знаменитый обед!

Вас Васыч взял в зубы то, что было в руках, порылся в блокноте, вырвал страницу. Ее он дал Клесту: «Идите в шесть вечера — Антонина Евгеньевна Вяткина, зубной врач».

Поэт Клест приказал рабу зажать вены, вылез из теплой воды и спросил, держа в пальцах бумажку:

— Что мне с этим делать?

— Обедать. По-старому: водка, закуска, сиг свежий, ликер и сигара. Звали меня, а сходите вы. Смотрите не роняйте престиж! У вас десять томов увлекательной прозы! Дает право цедить вам сквозь зубы. Непристойностей ни-ка-ких... Но водку вы загадочно отольете в заготовленный пузырек. Измышляйте, держите пари, интригуйте, целуйтесь — но чтоб водка была отлита. Да смотрите не выпейте. Сиг, сигара и прочее вам, комиссионные мне — водка.

— Как же мне вместо вас? Вы и ростом побольше.

— Вздор, войдите на цыпочках. Здесь важен не рост, а писатель. Ну, мне некогда!

Сунув Клесту записку, Вас Васыч пустился бегом.

Клест понюхал записку — духи. Бумага слоновая, толстая. На последней строчке обрыв, но прочесть можно конец: «...а после обеда сигара». Слово «сигара» кокетливо, будто грассируя, было поставлено так: «си-га-ра!»

Подпись тоже с игрой: «Кухарка за повара, восхищенная вашими книгами Антонина Вяткина».

III

Антонина Евгеньевна Вяткина гордилась своим выпуском.

Мы, врачи-дантисты нормального времени, должны держать головы нынешним, ненормальным...

И она держала: была еще не стара, быстроглаза. Сумела сохранить приемную с кожаными креслами, инструментами и огромным запасом разноцветных

пломб. Теперь ей хотелось одно: выйти замуж. При своей очень хорошей практике она боялась прочного мужа: кто его знает какой, женихи все хороши! И советский брак соблазнял своей легкостью расторжения. Отчего не попробовать?

У Антонины Вяткиной греза... с писателем!

Под действием бормашины эта мужская разновидность была ею меньше изучена, чем все прочие.

Запускал ли писатель зубы по неряшеству или просто был беден, для Антонины резон здесь один: писатель во враче-женщине нормального времени, конечно, видит Прекрасную Даму и потому ходит лечиться к мужчине.

Впрочем, не поэты — прозаики были отмечены Антониной. Она говорила подруге Коточке:

— Прозаик гораздо глубже и непременно с общественной складкой, а у поэтов чаще одна складка, — и обе смеялись, — панталонная.

Антонине Евгеньевне нравились книги Вас Васыча. В них основой взята была сказка; но, трепеща от социальной неправды, Вас Васыч умел в сказке вскрыть истину. В машинистке из плохо проветренных помещений, в скромной швейке с вывеской «принимаю» у него была всегда одна лишь — бессменная Золушка. И он сам, автор, или лично, или через героя непременно в конце на описанной девушке женится. Но советский Вас Васыч, по справкам Антонины, был еще не женат ни церковно, ни с комиссаром.

Антонина ходила на чтение Вас Васыча. Высокий, нахмуренный, несомненный обладатель неразделенных страданий, он ей нравился, и она написала ему, как Татьяна Онегину, но в чертах бытовых. Если он

в швейке умеет видеть Золушку, тем больше Татьяну во враче-дантисте нормального времени.

Ведь у нынешних нет романтизма.

Антонина Вяткина из духовной среды трудно выбилась, знала прозу жизни, и так ей хотелось, чтобы сделалось вдруг все не то: и она — не она, а как в греческой мифологии. Но превращение не должно было касаться ни подъемного кресла, ни разноцветных пломб, превращение — в иных комнатах.

Если б людям был дан сказочный дар видеть все как оно есть — лучшего дополнения, чем поэт Клест, Антонине Вяткиной и не надо бы. Что из того, что она в белом фартуке, как заплечных дел мастерица, с десяти до пяти в своем месте пыток. Сердце и рука у нее нежные, здоровый ум, простая душа — словом, все то, что так жадно искал бедный Клест, путая женские имена.

Ну что же, они встретились. Но как они встретились?

IV

Подруга Антонины Вяткиной, Коточка, поставила в будуаре на маленький столик темную бутылку бенедиктина, три рюмочки и сказала в соседнюю столовую:

— А сигары ты, Тонечка, предложишь сама, когда мы, пообедав, сюда перейдем.

— Так ты думаешь, он здесь и закурит сигару? Знаешь, говорят, что во французских романах автор никогда не забудет сказать, что́ в мужчинах его героиню особенно porte sur la peau. [1] Этого и с диксионе-

---

[1] Возбуждает *(франц.)*.

ром перевести невозможно, но мне объяснили: оно будто бежит по спине...

— Как муравей? — спросила Коточка. Она была толстенькая и очень покойна.

— Ах, нет, это внутреннее! А за этим сейчас же любовь! У меня «бежит по спине» от сигары. Если в разговоре двумя пальцами, в угол рта... так изящно, так по-мужски. Клубы дыма, и он говорит... Он зовет меня Изабелла!

— Этого я не понимаю, — сказала Коточка, — мне нравится, чтобы меня звали, как меня зовут.

Но Антонина Вяткина упорно хотела как раз того, что поэт Клест с двумя другими так неудачно проделал не далее как вчера.

— Ах, нет, — это мое лучшее: Иза-белла! Однако он запоздал. Писатель, написавший десять томов, будет со мной обедать и пить ликер. А что, если я ему показалась нескромной? Ведь я напомнила в письме миф Платона, я привела эти строки... — Антонина обняла Коточку и сказала:

Я верю, человек — тот плод,
Который бог, разрезав, бросил в мир;
Чтоб счастлив быть он мог,
Он должен на пути своем неясном
Найти другую часть свою;
Но случай безучастно
Его ведет на жизненном пути;
Друг друга редко им приходится найти,
А если б встретились — они б любили!

Раздался робкий звонок. Антонина Вяткина вспыхнула.

V

— Здесь гражданка Вяткина, зубной... врач? — спросил с заминкой голос, и поэт Клест вошел.

За весь день он съел один мятный пряник. У него в глазах прыгало все и дрожали колени. Он боялся уронить свой престиж, престиж писателя-прозаика, написавшего десять томов. Пузырек, взятый для водки, он вытащил из пальто, переложив в карман клетчатых брюк. Еще полон вчерашней обидой с заменой имен, он сейчас хотел быть сознательным реалистом и по дороге твердил:

— Зубной врач Вяткина, надо сыпать почаще «гражданка», говорить из газет... вообще злободневно.

— Очень рад, — против обыкновения не целуя руки, он пожал ее Вяткиной, как товарищу. — Уважаю вашу профессию. In corpore sano mens sana.[1] Порченые зубы — одна из причин всеобщего заболевания... Я в своем одиннадцатом томе прозы собираюсь прославить врача-дантистку как оздоровление революционного человечества... В моем томе пятом...

— Но, позвольте, у вас нету прозы, вы — поэт Клест! — вскрикнула Коточка. — И мы обе вас видели на эстраде.

— Клест внезапно умер, — почти теряя сознание, сказал Клест, — я прозаик Вас Васыч... Я пришел по письму к вам обедать.

— Но я Букина знаю, — пришла в себя Антонина, — он выше ростом и совершенно другой.

— Рост в нашем деле имеет малое значение. В на-

---

[1] В здоровом теле — здоровый дух *(лат.)*.

шем деле важен вымысел. Я докажу вам позднее... за сигарой.

— За сигарой? — Антонина удивилась.

— Да, в вашем письме обещаны: бенедиктин и сигара, и премилая подпись — «Кухарка за повара».

«Что я мелю, — оборвал себя Клест. — Вас Васыч просил: непристойностей никаких, — вдруг «кухарка за повара» — непристойность? При ней подруга... О писателях так плохо думают...» Как комары в летний зной «толкут мак» — черные точки в глазах у Клеста.

— Ну, простите меня, простите как врач, как дантистка, — сказал он жалобно, — ведь я непристойностей не хотел — это ваши слова из письма к Вас Васычу...

— Он дал вам письмо? — И Антонина — как зарево.

А Клест знает одно: если сейчас не дадут обеда — он упадет.

Из последних сил улыбнувшись загадочно, Клест сказал:

— Извините, но раньше бенедиктина и сигары я вам тайны своей не открою. От вас зависит ускорить этот миг. Букин обедать не может, а я могу, и я обедать хочу.

«Какой прозаичный», — подумала Антонина и брезгливо сказала:

— Что ж, если хотите — обедайте.

Сели за стол. Клест выпил водку, съел суп, съел жаркое, съел весь хлеб на столе — все безмолвно. Когда он насытился, ему стало приятно, тепло и захотелось прилечь. Но он вспомнил, что надо быть писателем, надо блеснуть вымыслом. Он искал, как спасти остроумнее Вас Васыча и себя, но в прозе выдумать он не умел. Шли стихи.

Еще заботил приказ Вас Васыча: в пузырек отлить водку. Но забота была тяжела.

«Ничего, напьюсь хорошенько, — утешал себя Клест, — за бенедиктином стану делать магнетические пассы и уж чего ни на есть — отолью!»

Антонина встала, будто бы по хозяйству. Коточка злобно следила за Клестом.

Антонина через площадку пошла к знакомым соседям-технологам и сказала:

— К нам пришел незваный гость, страшно ест и все молчит. Кажется, он поэт Клест, но я боюсь: вдруг он налетчик. Он пришел вместо Букина.

— Мы исследуем!

— Если с выпивкой, так в два счета...

— Есть бенедиктин, — сказала Антонина.

И два здоровых технолога, войдя вслед за нею в столовую, сели по обе стороны Клеста.

Прозвонил звонок. Пришла старая тетушка Антонины. В передней Коточка рассказала тетушке, в чем дело, принесла Антонине рюмку с валерьяном. У Антонины вот-вот истерика.

— Пусть уйдет этот урод! — топала ножкой Антонина. — Пусть уйдет!

— Ах, по мечтам жить опасно, — учила тетушка, — в наше время зря в дом не звали. Узнают родители, выспросят у прислуги, перехватят письма — прочтут: человек на ладони. А ты? На эстраде увидела — и сейчас на обед! Да любой налетчик может встать на эстраду да прочесть, если грамотный. Эка невидаль! Впрочем, предоставь мне, я спроважу.

. . . .

Коточка провела всех в будуар. На диване технологи опять, как архангелы, сели у Клеста по правую и по левую руку. Впрочем, пили дружно. Электричество почему-то не зажгли. За спиной Клеста в большом окошке — луна. Под серебряным ее светом волосы Клеста сияли.

Из столовой вошли подруги. Коточка щелкнула выключатель. Опьяневший Клест глянул восторженно на Антонину. И вмиг забыл про недавнее свое поражение. Антонина, с своими яркими глазами, тонким станом, в нем вдруг вызвала новый образ. Он презрел грубое поручение Букина, которое собрался было выполнить, встал, протянул к Антонине руки с зажатым, все еще пустым, пузырьком и сказал:

— Вы гурия, гурия Магометова сада!

Антонина вздрогнула. И вдруг ей как молния просветила за скудной житейской оценкой: пусть не Букин, все равно — это он, тот желанный...

Но для догадок было поздно. Тетушка, оттопырив сжатыми кулаками карманы своей вязаной кофты, наступала на Клеста:

— Кто такой! Пришел незваный-непрошеный, себе позволяет сплошные татарские комплименты!

Технологи шепнулись, взяли Клеста под руки.

У Клеста все спуталось в голове: он вообразил, что его ведут в милицию за то, что он хотел отлить в пузырек. Он забожился, что еще не отлил ни водки, ни бенедиктина, хотя не отпирается: он, конечно, обещал Вас Васычу за обед.

— Букин — спекулянт! — визганула Коточка.

— Прошу взять обратно, — профессионально обиделся Клест, — прошу обратно. Вас Васыч бла-ародней-

ший че-к, Вас Васыч был сыт, а я как... с-собака... с Еленой Молоховец. Извольте-ка, пузырек мне жюска ла горж![1] И, как честная девушка... си-гару!.. Обещано.

— А без сигары не хочешь-ка вон? — И тетушка простерла к дверям свою старую, гневом дрожащую руку.

Технологи повлекли Клеста.

— Минутку, товарищи, un moment! — сказал Клест. — Без сигары... ну хорошо! Но я только скажу вам, что значит для поэта курить на диване рядом с гурией. Вот стихи:

Для мудрого не может быть вопроса.
Что между самых ласковых минут,
Которые дано нам ведать тут,
Одна из самых нежных — па-пи-ро-са!

Антонина Вяткина, вы — не дантистка, вы — гурия!

Тетушка вынула из карманов вязаной кофточки два сухоньких кулачка и погрозила обоими.

Технологи нахлобучили Клесту шапку и свели вниз по лестнице.

На улице все трое зашли в «Уютный уголок» и пили брудершафт до утра. Клест забыл собственный адрес и, вынув из кармана письмо Кобелева, дал приказ технологам вести себя по его адресу.

Антонина Вяткина до утра сидела на диване перед пустой бутылкой бенедиктина и в слезах от сердечных мук, кусая подушку, шептала:

— Это — он, это — он. Он сказал мне: «Изабелла»!

Девчонка, убиравшая комнаты, в девятом часу постучала ей в дверь:

---

[1] Поперек горла! (от франц. jusqu'à la gorge.)

— Зубных больных пятеро.

Антонина прошла в кабинет.

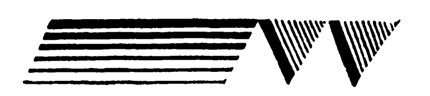
Когда, далеко за полдень, Клест проснулся, Кобелева след простыл. Мишка, лохматый мальчик, черный как черт, дул в буржуйку.

— Мишка! — сказал Клест. — Где, братец ты мой, мои брюки?

— Еще чего захотел? — сказал дерзко Мишка. — А кто ночью кричал: «Я нонче в раю и не нуждаюсь брюками»? С тятькой и пропили. Я ж и носил. Спасибо, карманы огреб: папиросницу потерял, а бумаги, чай, здесь!

Мишка высыпал перед Клестом из шапки. От записки Вяткиной еще пахло духами и кокетливо завитками дразнили слова «бенедиктин» и «си-га-ра!».

МОСКОВСКИЕ РАССКАЗЫ



БАШНЯ

От Крестовской заставы эта башня как мо́рок. От солнца, от пыли, от человечьего пара — марево вокруг, тонкий туман. Торчит она, ненужная, с глазом-часами, и кажется, два ее боковые крыла до мостовой не доходят, в облаке реют, известковая белая пудра вздымается, как седая волна, то тут, то там вверх, на красную стену. Идет ремонт.

Не избыть лесов этой башне, видно, с тех древних времен, как из шатровой ее крыши с палаткой-двойней царь Петр в пылу вечных реформ приказал вытянуть к небу обсерваторийку для школ — навигацкой и математической.

Ремонт идет в башне: и была ль революция, не была — все тот же древний обычай рабочего: не высмотрев верного места, примоститься под самое что ни есть неверное. Где расселась кирпичная кладка и того гляди стряхнет с себя белые надоконные «вавилоны» неизвестного мастера — там, гляди, двое-трое. Уперлись в стену ногами в портянках, да никак ее ломом...

А над лесами, по покатой настилке, нет-нет для потехи народа, будто Нижинский в своем балете, взмывая руками и чубом, белым от извести, как вихрь промелькнет чей-то парень.

Под башней сапожники. На обрубках, тычках, кирпичах плечо к плечу, как опенки. Щурясь от пыли, ладят, чисто пугало в огороде, на какой-то сподручный костыль драные, страшные сапоги. Сверлят, загоняют шипы — гонят вовсю «холодную починку». Побелены известковою пылью, каким-то средневековьем, нерусским цехом, возникают сапожники вокруг странной башни, где — шептались предки — закладены чернокнижные книги, им же дано исчисление во Стоглаве...

Над «холодной починкой» куражатся рожи: из-за досок забора, границы ремонта, выпинаются Петрушки зубастые да носастые, яркие, как цветки, — все курильщики папирос «Моссельпром».

Сапожники не прежние: из мальчишек в подмастерья, из подмастерья в «самого». Те, один, как другой, тянули дратву — та же сноровка. Советский подбашенный сапожник изловчается, каждый по-своему. И кто же его знает, что́ он сам? Одного все зовут — граф. И руки те ж, просмоленные, и на такой же страшило сапог ломовой гонит латку, а, изъясняясь про Китай, поминает редчайшие книги «своей» библиотеки.

За сапожным — цех селедочный, бабий. Лотки копченой лакированной селедки, с «поплевом» и натертой маслом для «прелести», и ведрами маринад, где всех специй — лавровый лист на серебряной чешуе, — подкинулись к самым к рельсам трамвайным.

И можно б отсесть, да так веселей. А из вагона кажется проезжему седоку, что едет он по живому: по бабам селедочным да по бабам яичным... Метнулись и эти под самый трамвай с корзинами розоватых и смуглых, как в загаре, яиц.

Тяжко охают вагоны с прицепом, грохоча и пугая раскачкой, но слышно, как раз под башней не часто давят людей. За бабьей цепью ряды: колбасный, мясной, мучной и фруктовый.

В отместку голодному году, когда из-под полы торговали здесь жмыховой дрянью, наглыми белыми буквами по черному полю кичатся у ларьков сейчас сорта хлеба: с изюмом, горчичный, и с маком, и минский, и подовый...

— Гражданин, вам кругляшкою, фунтиком али резкою?

Это колбасы. Легкое, сердце и печень дымятся кровью в лотках.

— Коль торгуешься за такое за последнее... так ты элемент мелкобуржуазный! Небось не торгуется беднота. Беднота берет для себя, ты — для выкормки кабана!

— Арбузы, яблоки — мерами, винненькое дешево, гражданин!

И шарахнется знающий: укусишь винненькое — челюстей не разжать, впору сплюнуть да Мишке отдать.

Цыган ходит с Мишкой; малый Мишка ребенок. Смокчет соску, заткнутую пробкой, барабанит по пузу, скулит. Объелся винненьких, заболел. И на травку спокойно ему не присесть. Вокруг толпа: «Го-го-го! Га-га-га! Как человек, сволочь...»

Поют слепые, за них ведет сбор инвалид. Наметанным взглядом определяя чин-звание:

— Гражданин, героям труда! Дамочка, старичкам убогим. — И приглушенным словом: — Христа ради, мамаша, упокой родителев.

Цветочный ряд. Букеты, фуксии, хризантемы, венки, веники. Тут и ящички с кресс-салатом. Тут пренаглейший парень:

— Гражданочка, дамочка, хоть алтын, хоть полтинничек — за травник революции, за произрастанье вождей...

— Ври, да не провирайся!

— Гарантируйтесь на меня. На клумбах вождей пролетариата сам выводил, товарища Жореса сам состригал! Дамочка, гарантируйтесь на меня...

Не хотится вам пройтитца
Там, где мельница вертитца.
Э... ух!

И гармоника, и мальчишки, и жулики.

Слева от башни в мануфактурном ряду развелись китайцы. Не оглянулись лари, как перегнул туда весь мужской покупатель. Набирает один на исподнее канифасу — почему-то вдруг хрюкнет от хохота, подтолкнет к прилавку другого прохожего.

По доносу сунулся милицейский. Постоял, посмотрел, как китаец, не моргнув, шелестит не понять что на детском своем языке, строго вслух сказал:

— Наличности для штрафа не имеется.

Отошел милицейский — ан наличность тут как тут: китаец-то детский свой шелест да ка-ак прослоит!

Разворачивал товар мерно, выговаривал крепкое слово в линию — бесстрастно и с точностью.

— Научился косой черт по-нашему!

— Были тронуты, благодарны, роднились.

— Русским словом от интервенции защищается! И у его революция!

— А на Хитровке — сам видел, тоже, граждане, интервенция! Хитровка, ровно нэпманка, побелена и плакат: запрещается сквернословие... и кушин как у нас — для плевков.

— А кто заплатит, что плевал? Довольно себя уважая, плюй куда просит душа. А подобный, граждане, кушин — хорош для прочистки нутра...

И, озорно подойдя к высокому узкоплечему кувшину, бесконечно повторяющему себя самого на всех площадях и бульварах с надеждой поднять санитарный стаж города, — Сашка-«стрелец» ровно тугой мяч в него кинул. Пригнувшись, ка-ак рявкнет в него это самое, что под штрафом воспрещается.

И кувшин, как заждавшийся, тотчас поспешно отбросил к ушам милицейского — густое, знакомое, слово.

— Три рубля штраф! — сказал милицейский и, свистнув другого, схватил Сашку за руку.

— Платить тебе за китайца, — грохочут кругом.

— Ах, мать честна, уж «стрельчат» целый хвост, разыграют милицию!

Подбашенных жуликов невидимо вокруг Сашки, подмигнул он им, и пошло! Искра за искрой — пожар. На Сашкин штраф, значит, за канпанию.

— За что, граждане, именно поведен гражданин? — вопрошает запевало.

Ему спешно двое:

— За то именно поведен гражданин, что в кувшинчик сказал, выразился... — И ка-ак хватят то самое.

А третий четвертому:

— Ноньче строжайший запрет...

И опять по статьям — на что именно.

Милицейским всех не перебрать, здоровы, черти, в чем путевом солидарности нипочем не добиться, а тут словно мать одна родила: кроют.

— Пока до милиции добредут, отведет публика сердце, настроят этажей...

— Оправдают грешницу!

— Посвятили кушинчик-то... будут знать — ставить. Я, граждане, как тот товарищ, довольно уважая себя, повсегда рядом сплюну.

— Ой, стрельцы, тетку Васиху взяли!

Визганули мальчишки, просыпались, как горох, на Гражданскую. Новые два милиционера, гордясь своим обхождением, вежливо под локотки, как щуку под жабры, тащили на извозца беспатентную тетку.

Жужжит рой: овощные, мясные, фруктовые... на свои скамьи встали селедочные, хоть и знают: вот-вот опять будет улов.

Любопытно, как Васиха обкладывать станет — горласта.

Откуда ни возьмись из-за ларей монашка, и пока что без властей — успела торгануть и четками, и святостью, и самой тьмой египетской — и опять за галантерею.

Ларек к ларьку — обвешаны ситцами, узорным платком, венецейскою сеточкой, по окраинам еще модной.

— Гражданка, аккурат вашей дочке в фасон: в лоб звезда — лазоревый бисер, сзади косу вобрать, как рака в сеть.

— Бреши ты, калуцкая... не в сеть, на лучину, чай, рака берут!

— Лучина те в рот! На ворону на палую в сеть ходит рак.

И пойдут за рака в драку.

VICTORIA REGIA

Совсем вблизи башни, трамваев, узорных ларей по широкой улице, где в глубоких дворах приседают за густыми деревьями церкви, бывало посещаемые патриархом, раскинулся ботанический сад. Последнее время на его воротах то и дело торжественный и надменный плакат:

«Гигантская белая лилия,
виктория-регия, — расцвела»

Ходили к этой лилии экскурсии: мелкие, как плотва, октябрята, и веселые, с красным платком, пионеры, и физкультурники в трусиках. Экскурсии задерживались, случалось, под башней скоплением вагонов Букашки, и яростно, по свежей выучке, не теряя времени, тут же старались те, что постарше, о ликвидации темноты.

Друг перед дружкой торопились раскрыть подбашенцам чудеса в ботаническом саду. Зазывали взглянуть на хищный цветок, жрущий муху, на листы регии, где встать может взрослый и плыть, как на плоту.

И ведь успели: сманили сапожников, и селедочных, и ларек канцелярских принадлежностей — Дарью Логовну Птахину с Шурочкой.

Первые сходили сапожники, вернулись, ругались. Спрыснули викторию-регию тут же, в пивной, и обидно вдруг стало, что за деньги глядеть было — кот наплакал.

— Цветок промеж листьев, как хрен, один и не фасонист. Та ж кувшинка прудовая, поздоровей да махристей.

Дарья Логовна пропустила цветок и совсем было на сад махнула рукой.

Свое горе-забота у ней, так, на минуту ребята раззадорили, а то не ее вовсе и дело по садам бегать.

Но Шурочка, племянница, вторая ступень, пищит да звенит, как комар:

— Новый бутон у виктории налился, пойдем, бабинька...

Большая забота у бабиньки, а у Любиньки жизнь не стоит.

Пошли. Радостно Любиньке пройти между столетних пиний и лиственниц, в отменном порядке увидеть цветущие клумбы, за ними горку с камнями и кактусами.

— Бабинька, вдруг двугорбый верблюд пробежит.

— Верблюду небось обучили да без штанов парней бегать, а уж лучше ль нас будете, еще погадаем, — ворчит бабинька, свою думу думает.

Ходили в оранжерею, теплую и приторную, дивились в мелких горшках расставленным хризантемам, цикламенам и примулам. Прикидывали, что бы купить позаметней да подешевле. И, нанюхавшись до чоху

махровой гвоздики, ничего не купили: прошли к другому входу, где уже толкались загорелые, как арабчата, пионеры и, почему-то понизив от волнения голос, спрашивали:

— Зацветет? Зацветет?

И сейчас, как вчера, как все дни, отвечал бледноликий суровый ботаник:

— По всем признакам цвести станет завтра.

В большом бассейне оранжереи, тесно сходясь загнутыми ободками, плавали круглые, как подносы, листья. Посреди, словно родители над колыбелью новорожденного, два огромных бутона цвета нежной фисташки склонились над молодым изумрудным и гофрированным листом.

— Лист, как войдет в силу, четыре пуда сдержит, — гордится сторожиха, по-нынешнему «техническая» служащая.

— Ах, объясните нам дальше! — просит Любинька. — Вы экскурсий наслушались.

— Да все тут обыкновенное и растет на своем месте, — польщена техничка. — А касательно листа, только глянуть с изнанки, и секрета нет. Весь испод в толстенных жилах, ровно канаты, а в них воздух и вдут. Держит его, как на пузырях. Очень все просто, и нечему вовсе дивиться.

— От нечего делать и ходят, — ворчит бабинька. — Вот и я сдуру-то...

А Любиньке и не уйти: вон меж стеблями снуют сотни мордатых рыбок, вон отдел карликовых японских...

Дубу этому двести лет, с пол-аршина ростом, а могуч и развесист, как взаправдашний. А над ним, в вы-

шине, хищный цветок кувшинообразный с откинутой крышкой, как паук, муху ловит.

— Крышкой захлопнет, соком польет да сожрет. До пяти в день. Заглянуть вечером — одни лапки. Тьфу! — брезгливо плюет техничка. Плюет за ней следом бабинька. Крестясь, говорит:

— Последние дни... Никогда цветы мух не ели. Георгина был цветок, фуксия, бальзамины. А мухоедного цветка чтой-то мы не слыхали.

Чайному кусту с чайным листом бабинька не поверила — в цибиках чай.

А на аптекарских травах, своих, деревенских: паслен, лен, шалфей да анис — вдруг расплакалась. Вспомнила молодость, тятенькин дом, встало живей горе вечное, затаенное...

Внучонка у бабиньки зять-коммунист не крестил, а — вымолвить грех — октябрил. Прочила бабинька внучку имя святителя мирликийского Николая, а вышло-то что... Не имя, а кличка, как псу.

— А-ван-гард!

Подступит боль к сердцу, и зашепчет бабинька, хоть за ларьком своим, хоть в трамвае, хоть тут вот, над травкой родимой:

— Кому Авангард, а мне Ко-лень-ка.

— Старушка-то у вас, гражданочка, больно замоскворецкая, на вечерние б курсы ее для слабограмотных, — говорит техничка. — Вы это какого району?

— Пойдем до греха, пойдем, Любинька! — пугается бабинька. — И тут опрос да отметка. Банька сегодня, лучше в баньку пойду... Кому Авангард, а мне Ко-лень-ка!

«ВСЕМИРНАЯ БАНЯ»

По субботам подбашенные ходили в баню. Была у них своя излюбленная — «Всемирная баня», хоть стояла она не так близко, а в предместье, когда-то воспетом Карамзиным, ныне лысом, без чудесной березовой рощи, лишь обставленной пивными да бакалеей. Звалась баня в царское время «Дворянской», и владелец, стыдясь без заминки перекрасить ее в «Интернационал», хватил — «Всемирную»!

На мужской половине любили в ней мыться фальшивомонетчики. По каким-то особым приметам в окончательно голом виде они изловляемы были ловкими агентами на полке́ в сладостный миг поддания пара.

Отдыхают во «Всемирной бане» и дела вершат кто какие: Евланов, Антип Аггеич, с безработным Тигрой свой фамильный ведет разговор. Есть у безработного имя, отчество, как у всех, с крещеных времен, однако и все и сам он забыл уже какие: Тигра — и все.

Лют на выпивку, а за товарища — зверь. С Антип Аггеичем приятели.

— Дела, братец Тигра, потоп, — жалобится Антип Аггеич, — как ни крутись — не вынырнуть.

— И-изложи дело-то! — Тигра подзаикивал малость и вдруг, захлебнувшись от слова, прядал космами черных волос, будто конь: — И-из-ложи...

— Да за заставой, в монастырьке бывшем, нарез можно взять — сходное дело. Квартиру в новой постройке отводят. Финляндского, слышь, образца, за пустяковый вычет. Знай плодись в ней с фамилией. Три комнаты, воздух, удобство — все это нам подходяще. В фундаменте гвоздь. Под фундамент, благо кладбище рядом, пустили ребята надгробия — древних покойников к строительству привлекли. Надгробье к надгробью. Процементили — чемоданами не взорвешь — первогильдейские камни... И, как на грех, под самой под уборной — моей Клаши тетенька. Золотые буквы как жар, камень черный, арапский, будто сапог после ваксы, горит. Он хоть боком подложен, а такой явственный... и не хочешь — прочтешь. Вдова второй гильдии... лет от рождения... в браке пребывания...

— К-клашина тетенька! — вспылил Тигра. — А ты не вяжись с бессознательным элементом.

— Да Клаша нашего корня, ей что! Ты нам мать обломай, «галантерейный ларек Бубиной». Она сейчас в женской парится... Салоп ей тетенька та оставила, ну и религиозные предрассудки: плачет — грех да обида, да покойница шнырять станет по дому. Клашке в квартиру въезжать не велит: лишу, кричит, движимости! Разницы мало составит и без материнского благословения нам вселиться, однако «галантерейный ларек Бубиной» нам желанная движимость, и мы намерены с маменькой быть без скандалу. Выручай, Тигра.

— Дело поправимое, — сказал Тигра. — Второгильдейную тетеньку в позолоте в два счета с арапского камня скорпелкой хватить да зубилом стесать. Сами и стешем. А ты «ларьку Бубиной» забожись, как сукин сын, что это именно ей в уважение десятника подкупил из-под уборной надгробье чтоб вывести.

— По этой линии сам загибал, мало разницы, свое кричит: «Нипочем в этот дом Клашке не въехать, себя ей не заткнуть, а под уборной тетенькин прах вроде как попокоился. В случае надгробие б увезли — все одно: место свято, в него не ходить...»

Задумался Тигра, пряданул волосами, сказал:

— Выходит дело много трудней. К нему требуется совокупный мой опыт, старого режима и новой, уже послеоктябрьской ориентации. Без сурьезной благодарности...

— За этим не станет... и галантереей тебя, Тигрушка, и спиртным. Сведи с тещей на мировую...

— А как у тещи с декретами? — прервал Тигра. — Берет ее печатное слово?

— Пужлива. Про передвижку часов ей как-то прочел, и то в слезы. В сундук слазила, где у ей для последнего часу.

— Отлично-хорошо. — Тигра, видимо, как игрок, увлекся уже самим делом. — Иди узнай, отпарилась твоя Бубина аль еще на полку?

Сбегал Антип Аггеич к банщику. Банщик снесся с банщицей — тут все знали всех. Принес весть: «ларек галантереи Бубиной» в предбанной, в общей.

— Ну, готовь выпивку, — сказал Антипу Аггеичу Тигра, — иду теще леса подводить.

Скоро одевшись, Тигра взял свой знаменитый неразлучный портфель и пошел в общий предбанник на ловитву.

Всеобщий Тигра советник — еще с царских времен. По тончайшим делам. В портфеле копии-образцы успешно завершенного. И частного характера и с удовлетворением писанных Тигрою просьб — разнообразнейшим пострадавшим от самого Военно-окружного суда.

Издревле заведено во «Всемирной» в общей предбанной так: выходящие с женской половины, распарившись на полке до того, что в свое дыхание скоро им не войти, во избежание флюсных простуд и для последнего раствореиья души, поднеся Тигре что надо, обожают прослушать взамен бумажку-другую из его портфеля.

Особо ходких было две. Первая, еще военного времени, замечательно любимая молодыми — был приказ своей бабе-жене от солдата, получившего вдруг и «Владимира», и дворянство, и чин офицера. Конец был такой:

«...Как с ноября месяца в наших жилах течет благородная дворянская кровь, то вы, наша супруга, с простым званием не водитесь, а идите немедля в Гостиный двор и купите себе каракулевую саку: на нее прилагаю. Алферов».

Бумагу вторую, «девицу Ванду», любили старухи и мужами обойденные жены. В ней содержание и лица единолично рождены были Тигрой. Документ он ценил высоко и, хотя знал над женщиной его силу, прибегал к нему в редких случаях.

Общий предбанник наполнился: вышли зеленные торговки, вышли последние, мыться им — не отмыться,

селедочные. «Ларек галантереи Бубиной» давно отдувалась на диване. Женщина сырая, дородная, вся в жирных мешочках, глаза чуть прорезаны.

Отлегло у Бубиной, оттомилось в пару сердце, пришли мысли уветливые: долго ль жить уж самой? Новых радостей не искать, все позади. Молодым теперь жить. Ну и пусть себе как хотят. Одна треба — стариков не неволь. Окостенелый прут перегнуть — сломится!

На этих мыслях и благоволительном выражении лица словил Бубину хитрый Тигра, от души предложив прочесть вслух любимую ею «девицу Ванду».

— Вот, Тигрушка, угодил. Дорого яичко в Христов день...

— «Ванду» прочтет... — понесли зеленные к фруктовым, дошло до селедочных: — «Ванду»! — Всем честь и место — широки скамьи во «Всемирной»!

И в сотый раз, подзаикивая и томно фигуряя голосом, прочел Тигра подбашенным торговкам старинного корня:

— «В Военно-окружной суд — девицы, а ныне дамы Ванды Повзик — прошение!

...Некто Франц Дуля, состоя в должности военного писаря, как кавалер, стал ухаживать за мною. Первоначально ухаживания носили обычай симптоматического характера...»

— Сим-пто-ма-тический! — и вздохнул Тигра: — Вот слово. Да, за него деньги стоит платить. Мало кто подобное слово и знает!

Тигра увидел, что зеленные передают фруктовым пару пива, что звякает то тут, то там мелочь, повел дальше голосом нараспевку, как дьякон, возглашая ектенью:

— «...Озаренный любовью ко мне, ввиду клятвенного обещанья о женитьбе. Ему было разрешено, в присутствии моих родителей, присовокупиться ко мне. Спустя правильный период времени родился мальчик, нареченный Ян Францевич, подразумеваемый Дуля. Между тем обусловленный жених, старший Дуля, начинает увертываться от своей виновности, пренебрегает день свадьбы и даже относится отрицательно своим плоцким вож-де-лением!..»

Октавою возгласил Тигра, а предбанные, ровно певчие, хором:

— Все они этак-то... Мужчина что петух!

Но покрыл Тигра хор басом:

— «...Убитая горем и невольным сюрпризом, прихожу в отчаяние и никак не могу примириться с голосом совести Франца Дули...»

И хор:

— Ищи, кто помирится.

Опять Тигра:

— «...С клятвенным обещанием, тем, что послужило в залог несчастнейшей любви...»

— Клястись клялся, да с другой обвенчался!

— «...Тем воспоминанием своей целомудренной девственности, навеки утраченной...»

— Снявши голову, по волосам, брат, не плачут!

Захохотали было. Тигра прервал угрожающим завершительным звуком:

— «...почему обращаюсь покорнейше в Окружной суд присудить на воспитание его, Франца Дули, подразумеваемого сына, Яна Дули, ту долю, что значится в своде законов. А именно...»

Не дали окончить, со всех скамей распылались:

— Еще б не значилось? Ты носи, ты роди, ты корми!

— «...Наряду с этим, принимая во внимание ценность личного целомудрия и растления, кои обусловлены в сельском быту в тысячу рублей, прошу присудить уже мне лично...»

— Что-то дорого — тысячу.

— У нас в Пензе дешевле стоило!

— Эк хватила, у нас вовсе задаром.

— Тише вы... Кончай, Тигрушка!

— «...Обожая себя и родителей моих, воспитавших меня столь прелестной для хитрого человека, прошу уважить сие ходатайство».

Бубина плакала. Голос спросил:

— Что ж, уважили?

— Оп-ре-де-ленно! — сказал нагло Тигра. — И ежемесячно и единовременно за труднопоправимую утрату целомудрия.

Пред Тигрой выросло пиво, пирожные, в кучке мелкие деньги. Одна за одной стар и млад зашептали ему в ухо про дела свои тайные.

Важно привстав, рукой ответ Тигра:

— Очередь!

Но, упершись взором в дверь, он увидел у выхода из мужской бани приятеля, Антипа Аггеича. Тигра пошел к нему, взял крепко за руку, подвел к рассыревшей от бани и чувств теще Бубиной. Вскидывая чубом, будто конь, и страховидно вращая глазами, Тигра выпалил торжественный манифест:

— В скорое время, едва обнародован будет декрет о сочувствии китайскому движению, всякое сопротивление, оказанное родственниками, включая обыкновен-

ное словесное осуждение, — при вселении желающих членов в новые постройки, для пролетариата возведенные на надгробиях древнего стажа покойников, будут преследуемы по за-ко-ну!

Факт помещения надгробий древнего стажа покойников ориентируют фактом сочувствия китайскому движению. У китайцев, граждане, покойника полагают в изображение каменного разверстого ложесна, якобы в недро матери для легкости обратного хода, откуда пришел. А полагая туда, гордятся немало подобным местом. Но ежели это по-русски назвать — то это позабористей, гражданка Бубина, чем нежели уборная, вас оскорбившая при посильной услуге ей бывшими предками.

— Ох, Тигрушка, — томная стала Бубина, — после пару поплакать охотка, а ты декретное. А от декретного тело дух не примает. Да разве я дочке Клашеньке что? Я ничего.

— За твое «ничего» — запрещение торговли в ларьках! Без промедления отдавай дочери Клавдии движимость! Едва выйдет декрет, ни малейшей помощи, гражданка Бубина, во мне не ищите — ваши чувства к надгробиям полны лжепредрассудков белой гвардии!

— Дам и движимость и нерушимое... — плачет Бубина, — одно лишь уволь: самой чтоб в подобный-то дом ни ногой!

— При свидетельстве отдачи движимого увольняю! — как поп, разрешил Тигра и соединил руку Бубиной с рукою Антипа Аггеича.

Николаю Тихонову

ПЯТЫЙ ЗВЕРЬ

«Варан из Туркестана, — читал Хохолков, — небольшой экземпляр в один метр длиною, родственная ему порода достигает в Южной Африке двух метров. Обладает сильно удлиненным телом, семейства ящериц, относящихся к подотряду... питается насекомыми, яйцами крокодила...»

Рассеянно окинув стеклянную коробку с электрической горящей лампочкой в сто свечей и огромным градусником с синим столбиком, взбежавшим до цифры двенадцать, Хохолков собрался идти дальше, как вдруг ящер-варан медленно повернулся и поднял голову.

— Шаляпин в «Юдифи», — сказал художник Руни и перестал рисовать в свой альбом.

При каждом шаге ящер выбрасывал и ставил лапу на пять твердых когтистых пальцев так внезапно, с такой безумной ассиро-вавилонской сдержанной властью, что слабо звякали на лапах золотые браслеты и из варана — возникал Олоферн.

Ящер нес на зрителя свою тяжкую крокодилову морду. Рот был приоткрыт, почему-то набит желтым

песком. От презренья не сплевывал. Глаз необычайный — тысячной древности индусского мудреца — вдруг мигнул белой пленкой и метнул стрелу жестокую, неуклонную, как смерть.

— Какой громадный, как страшно, — шептал, не отрываясь, мальчик.

Новый зритель, еще не глянувший на варана, как только что Хохолков, читал скромный его формуляр: «...небольшой экземпляр в один метр длиной...»

Но, глянув вниз под лампочку в синий столбик термометра, воскликнул:

— Черт знает что, ведь и вправду громаден!

Варан, выбрасывая лапу за лапой, чуть шурша по песку желтым брюхом, не сгибая вознесенную, забитую песком морду, слепя жестоким белым веком, в крайнем, в бешеном напряжении несся на зрителя. Оторваться от него было нельзя — он чаровал.

Конечно, Хохолков разумом помнил, что это безвредный ящер, что рядом в помещении рыб сидит подлинно опасный аллигатор, которому, по учебнику и Майн Риду, полагается жевать негров и оставлять «кровавую пену на водах Замбези». Аллигатор был громаден, зубаст, но, хоть за ним числилось то и это, страшного впечатления он не давал. Он за стеклом смирно спал, как корова, выпустив зубчиками, будто кружево на детских штанишках, наружный ряд белых и острых зубов челюсти верхней на нижнюю.

Страшен был этот... дракон тысячелетий. Похититель прекраснейших дев, грозный враг рыцарей-крестоносцев, воспетый поэтами, убитый Зигмундом и Георгием Победоносцем, — сейчас «небольшой экземпляр в один метр длиной», варан из Туркестана.

Презирая свою лампочку в сто свечей и термометр с синим столбиком на цифре двенадцать, презирая глазевших на него, — ящер шествовал. Вот он вплотную у стекла, вот стукнул в стекло приоткрывшейся пастью, вот дрогнул, осел...

Напряжение зверя вперед так было могуче, что вмиг перекинулось зрителю. И зараз Хохолков, Руни и пионер в красном галстуке воскликнули:

— Дракон полетит!

. . . .

— ...Ну да, это было бессмысленно, я совершенно с вами согласен, «никаких, даже зачаточных крыльев», — говорил Хохолков наутро в редакции «Красного детского мира», излагая редактору конспект своей повести о варане, — но клянусь чем хотите, нам казалось, что он полетит...

— Ерунда, — оборвал редактор, — ничего не должно казаться без достаточных оснований. Чистейший романтизм...

— Ничего подобного! — сдерживая собственные слова, крикнул по-уличному Хохолков. — Я сам уверовал, что бытие определяет сознание, что интеллигентский подход пора послать к черту, но поймите же и вы, что переменам подлежит *применение* энергии, а *законы* ее восприятия требуют лишь углубления и развития! Разрешите, я вам дам серию «Красный зверинец», где заражу ребят, как художник, конденсированной силой зверя, выдвину могущество воли, независимость энергии от внешних данных... посудите, сколь педагогичен прием! Поднятие высших свойств человека одновременно с развитием его вкуса и мысли...

— А портфель из него выйдет? — пресек Хохолкова редактор.

— Из кого? — отступил Хохолков.

— Да из этого вашего... из варана?

— Ящер небольшой... один метр, неширок в диаметре, — забормотал было Хохолков. — Но вы меня не так поняли, вероятно я не сумел, но в рассказе все выйдет. В том-то и секрет ящера, что впечатление громадности отнюдь не подтверждается его размерами, а целиком идет от его неистовой воли к жизни. Отсюда не только полезные, прямо скажу, чисто советские выводы... Художник Руни сделает иллюстрации.

— Не подойдет варан! — хватил редактор. — Пусть иллюстраций не делают. Рассказы про зверей нам нужны без надстроек: производственные, промысловые. Ну, а как портсигар? Может, выйдет хоть он? Да вырежьте кожу варану вокруг брюха цилиндром и, держась на советской платформе, заставьте какой-либо коллектив поднести ее в день юбилея портсигаром совработнику, или рабкору, или иному общественно нужному деятелю. Ведь выйдет же портсигар? Ну, каков диаметр живота?

— Я не прикидывал!.. — смутился Хохолков.

И вдруг, вспомнив, как надменно выбрасывал варан лапы, как от него веяло историей, ископаемым, ассиро-вавилонским, тысячелетием, резко сказал:

— Нет, я не стану вырезывать портсигара!

— Воля ваша, — пожал редактор плечами, — ни романтики, ни философии... искусственный подход.

— Ну, это уж извините, — вскипел Хохолков. — Пионер с красным платком, никем не подученный, уж он непосредственно... а как крикнул-то: «По-ле-тит!»

Хотя видел, поймите меня, он видел, что нету крыльев, что стекло впереди.

— Сын интеллигентных родителей, буржуазный атавизм.

— А если сын рабочего? А наши художники кто? А не угодно ль сапожника — Якова Бёме?

Редактор прервал Хохолкова молчаливым указанием на плакат: «Время — деньги, посторонними разговорами не задерживать».

. . . .

Хохолков получил перевод и со злобою на редактора «Красного детского мира» неделю напролет переводил чужие слова, ощущая безмерную свободу собственной личности, которой не приходилось ничем поступаться.

На второй неделе перевод надоел. Как червь, засосала тоска убивать целый день на чужое, когда свои глаза умели смотреть, свои мысли и образы лезли взапуски на бумагу.

Хохолков бросил перевод, кинулся на трамвай, вон, за город.

День был чудесный. Почки на самых поздних деревьях раскрылись и только ждали дождя, чтобы зазеленеть и запахнуть вслед акациям и черемухе. Земля дышала, черно-лиловая, не утоптанная сапогом. Вдоль рельс бежали свежие травы, и в них то желтел, то голубел первый ранний цветок.

А в вагоне, как водится, ссорились. Гражданин выговаривал кондуктору, зачем он переулок двунадесятого праздника не именует Безбожным, не принимал извинений в беспамятстве, стыдил горько и кротко:

— Из-за чего революцию делали?

Гражданка позвала свою годовалую дочку, убежавшую к Хохолкову на площадку, без никаких сокращений звучным именем: *«Клараценткин»*.

— Она у нас не крещена, она октябрена, — не без гордости сказала гражданка соседям и отхлопала бедную Клару.

— Октябришь по-новому, а бьешь-то ее по-старому?

И сцепились бабы, пока трамвай всех не выбросил к синему озеру, к музею-усадьбе, где на воротах гладкие, мелкие львы, элегантно подняв лапу, приглашали войти. Но экскурсий еще не пускали, и, наблюдая чистку дорожек и ряд по-летнему забелевших в зелени статуй, можно было подумать, что нет в стране перемен и «люди» чистят усадьбу для старых хозяев-князей.

Хохолков обошел озеро, подразнил гуся, наломал в мохнатых баранчиках вербы, долго бессмысленно смотрел на легкое весеннее небо, как пес нюхал сырость; тянуло бродяжить. Сколотить сумму червонцев и айда...

Понесся обратным трамваем домой, кончил к утру перевод, подсчитал гонорар: доехать до Тулы, съесть фунт тульских пряников и назад. Но ему ведь хотелось за Тулу.

Пошел по знакомым редакциям подряжаться на работу «с авансом».

— Дайте нам роман «Газовый», мы возьмем.

— Да помилуйте, я по химии всего «аш о два». Хорошо, если двойка на месте...

— Пустяки химия, за лето подучите...

Но Хохолков хотел летом бродяжить. Один ему ресурс: аванс под «Красный зверинец». Тянули звери, как лес, про зверей он напишет шутя.

Хохолков пошел опять в зоосад со строгим решением досмотреть про зверей цензурно: производственно и промыслово. От варана воздерживался — не шел: ну его к черту, опять полетит, когда ему надо пешком...

Пошел Хохолков к зверю трезвому и простому, без двойных мыслей, громадному. К индийской слонихе, беременной слоненком первый год. Ей предстояло детеныша продержать в себе еще год, и она стояла как дом, с тяжко распертыми серыми боками. Перед слонихой, что грибов, было просыпано первой ступени экскурсантов. Веселый руководитель громко и бодро делился с ними познаниями и говорил о слонах как раз то, что требовал детский редактор: производственное и промысловое...

— ...Вымиранью слонов много способствует человек. Он уничтожает слонов ради их бивней, дающих ценную слоновую кость.

И по бумажке руководитель прочел:

— Дневной рацион слона — четыре пуда пятнадцать фунтов, сена — два пуда двадцать фунтов, хлеба ржаного — двадцать фунтов, хлеба белого — десять фунтов, моркови — десять фунтов, картофеля — двадцать фунтов.

Хохолков схватил карандаш и стал записывать, чтобы дома на точных данных создать педагогически полезную авантюру.

Слониха во время речи инструктора просовывала сквозь прутья решетки свой хобот, серый, длинный, как кишка для поливки тротуаров, выворачивала его и, шевеля пальцеобразным присоском, просила еще и еще для слоненка, распиравшего ее бока. Она давно съела свой четырехпудовый рацион, и ей было мало. Маль-

чики ей протянули принесенные булки. Слониха, деликатно свернув хобот, отправляла булки, как в печь, в аккуратную темную пасть без бивней. Затем, словно быстро сморкнувшись, прянула хоботом вбок и вот уж опять шевелила далеко за решеткой пальцеобразным соском, прося новой пищи.

Мальчик первой ступени протянулся вперед — рассмотреть получше слоновый присос; слониха, как бы одобряя, с нежнейшей, материнской повадкой вмиг обгладила его нежным хоботом, обцеловала вокруг головы, мягко внезапно сняла с него шапку, взметнула дугой хобот и — не поспели ахнуть — убрала шапку в рот. Мальчик пождал, пуча глаза, и взревел...

Инструктор кинулся к сторожу.

Сторож, как былой крепостной человек, изучивший до скуки причуды господ, не двинулся с места, сказал:

— Сожрала!

— Может быть, ее вырвет моей шапкой, она ж грязная, пропотелая... — просил передать слонихе сквозь слезы мальчик. — Я подожду!

— Жди себе, только задом ли, передом пойдет из нее твоя шапка, ее, брат, тебе не узнать. Аминь головному убору!

Веселый инструктор сказал мальчику:

— Брось, Миша, плакать, ничего тебе не будет за шапку, обвяжем платком, и пойдешь. Гляди-ка скорей на слониху, ишь что надумала!

Слониха из угла брала сено и грациозно, как тургеневская девушка косу, откидывала хобот за спину и густо посыпала себе сеном весь хребет и голову. Потом она деловито, с удовлетворенным чувством долга смóтрела вокруг маленькими, по-человечьи умными глазками.

— Воображает себя в тропиках, — сказал руководитель, — там, защищаясь от москитов, она должна себе набросать на спину и голову листьев. Не сердись на нее, Миша, подумай, какие ей, бедной, здесь тропики! Она может сделать в клетке всего два-три шага. Тут не то что шапку, целиком проглотить тебя впору. Пойдем-ка за ней лучше в Индию...

И веселый инструктор вмиг вырастил перед ребятами девственный лес, заткал его сверху донизу лианами, напустил обезьян, попугаев, заставил вдали рычать тигров, и, разделяя грезы юной слонихи, дети с ней вместе попали в Южную Индию...

. . . .

— Судите сами, это ль не новая педагогия! — восхищался вчерашним инструктором Хохолков в редакции «Красного детского мира». — Я полагаю, разница есть: топором ли рубнуть — человек от обезьяны... или найти подход внутренний, психологический, породнить ребят с каждым зверем, установить общую великую связь всех животных. Отсюда смягчение нравов, расширение кругозора, так сказать вселенский интер-нацио-нализм! Если хотите, это даже своеобразная и более действительная борьба с религиозными предрассудками, чем обухом по голове, как...

Редактор прервал:

— А шапка, которую съела слониха? Шапку, спрашиваю, ваш веселый руководитель возмещать будет из своего кармана или из сумм Рабпроса и иных? И что это, извиняюсь, за балда, который не учит ребят держать демаркационную линию? Де-мар-ка-ционная линия, за которую не достигнет ничей хобот, а прогулка в тропики, к полюсу, к черту — потом. Вот новая пси-

хология, ее и давайте! Однако рассказывать вы умеете, и вот вам совет: присмотрите себе зверя, который не пробуждает в вас романтики и тому подобных, историей брошенных в хлам, сантиментов. Ну, мало ли кровожадных, несомненнейших, реальных хищников — тигр, удав... Это вам не варан!

— Тигр и удав? — подпрыгнул радостный Хохолков. — Да, черт побери, как я мог позабыть...

Не прощаясь с удивленным редактором, он стремглав слетел вниз по лестнице и бросился в дальнего хода трамвай.

Блаженно улыбаясь, Хохолков стоял на площадке, мысленно шествуя по полям и лесам, куда он вот-вот попадет на аванс детской книжки. «Тигр и удав... ну конечно, они».

За заставой, рядом с бывшим монастырем, ныне детдомом, жил старинный приятель Хохолкова, естественник, сын знаменитого путешественника. У них в доме жил живой тигр.

— Не знаю, как с тобой быть, — сказал естественник Хохолкову, узнав, в чем его дело, — моего знаменитого старика нету дома, и он приказал без себя к Степе чужих не впускать. Он нездоров.

Степа и был тигр, привезенный ученым путешественником из Азии. Он прожил всю жизнь в зоологическом, а под старость был снова взят первым хозяином.

— Ах, впусти, — сказал Хохолков, — я, как собака, хочу на простор, а редактору вынь да положь детский рассказ про несомненного хищника, без сантимента и поэзии. Степа — тигр, ergo [1] кровожаднейший.

---

[1] Следовательно *(лат.)*.

— Ну, как тебе сказать, — замялся естественник, — кровожадным он когда-то, разумеется, был. Но за эти голодные годы, когда его с охотой выдали нам из зверинца... ну, посуди, чем могли мы его накормить? Голодали сами, вегетарианствовал он. Короче скажу: тигр пристрастился к вареной картошке и сейчас уже иного не ест.

— Как, — вскричал Хохолков, — тигр-вегетарианец! Скажи еще — теософ?

— Да, пожалуй, — ухмыльнулся, естественник, — к старости зверь до того подобрел, что, вообрази, нам приходится защищать его от обыкновенных домашнейших кошек! Спят в нем, как в шубе; чуть встанет раньше, чем им угодно, царапают морду, кусают.

— Да вы ему зубы, что ль, вырвали?

— Все налицо, и клычищи и бабки. Зевать станет — Азия.

— Так что же это с кошками?

— Подобрел... да и мы же его как родного, вот и он. Не поверишь, сестренка простыни ему подрубила, наметила красным. Да ничего, отец и не узнает, пройдем к нему. Только молчи, больно он шума не любит. Стеклом в кухне порезался, лапу себе рассадил.

Естественник провел Хохолкова по коридору, открыл дверь. Комната с высоким в решетке окном была совершенно пуста. В ней пахло как в зверинце возле хищных зверей. В углу на матраце, покрытом белой простыней с крупной меткой «Степа», положив на подушку перевязанную лапу, лежал тигр.

Насторожа уши, он на миг весь спружинился, но, узнав студента, забил, как собака, хвостом и дрогнул в улыбке седыми усами.

— Пей, Степа, — поднес естественник молоко и стал гладить полосатую голову.

Из-под тигра прыгнула черная кошка, и на белом зеркале молока замелькали два красных языка, один большой — тигровый, другой мелкий, побыстрее — кошачий. После молока тигр принялся за картошку. Всунул в миску морду, набрал полный рот и стал шамкать лениво и бережно, отряхивая здоровой лапой усы. Потом он лег мордою на подушку.

Естественник подсел к тигру на корточки и принялся чесать ему, как коту, за ушами и горло. Тигр опрокинулся на затылок, мурлыкал, зажмуря глаза.

— Сволочь, — не стерпел Хохолков, — забыл джунгли и волю, нажрался картофеля, как свинья! Где же искать теперь хищника, черт возьми?

— Чего ты ругаешься? — сказал естественник. — По-моему, так с тигром тебе повезло. То, как он разрывает добычу, являясь «бичом бедных индусов», — давно скучнейшее общее место, детям гораздо интереснее и полезней узнать, что нет той свирепости, которая не побеждалась бы добротой. Озаглавь рассказ: «Мудрая старость»...

— Христианские дрожжи! Нипочем не примет редактор. Одна надежда — удав. У твоего отца, мне помнится, есть товарищ-оригинал, у себя держит в комнате.

— Пантелей! Ну, еще бы... однако уходи вон на цыпочках. Степа спит.

— Пантелей — это кличка удава? Да неужто, — воскликнул близкий к отчаянию Хохолков, — не нашлось более гордого слова, чтобы выразить ярость мускульной силы царя пифонов? Пан-те-лей?

— Уменьшительное — Пентюх... и так зовут его всего чаще. Ты как глянешь, сам назовешь. Вообрази, до того ленив, старый пес, что не желает сам вползать в ванну, говорит: пусть несут! Профессор ему держит голову, жена, сын и дочь тело — четыре метра. А? Недурен кобель? И все это плюх — в молоко.

— Молочная ванна? Удаву, как красавице Кавальери!

— Ну да, не то его шкура зверски воняет, этакий специальный удавий смрад. Он на родине привык об траву особую боками тереться, в неволе замена ей — молоко. Каждые две недели ванна.

— Черт знает что! Шехерезада какая-то, — оскорбился Хохолков. — Хотел заработать на удаве, а в результате, чего доброго, его же помои сам пью по утрам с кофе да деньги молочнице отдаю. К черту нэпманов! Небось не зарегистрирован этот удав?

— Зарегистрирован как учебное пособие... Да ты не шуми, разбудишь тигра, — сам понизил голос естественник. — На показательные уроки Пантелея развозят в пробковом футляре, чем и окупаются его молочные ванны.

— А площадь? — вспыхнул еще Хохолков. — При подобном уплотнении пифону дать площадь?

— Успокойся, Пантелей спит под постелью профессора.

— Вместе с ночными туфлями и прочим... Да это кто же напечатает? Это, брат, хуже мистики! Это черт знает что за быт!

Хохолков схватился за голову, потом плюнул в сторону тигра и помчался опять стремглав в зоосад с последней надеждой впечатлений от хищников.

В зоологическом Хохолков не стал приставать к сторожам, как обычная публика, — где именно сидит тигр? Он выучил план наизусть.

На быстром шагу вполглаза вбирая в себя хищных птиц, одних — донельзя похожих на царских жандармов, других — высоко поднявших мохнатые плечи, как дагестанцы в бурках, несомненно скрывающих где-то кинжалы, — Хохолков себя удерживал всячески от романтики и сопоставления зверя с человеком: «Госиздат запретил зверям разговаривать. Сопоставишь — ан зверь и пойдет...»

Пустой и легкий Хохолков стал перед клеткою тигра. Тигр сидел на поджаром заду, как собака. Глянув на Хохолкова, он подтянул к седому носу усатую губу, обнажил розовые десны, ослепительно белые зубы и, разинув пасть до опасности разодрать свое горло, стал зевать. И не раз и не два... Зевал на совесть, будто для этого дела он только на свете и жил. Хохолков не выдержал, зевнул было тигру в ответ, но тут же опомнился и сказал гневно сторожу:

— Что это у вас тигр, больной?

— Без дела, что же ему... — И, прикрыв рот рукой, сторож стал зевать не похуже.

Хохолков побрел к удаву.

«Тигровый питон. Python molurus.
Живет в Индостане и на Цейлоне.
Достигает 4 метров.
Самые большие могут съесть добычу
весом в 2 пуда».

Удав среднего размера так забился в угол клетки, что за деревом Хохолков его еле нашел. Он готовился,

видимо, линять и заранее, чтобы его не трогали, сделал вид, что издох.

— Пантелей, — обругал Python'a molurus'a Хохолков.

Отойдя подальше, он сел на скамью и задумался. Раздражал запах конюшен зверей; неудержимо хотелось, как и им, на простор.

Вдруг кто-то сзади стал нежно, но настойчиво тюкать в спину Хохолкова. Он обернулся, подскочил. Прекрасный чернобархатный бизон толкал его мордой и тотчас, подставив лоб, умным и туповатым взором просил почесать его. Не дождавшись ласки, бизон просунул между прутьев мокрые ноздри и высунул красный язык.

— Сахару хочешь, мерин... — зашипел в бешенстве Хохолков. — С этакой крутой башкой да с рогами. Тебе б затоптать, тебе б забодать! А он са-ха-ру...

И, окончательно не доверяя старой классификации зверей, перевернутой вверх дном аршинным безвредным ящером и позорной обломовщиной искони хищных, уже без всякой «темы», ни на что не надеясь, Хохолков стал за свои деньги досматривать зоосад.

Перед огромной клеткой павиана толпился народ.

Павиан, чуть присев, сноровисто чистил морковь, ловко зажав очистки в старчески темную руку с прекрасными овальными ногтями.

— Профессор Капченко... — прошептал Хохолков, — и его труд «Бесконечно малые».

И точно. Павиан был профессор Капченко — математик. Или наоборот. Рассеянные, страшно умные, вглубь ушедшие глаза, сутулость, чуть падающие штаны, эти присевшие мохнатые ноги. И свобода мыш-

ления до полнейшей безобразицы — эти две символически беспринципные ягодицы под хвостом, то красные, то синие... И, конечно, очки.

Павиан окончил морковь и, держа в напряжении крепко зажатый кулак с кожурой, глянул на публику, уперши длинный нос в мохнатую грудь, точь-в-точь как глядят математики поверх очков, ленясь их себе вздернуть на лоб. Профессор Капченко...

Павиан подошел вплотную к решетке с глазеющей праздной публикой и, просунув ловкую темную руку между прутьев, с силой выбросил всем на головы морковную кожуру. Потом, покряхтывая и чуть топчась на месте, он сделал в публику еще худшую непристойность.

Павиана заругали по-русски так злобно, как ругают лишь вора с поличным. И ругавшие, ну, не мог не видать Хохолков, хотя и запрещено, но до того стали как тот... ну, хоть в клетку. Требовали сторожа наказать обезьяну.

Сторож нехотя просунул в клетку железную пику. Павиан отскочил и, презрительно фыркнув, ушел с достоинством на самый верхний сучок своего клеточного дерева. Там, закрыв глаза и качаясь, погрузился он в созерцание «бесконечных и малых».

Хохолков двинулся к грызунам, где прицепился с мальчиками к жирному кому — сурку. Зверь лежал в клубке без конца и начала и — хоть тресни земля — крепко спал. Озираясь на сторожа, мальчишки кололи его нарочно взятыми чулочными спицами, он чуть двигался и опять засыпал. Хохолков просунул руку и что мочи ущипнул зверя. Сурок даже не фыркнул, только вместе с сеном, в которое зарыл морду, перевез

медленно вглубь свое жирное тело. Что с него было взять? Округлился, закончился...

Против морских львов у бассейна Хохолков увидал вдруг художника Руни, рисовавшего в свой альбом. По этому признаку определив, что, значит, там интересно, Хохолков подошел.

Руни зарисовал двух фламинго.

Египетские священные птицы стояли геральдически симметрично, повернувшись лицом к стене, каждая за трубу отопления засунув длинный свой нос. Изредка они нервно вздрагивали чудесными розоватыми крыльями на красной генеральской подкладке. Выходило, что они отвернулись нарочно, не желая глядеть на воду.

Рядом с художником Руни сторож, приставленный к «аистообразным», не спуская глаз с фламинго, крыл их отборнейше.

— Ну, за что вы? — спросил Хохолков.

— Тоже нэпманы и буржуи... Почему классовый гонор? Перевели их сюда, а они с кряквами, вишь, не плавают... а заплошают, так я ж отвечай!

По широкому каналу вперед-взад шныряли, ныряли, крякали, дрались и шумели, как торговки в базар, нырки, шилохвостки, чирки, широконоски и прочий утиный дрязг.

Они клевали кучами на помосте, судачили, ткали сплетню, ругались отверстыми красными клювами, плавали вплоть до угла с отоплением, где, как геральдические изваяния, фламинго из Египта, гордясь розово-пурпурным оперением, безмолвно страдали, но не шли в оскверненную утками воду.

— Покажу я вам классы... — И сторож пошел к отоплению силком столкнуть в бассейн норовистых «аистообразных».

. . . .

Опять приемный редакторский час. Опять Хохолков с тоской глядел в окно на черемуху, как невесту убравшую себя в белый убор. Последнюю делал попытку устроить свой «Красный зверинец».

— Допускаю, вы правы, товарищ, если Госиздат запретил зверю слово, то уподобление зверя человеку — по существу нарушение; профессор Капченко отпадает. Но фламинго, но кряквы? Разве не сильнейшее оружие логики — вскрытие всюду однородных законов? Эта классовая гордость птиц...

Редактор вспылил...

— Под пером немарксиста, — ударил он, — подобная тема, товарищ, бледна. Удивляюсь немало, вы получали академический паек, а про зверя не можете без никчемных надстроек. Никак уже с четырьмя сели в лужу? Ну, вот вам последнее снисхождение — попробуйте пятого, элементарнейше дельно, хоть так: живет, умирает, удобряет землю... ну и там что-нибудь из копыт. Эх, вижу я, не будет вам летнего отдыха!

— Ложь, — закричал вне себя Хохолков, — ложь — будет мне летний отдых, я пя-то-го зверя нашел!

ВО ДВОРЦЕ ТРУДА

Вынеслась колокольней в Солянку, почитай столетье застыла в разбеге шоколадная церковь — Рождество на Стрелке. И все так же облуплена и все в тех же подтеках, как четверть века назад, когда Таню Осберг увезли тетушки из института.

Тогда на этих присевших воротах, где сейчас над головами спешащих с портфелями в рабпросы и рабисы, как болезнь над кроватью в больнице, черным по белому: «Дворец труда», — высоко подобранные, золотились иные слова.

Тане Осберг и ворота показались не те. Запомнились словно бы пирамиды в Египте, а выходит — поопростел, запролетарился въезд.

Ну, а сама-то она, по трудкнижке совработник двенадцатой категории?

На правой группе, посаженной скульптором Витали, с отбитой подписью: «Просвещение» — по-прежнему мать читает из каменной книги старовидному юнцу из Эллады, но на другой — отрок теперь лишен головы. И уже окончательно нет геральдических

птиц — пеликанов, кормящих детей, столь известной в свое время эмблемы Воспитательного дома, любезной гражданам по бубновым тузам игральной колоды.

А ведь вот для дерева двадцать лет малый срок! Липы в длинной аллее против прежнего чуть потолще. Под липами тук-тук каблуками совбарышни стриженые, и в красных платках комсомолки, и толстовки, и френчи.

А бывало, здесь павами проплывал за классом «зеленых» класс «серых», весной в рыжих камальках, зимой в страшных пальто с «пелериною-факельщик».

Ах, и памятен этот пролет в родовспомогательное... Отсюда гурьбой высыпали студенты вихрастые да лобастые, прескверно одетые, совсем не офицеры и не слишком-то мужчины.

Однако Валя Рокова за одного вышла замуж.

Студент с корзинкой пирожных, от Абрикосова конечно, шел из пролета, а ближняя в парах, Валя, уверенная, что студент по-французски не знает, сверкнув зубами на пирожные, молвила: «Assassinons et mangeons!» [1]

И тотчас студент, слепя такими ж зубами, краснощекий и ласковый, таким же, как Валя, прескверным французским: «Pourquoi assassiner? Prenez et mangez!» [2]

Этот студент стал вскоре Валиным «подоконным».

Это значило, что по субботам, когда студент был посвободнее, он стоял на часах после всенощной под окном дортуара, чтобы Валя Рокова, по пояс выпав

---

[1] «Убьем и съедим!» *(франц.)*

[2] «Зачем убивать? Берите и кушайте!» *(франц.)*

в форточку, могла на бечевке, как рыбку, спустить ему белый узкий конверт. Студент, прочтя и запрятав «навеки» в тужурку письмо, привязывал на бечевку ответный конверт — голубой.

Выйдя из института, Валя Рокова вышла замуж за своего «подоконного».

У нее были милые журфиксы и милые дети, но она, как и Таня Осберг, не проговорилась ни мужу, как никому на свете, о том, кто были убийцами ее сестры-близнеца — Маши Роковой.

Машу Рокову в один весенний день предвоенного времени нашли рано утром в музыкальной селлюльке повесившейся на двух полотенцах.

Черная длинная коса попала ей в петлю, и всем сразу показалось, что вокруг ее шеи обвился черный змей.

Но это только показалось. Когда снимали Машу коридорные девушки и «пыльная дама» в присутствии Гуг Гугича, — они для скорости петлю на шее разрезали, отчего испорченным оказалось одно казенное полотенце с распоротым номером. Другое же было с номером Маши — четвертым.

Допросов не вели, дело замяли, как ни кричали о нем по городу. Машу объявили нервнобольной и припадочной.

Что такое память у человека? Где гнездится она, не забывающая, неизменная, в том самом теле, которое с годами так изменяется, что ближайшими порой бывает не узнано? И перед кем, спрашивается, сейчас отвечать совработнику двенадцатой категории Осберг,

ответственной в поведении своей совжизни перед управдомом, фининспектором, месткомом и выше, пред всей скалой учреждений и лиц, даже шепотом не предполагавшихся в тот год, когда повесилась Маша Рокова? Перед кем отвечать ей ну хотя бы за то, что полотенце-то с распоротым номером было ее и что своей рукой из него она наладила тугую петлю для Маши?

Чего не нанесло в четверть века? Только камням и деревьям время может быть нипочем, — а для людей? В забвение канул век прошлый, и возник новый век. В личной жизни переменилось имя, положение, объем тела, — в истории возник новый класс. Ну можно ли знать еще об обстоятельстве, давно погребенном?

Но два полотенца грубоватого холста — одно с меткой распоротой, другое с цифрой «4» ярко-красным крестиком — вдруг упали на два белые тротуара по обеим сторонам липовой аллеи и, как они, протянулись в бесконечность. Ноги сразу устали, сердце заленилось стучать. Осберг еле поспела в открытую калитку войти в сад и сесть на скамью, как на минуту в глазах ее стало темно.

Потом глаза вспыхнули и внимательно, как сторож, отвечающий за порубку сада, стали перебирать кусты ближние, дальние, и деревья, и незнакомые, новые поросли.

Но вот у забора все та же, ни с кем ее не смешать: одинокая, громадно расселась и, совсем непохожа на липу, чуть не до самого газона кринолином вокруг себя свесила ветви она.

Четверть века назад под этой самой липой Таня Осберг и близнецы — сестры Роковы — тянули узелок

из казенного носового платка с черным клеймом заведения.

Узелок вытащила Маша Рокова, даже не побледнела, только сказала: «Ай-ай!»

Со стороны казалось, что девочки собираются играть обыкновеннейшим образом и тянут жребий; кому быть «квачом», а на самом-то деле один из трех белых хвостиков с узелком, плотно зажатый в полудетской руке, был жребий совсем не на то, кому бежать что есть духу, чтобы хлопнуть других по плечу, а только на то, чтобы завтра, за пять минут до звонка, пойти в селлюльку номер пять и там повеситься на крюке.

Совработник Осберг справилась с собой и вышла опять на аллею. Во что бы то ни стало надо было ей достать одну нужную профсоюзную бумагу.

Белый низенький дом и справа на нем: «Аптека» — вот и хорошо. Никакой аптеки прежде тут не было, да, почитай, и самого домика.

Но вошел рабочий в аптеку, приоткрыл на миг дверь — подмигнула со стола лампочка под просторным зеленым абажуром-колоколом, — и снова зачарованно, неотступно, лишая воли уйти, ее втянуло прошлое.

Ну как так не было домика? Да в этом самом жил батюшка Добротворский. Такой точно зеленый абажур, только не над электрической, а над обыкновенной керосиновой лампой стоял на белой вязаной скатерти у окна. В свободные от уроков часы батюшка с внучкой иль старой нянькой у всех на виду часами играл в разноцветные шарики-солитер.

И когда сиротливые, необласканные девочки, чтобы иметь хоть кого-нибудь в этом мрачном здании вроде родни, вдруг целым выводком увидали во сне, что батюшка Добротворский святой и после смерти ни за что не разложится, и пустились бегать к нему в коридоры благословляться, батюшка покорно крестил их, кротко жалуясь, что не придется ему и покурить в переменку, и с доброй улыбкою, в виде компенсации себе, приглашал: «Ужо не возьмут тебя на праздники — приди в гости поиграть в солитер».

Ничего умней и значительней от этого батюшки не слыхали, а вот подите ж, не на него, а на другого, куды побойчей, на академика — тоже вдовца — держали пари подсмотреть: что носит он под рясой — штаны или юбку?

Опять пустили слух, что батюшка если вдовец, то уж ему ничего мужского нельзя, и за плитку шоколада на литии две крайних в проходе взялись подсмотреть под ризу — узнать. И узнали: академик-вдовец носил серые домотканые брюки, вроде как тротуарные тумбы.

При главном входе, который сейчас совсем не там, где стоял швейцар в красной ливрее с орлами и булавой, совработник Осберг с радостью увидала нечто окончательно не вызывавшее прошлого.

На входной лестнице, давя размерами и как бы не пуская дальше, стоял огромный рабочий, подняв молот. Другая рука у него была в рукавице, до того тяжелой, что странно было, что не оттягивала она ему плечо книзу. Напротив стояла работница таких же великанских размеров. Оба в прозодежде.

Совработник Осберг совсем успокоилась: эти статуи как пограничные знаки, за которыми безопасность.

За ними век новый — и всему старому крышка. Она смело пошла наверх.

Под ногой захолодели чугунные плиты: круг с орнаментом, так пронзительно знакомый.

Прежде коридоры были сплошь выложены этими плитами. По ним водили в лазарет, чтобы выдернуть зуб, или к начальнице за присуждением особо важного наказания. Тогда ноги шли так, чтобы попасть: край — середка — край. В конце если середка — будет все хорошо. И сейчас ноги стали так было ступать, но Осберг одернулась — ерунда...

Спросила того и другого товарища, как найти нужную комнату. Очень скоро нашла: строгая девушка с медицинским, внимательным взглядом проштемпелевала бумагу, научила, как дальше...

Совработнику Осберг надо бы уходить, а она все стояла, переводя глаза с портрета на портрет товарища Ленина, где он то подымает руку, зовя «на последний и решительный бой», то, взятый много крупней натуры, высматривает сверлящими, умными глазами врагов пролетарского строя...

Под портретом Осберг прочла неожиданную, домашнюю надпись: «Товарищ, не кури!»

Прочла и большую афишу с обозначением дней разнообразнейших дискуссий, фамилии секретарей, председателей и наименования в кучу сложенных пакетов и книг. Все это была охрана, толща нового быта, все это, как кольчуга на нежном, уязвимом теле, ограждало совесть от прошлого. И страшно было выйти из этой рабочей безопасной комнаты бывшего физического или

рисовального класса, потому что где-то уж близко, в черном коридоре, музыкальные былые селлюльки и среди них одна... номер пять.

— Товарищ, вам что же, собственно, надо? — подошла от своего стола та, деловая. — Или я вам объяснила неладно? — внимательно смотрят глаза.

— Извиняюсь, я так... я обдумывала, — и сконфуженно Осберг — вон, в коридоры.

Поселяется иной человек «от хозяйки» в чистенькой, оклеенной заново комнате и живет себе ничего, с примусом или керосинкою, пока кто-нибудь сдуру не расскажет: «А ведь комнатка пустовала оттого, что последний жилец из этого вот окошечка да вниз головой! Обои пукетами — это уж после него, для заманки».

И престранное дело: в досужий часок нет-нет, а измерит новый жилец время полета от окошка до мусорных куч и осколков красного кирпича там, внизу, в черном дворе. А как-нибудь под вечер или, напротив того, в серенький час до рассвета, глядь, и перекинет новый жилец за окно обе ноги в драных подошвах.

Не стучись в прошлое — прошлое ринется и проглотит. На запор его, как лютого пса...

«Фермопилы» — звался в честь древней доблестной битвы этот узкий проход. Здесь поджидали Евгения Петровича, чтобы спросить подробности про французскую революцию и еще раз потонуть в «ужасно-гипнотических» его глазах...

У окна рядом, глядя во двор с цветущим каштаном, в обнимку, вдвоем и втроем, горько плакали весной горбоносые черные девочки, томясь по родному Кавказу.

«Оживление Советов, усиление кооперации — путь к укреплению союза рабочих и крестьян» — огромная красная лента, на ней белые как снег буквы — почему-то сохнет на этом паркетном полу... Да неужто это он, тот самый зал?

И увидала Осберг нарядную, залитую светом эстраду, хор певчих в кружевных пелеринах с розовыми бантами. Начальница, дородная, в атласном синем платье с треном и орденским знаком на плече, а рядом с ней — еще невиданный генерал, до того ужасных размеров, что кажется — он монумент. За ними инспектриса, фрейлейн Вальде, впадая от обожания с каждым шагом в глубочайший придворный реверанс, шепчет:

— O, der Zar! Der russische Zar! [1]

Вспархивает палочка в руках дирижера, выступает прекрасная пепиньерка с букетом цветов, и торжественно, как «Исполла ети деспота», хор поет нелепые, положенные каким-то немцем на музыку вирши:

Мы все девицы пук, пук,
Мы пук цветов несем...

А вот и средина залы с колоннами: здесь в день праздничный появлялись юнкера, офицеры, кадеты, студенты и, отвесив поклон по начальству, ожидали, когда подлетит к ним дежурная и спросит: «К кому вы?» И, едва выплыв из залы, припустится что духу бежать.

Осберг попала в третий этаж, где прямо в глаза яркая, изнутри освещенная, будто у нее какое-то идет свое кровообращение, надпись: «Гудок».

Затолкались быстрые молодые пескари в речной

---

[1] О, царь! Русский царь! *(нем.)*

ряби — видать, писатели, одетые и раздетые: в фуфайках-сеточках, в разверстых апашных рубахах.

— Для воздуха одеваются пonче, — кидает мимоходом уборщица из старых.

Ах, эти медные в стенах дверцы как памятны! Как горели они в час заката, когда пронзительным золотым снопом пролетало солнце в узкий, как труба, коридор от окна до окна. Приготовишки кучами высыпали плевать в эти лучи, чтобы любоваться, как в них сверкают и бьются золотые пылинки. Приготовишкам мыльные пузыри выдувать запрещали.

Все, все запрещали синие старые девы: бегать, бороться, читать «ужасные русские книги», хотя безнаказанно можно было изучать французские непристойности по Рабле и Вольтеру.

В третьем этаже обегали вокруг всего здания дортуары с круглыми окнами, и сейчас выходящими в коридор. Было очень страшно, когда девочка Фарбова, лунатик, влезала в это окно и щелкала ослепительными челюстями.

А вот здесь, в куточке, был Максим-лавочник. За пять копеек у него чего хочешь бери — маленький, узенький фунтик. Был и мордатый приказчик Ефим. Ему длинная Леночка, потом небезызвестная московская актриса, написала стихи:

Тебя я вижу раз в неделю,
Ты нам гостинцы продаешь,
Ты за грушеву карамелю
Гроши последние дерешь...

Вот столовая. Здесь началось.

Было как-то особенно подвально-сиротливо. К Тане Осберг давно на прием никто не ходил, читать было

нечего. Она сказала за ужином своей подруге Вале Роковой:

— Котлеты опять из тухлого мяса, я желаю выразить протест — чвакнем огурцами в потолок, сведут в лазарет.

В лазарете водились русские книги, а на окнах стояли замечательные банки с наростами и безголовый, почти змей, таинственный, как сантиметр — солитер. Совсем не тот, что игра солитер батюшки Добротворского, хотя слово то же.

Девочки чвакнули в потолок водянисто-желтые огурцы. Они тупо щелкнули и забрызгали рассолом снежно-белый покров. Безмолвная от распиравшего гнева классная дама свела обеих девочек в лазарет, куда тотчас вплыла начальница с красавцем доктором Гуг Гугичем. Барски картавя и негодуя, начальница спросила:

— И как только могли вы ос-ме-лить-ся?

Валя Рокова, боясь, что Осберг вдруг надерзит, спокойно сказала, что огурцом хотели обратить наконец внимание на то, что котлеты опять из тухлого мяса, о чем уже тщетно не раз заявляли...

— А у тебя-то дома, моя милая, — глаз начальницы презрительно прищурился и стал желтый и хищный, как у кобчика, — у тебя дома ужели кушают лучше? Ну, я не думаю: твоя тетушка целую вечность приходит все в том же платье. В карцер их на неделю! — И уплыла.

В карцере няньки делали послабленья, и можно было бегать друг к другу. По горячему пылу решили было публично побить начальницу, как гимназисты,

случалось, били дурного директора. Но скоро раздумали: обе были маленькие; чтобы ударить, придется подпрыгнуть — это выйдет смешно. Перебирая все виды протестов и мести, выбрали нечто вроде японского харакири: решили повеситься. Но, конечно, повеситься так себе, только для начальства, и после обморока, когда все письма будут обнаружены, непременно ожить.

В письмах к любимым учителям, инспектору и врачу было подробно изложено, почему девочкам жить так тяжело, что если перемен не последует, они станут целыми классами вешаться на крюках.

Когда вышли из карцера снова в класс, к их «союзу возмездия» присоединилась и Маша Рокова, сестра Вали. Она была маленькая, тоненькая, совсем тихая девочка и любила то, что все ненавидели: штопать часами чулки.

Маша сразу сказала:

— Повеситься надо мне, я по весу всех легче, и подо мной крюк не погнется.

Она же указала, что в селлюльке номер пять чинить взяли лампу и там крюк свободен.

Таня и Валя настояли, чтобы все было как в книжке и тянули бы жребий.

Узелок выпал Маше, и хотя она сразу сказала: «Ай, ай», — но тут же прибавила:

— Я так и знала, что вешаться надо мне.

Таня Осберг стащила у приготовишек полотенце, потому что одного Машиного было мало, распорола номер, хотя это было ни к чему: узнать пропажу могли все равно, и за малолетием приготовишку нельзя было даже «подвести».

Но Таня все делала истово и на Машу Рокову накинулась с такой яростью перед самым рассветом, в тот день...

Маша вдруг стала плакать, ей сделалось страшно повеситься хотя б на минутку.

— Ну, вспомни Деция Муса, как он на белом коне ринулся в пропасть! Притом он ведь взаправду и все-таки не струсил, а тебе и ми-ну-точ-ку страшно. Да это просто как прыгнуть в холодную воду: сразу обморок. И все, решительно все висельники говорят, что это очень приятно. Впрочем, ты сейчас можешь выйти из «союза возмездия», мы сумеем повеситься сами...

— Ах, нет, вы обе толстые, вы крюк оборвете, и потом мне уж так вышло...

И Маша Рокова, заплаканная, тихонько крестясь для храбрости, пошла без десяти семь в селлюльку номер пять повеситься.

В семь часов, когда начинается первый час музыкальных упражнений, Осберг и Валя должны были войти, созвать криком побольше народу, при всех найти письма и непременно отдать их по назначению.

Когда Таня Осберг и Валя бежали по звонкому от пустоты коридору, их на повороте поймала бессонная и мрачная инспектриса старших.

И началось: как смели прийти до молитвы? да куда? да зачем?

Обе молчали. Инспектриса приказала им войти в ближний класс, заперла его и сказала:

— Когда все придут, разберем это дело.

— Ведь не дура ж она, чтоб повеситься? — все твердила про сестру Валя Рокова и в ужасе не сводила

с Осберг больших пустых глаз. — Ведь не дура? Ах, зачем ты ее ночью бранила?

— Кроме нас, ей в селлюльку никто не может постучать, а без стука она не станет. Она, наверное, отложила, — успокаивала себя и подругу Осберг.

— Ах, зачем ты ее ночью бранила? — еще и еще плакала Валя.

Осберг стояла перед бывшей музыкальной номер пять и не могла уйти. Между тем кончился советский рабочий день, проходили с портфелями мимо и заведующие, и секретари, и машинистки.

— Товарищ, вы, верно, больны? — И опять внимательный, точный взгляд той служащей, что дала без задержки бумагу. — Отчего вы всё еще здесь?

И вдруг Осберг не захотелось отмахнуться от вопроса, захотелось сказать по-человечески только правду, как есть. И она сказала:

— Я училась здесь в институте. Было очень тяжело. Нас трое решили выразить протест. Одна должна была примерно повеситься, чтобы придать цену обличительным письмам, которые были при ней. Маше Роковой выпал жребий. Я с ее сестрой должны были поспеть вовремя, чтобы стукнуть ей в стекло в виде сигнала и, созвав побольше народу, вернуться снова, спасти ее и взять важные письма. Но вышло так, что нас задержали, а условленный сигнал прыгнуть Маше в петлю дала мимоходом пыльная дама, просто так, для порядку, услыхав, что в музыкальной селлюльке не упражняются. Маша Рокова повесилась. Когда ее сняли, было поздно, она умерла. Если б я не струсила и, несмотря ни на что, добежала, она бы осталась жива теперь.

— Пыльная дама? Какое нелепое звание! — сказала служащая.

— Была и ночная дама и дама башмачная...

— А письма обличительные? Надеюсь, доставили?

— Письма сожгли. Всё замяли. Четверть века этому делу, а мне вот... словно вчера.

— О сироте кому было шум подымать? — вступилась старуха уборщица. — Я этот грех помню. В лазарете кум мой был ламповщик. Там врачи промеж себя зашлись, спорили. Один говорит: «Не попади ей коса в петлю — оживела бы», а другой поперек ему: «От косы ей скорая смерть!»

САЛТЫЧИХИН ГРОТ

В этом подмосковном поселке отцы торгуют. Давно обсиделись на льготно закупленных в военное время нарезах. В первые годы революции порастрясли было мошну, а уж сейчас ничего — оперились. Открыли кубышки, пообстроились, заборами обнеслись, георгин насадили. Ходят к обедне в двухэтажную церковь: зимой в теплый этаж, летом — в холодный. И цель жизни нашлась — подсидеть кооперацию.

Новый быт не то чтобы приняли — прижились, как половчей. Поначалу прокляли было двух-трех дочек за совбраки, да умом пораскинули и скоренько смирились: бездетный брак что холостой выстрел: пугнуть пугнет, а вреда не видать.

И подмигнет, подтолкнет отец отца: опять-таки эта «охрана материнства от младенчества!»

Пусть советится, пока зелена, пробьет срок — выглядит себе кого путного; а очистится с ним по-церковному, с благословением оброжается — можно зятюшке и дела передать... И сыновьям в комсомол отцы идти не препятствуют. Не ровен час, заявят куда надо

сыновья о бессознательном элементе в семье... Ведь пронесли уже где-то плакат:

«Долой бывших родителей!»

Лавочники народ кастовый, носы у них с набалдашинкой, пальцы пухлые, что личинки майских жуков. Пальцы наметаны товар с барышом принять и отвесить себе без урону...

Два мира в поселке, и не только в поселке — в каждой семье. Да вот хотя бы Творожины сестры: Зоечка, довоенного времени перестарок, да подросток Ирка — пионерка.

— ...Ручаться за то, Зоечка, что она ела именно женские груди и младенцев, я вам не могу, но удостоверено исторически: Салтычиха загубила более сотни своих крепостных. Она жертв своих била скалкою до собственного изнеможения, а гайдуки при ней добивали плетьми...

— Ужас, ужас, — пищит Зоечка, — а про ужасы я слушать совсем не хочу.

И вот же неправда — Зоечка ужасы очень любила: в кино бегала на «Кошмар инквизиции», на «Застенки царизма». Но ведь ей этот внезапный знакомый показался из тех, ну, из прежних, которым так нравились девушки у Тургенева.

А Петя Ростаки, освеживший для собственной цели в исторических справках нужный ему материал, с удовольствием продолжал:

— Доносы на Салтычиху были столь многочисленны, что обратили наконец внимание Екатерины. При-

казано было выставить ее на лобное место в саване. На груди у ней было написано: «Мучительница и душегубица»...

И опять Зоечка:

— Ужас, ужас...

— Салтычиху заключили под своды монастыря в подземную тюрьму. Пищу давали ей со свечой, и когда народ жадно кидался к оконцу, она дразнилась языком и плевалась. В старости стала непомерно толста, что не помешало ей завести роман с тюремщиком. Просидев тридцать лет в склепе, похоронена в почетном Донском монастыре. Кряжистая баба. И вот, попрошу я вас, Зоечка, дополнить мои сведения современностью и показать, что же осталось от древности в дни аэропланов и Советов?

Голубым глазом Зоечка глянула вбок, ерганула плечиком и, жеманясь, сказала:

— Пойдемте в парк, я вам грот покажу. Но почему вы так хорошо знаете историю?

— Я исторический романист, — сказал Петя Ростаки, — псевдоним мой — Диего, зовите меня этим именем.

— Диего, дон Диего... ах, это звучит...

Петя Ростаки почти не соврал. Он пока дал в газетку содержание двух кинофильм, но он собирался начать отдел «Подмосковные вчера и сегодня», для чего и приехал в былое поместье злободневной сейчас Салтычихи.

Петя Ростаки за время революции хорошо прирабатывал наклейкой резины к дырявым подметкам. У Пети припрятан был клей довоенного времени, и

благодаря ему подошвы отдирались много позднеи, чем при их подклейке советским клеем-профессионалом, ассуром.

Но клей довоенного времени у Пети весь вышел, а сердечное увлечение выгнало из удобной квартиры дядюшки в сквозной чужой коридорчик.

Когда фининспектор по доносу о подклейке калош зачислил Петю в кустари-одиночки, дядя, крупный совслужащий, сказал ему: «Каждая сила действует в своей категории. Твои же дела болтовня: регистрируйся журналистом!»

— Изучив прошлое Салтычихина грота, я приехал сюда за красками современности, — сказал Зоечке Петя Ростаки и шаркнул: — Предполагаю получить эти краски от вас.

Изогнувшись всей своей серенькой летней парой, сверкнув на солнце желтыми ботинками, Петя сорвал во ржи василек и галантно поднес его Зоечке, а шедшая сзади Ирка-пионерка подумала про себя: «О-го! У Зойки старорежимные фигли-мигли».

На перекрестке парочка свернула в парк, а Ирка к реке. У Ирки на плече было мохнатое полотенце, она шла купаться. Хотя она то и дело кидалась через канаву нарвать налитого белым соком овса, чтобы сжевать его набок, как лошадь, — она попутно насторожённым пионерским оком, не упускала ничего.

Еще издали, заприметив мальчика с таким же, как у нее, красным платком на шее, она, как ружье, вскинула над головой правую руку с пятью смуглыми паль-

цами в знак того, что она и в эту минуту, когда идет купаться, как и в прочие минуты своей жизни, готова освобождать все пять стран света от гнета мирового капитализма.

— В звене доклад «Детдвижение», смотри, Крамков, не ужиливай!

Вздымая пыль крепкими пятками, показав тоже пять пальцев, Крамков пробежал дальше, а Ирка заторопилась к пруду.

Она купалась теперь на закате, потому что утром, когда нагрянут все дачницы с детьми и с полосканьем своих комбинешек, всякий раз, хочешь не хочешь, заварится склока.

Полоскать частное белье в общественной воде — это, граждане, антиобщественно и антисанитарно!

Ирка ненавидит кружевные буржуйные комбинешки.

Старые дачницы злятся и как помнят ее еще годовалою, то обидно язвят:

— В мокрых штанах тебя видели, тоже большачка!

Оно, конечно, Ирке надо бы с заявлением на дачниц идти дальше, к самому поссовету, да связываться с ними, с комбинешками, недосуг, — вот и решила купаться в пруду на закате.

Не до дачниц Ирке сегодня, на днях событие в звене: сместили вожатого за то, что «бузил» вместе с звеном, и сегодня новая вожатая, Клаша Копрова, выступает в первый раз.

Ирка быстро разделась и, ежась от холодной воды, от чего худые лопатки затопырились как крылья, мед-

ленно выбирая подошвами песчаное крепкое дно, шла до тех пор, пока ей было по горло, потом вдруг, выбивая фонтаны, кинулась плыть к камышам. Там, сорвав банник, бархатную щетку вокруг твердого стебля, она взяла его в зубы.

Лежа на спине, как плавниками трепыхая чуть-чуть кистями рук, не выпуская из зубов банника, Ирка смотрела, как розовеют барашки, оттого что бегут над ней в небе прямо в закат. Вышла на берег, а там опять дачницы. Хоть и не купаются, а так, зря натолклись, на пруд поглядеть. Ну молчи, коль любуешься, а то разговоры... да о чем! Все ворчат, все корят молодых: на проезжей на дороге загорать полегли!

— Советские нравы... обучили кого в трусиках, кого — «долой стыд!»

— А прежде-то? И рада б иная попышней, чтобы мужчина в щелку в купальной на нее посмотрел, — а он в щелку и сам-то стыдится, разве что в бинокль из кустов.

— Сейчас оба пола сравнялись, безо всякой без разницы живут.

Мелькнули в березках: голубая в оборках Зоечка и серая пара, желтые башмаки — Петя Ростаки.

И сейчас дачницы Папкова, Чушкова, Краузе:

— Кто с Зоей? Чей он? Откуда?

— Мы в одном вагоне из Москвы ехали. У меня сидячее место, а они себе на площадке знакомились, — закумила Папкова.

— У теперешних просто: раз, два — и под липку.

— Эта Зойка готова хоть на шею козлу...

— Она и с бандитом не прочь.

— А кто поручится, что он не бандит? Железнодо-

рожный мужчина и в наше время был самый опасный мужчина.

— Бандиты, что кооператив наш обчистили, тоже были в серой паре, чудесно побриты, в руках тросточки, совершенно эстрадники. Когда все открылось, их наши дамы прозвали бандиты-шико. Троих взяли, один убежал.

— Может, он?

— Опре-де-ленно!

И Папкова, Чушкова и Краузе, три сезонные сплетницы, на досмотр кинулись в парк. Ирка с мохнатым полотенцем — наперерез, прямо к гроту свиданий, Салтычихину.

Зоечка, с Петей Ростаки, плыла по аллеям. Овевал ее ветерок сладким липовым духом, засматривал ей в голубые глаза Петя — дон Диего, не сразу выталкивая слова, как бы в них не уверенный, что казалось ей воспитаньем и скромностью после обхождения теперешних. В частой улыбке Диего обнажались мелкие острые зубы, в серо-зеленых глазах, чуть прищуренных, было хищное и смешливое, как у щуки, хватающей пескаря.

У самого пруда, над глубокой пещерой древней каменной кладки, росли две огромные березы. Уже добрую сотню лет березы склонялись далеко над входом своими бело-черными, как горностаевый мех, стволами. Их плакучие ветви кружевной завесой спадали перед входом, то тут, то там пропуская в просветы днем синее небо и пурпур знамен пионеров, а ночью, пока влюбленные пары еще могли наблюдать, зеленые светляки лампионов театрального сада им здесь подмигивали цветом вечных надежд.

— Здесь должно быть чудесно в лунную ночь, — сказал Диего и, помолчав, прибавил: — Сегодня будет именно лунная ночь.

Из кустов глянула еще мокрая от купанья голова Ирки-пионерки, и, всей рукой подманивая к себе Зою, она, запыхавшись от бега, прошептала ей:

— Брось фигли-мигли с буржуем! Папкова, Чушкова и Краузе уже раскумили, что это бандит.

— Да как ты смеешь...

— Бессознательный рудимент! — Ирка гневно исчезла, а Зоечка, зардевшись, сказала Диего:

— Поселок вас возвел уже в чин непойманного бандита-шико. Вот вам и тема.

Диего залился, обнажая свои мелкие щучьи зубы, а Зоечке вдруг чуть-чуть страшно: а если он и вправду бандит? Теперь такие необыкновенные пошли вещи. И чем, скажите, зарабатывать бывшим дворянам? И тут же Зоечка: а если бы он, как Дубровский Троекурову Машу, — меня полюбил...

Папкова, Чушкова и Краузе, рука под руку, сомкнутым строем, звеня серьгами и браслетами, вдруг надвинулись к гроту. Поравнявшись с Зоечкой, они проглотили глазами дон Диего с его желтыми башмаками, серым костюмом и канули в столетний липовый мрак.

— Они будут подглядывать. Идемте на открытие клуба. Их стенгазка срамит, они туда не суются...

Зоечка перестарок, хотя так моложава, что все без колебаний зовут ее просто по имени, как она любит. Она из той несчастной полосы, которую революция уже застала окончившими прежнюю школу и расположившими будущность в твердых днях. Октябрь, как лу-

кошко с грибами, опрокинул все ее планы. Хорошо — хоть хватило у Зоечки сметки поселиться с последней не вымершей теткой здесь, в поселке, где хоть малый домишко, да свой. Однако зависть берет уж на Ирку и прочих знакомых подростков. Как ладится у них все, без морщинки. Пионерки, потом комсомолки, идут со своими гуртом. Свой у них клуб, свои кавалеры. Им жизнь, как свежая тропочка, далеко вперед кинулась, а у Зоечки — оборвалась. Вот с самой с последней надеждой и хватается за последнего... вроде как из прежних.

— А что ж, ваши кумушки и по почам ходят в грот?

— Ах, что вы! Сейчас ни за что! Их мужья запугали налетчиками. А у Чушковой, например хоть, только в праздники брильянты, а в будни стразы...

— Вот мещанка, ужели стразы?!

— Но даже их бережет она пуще глаза! А в праздник видали: четыре браслета, по два на каждой руке, представьте, а у Папковой на ноге, с ним купается, и с серьгами, перстнями... Ювелирная лавка!

Петя Ростаки залился, обнажая мелкие щучьи зубы:

— Сегодня праздник, значит гражданки в крупной цене. Ну, пойдем при луне в этот грот!

Волнует Зоечку взор Диего, и смех, и щучья улыбка: нет, нет, не бандит — он Дубровский.

В бревенчатом здании поссовета, в просторной комнате происходило открытие клуба.

Первым с лекцией о текущих событиях вышел товарищ Довбик. Он ступал по сцене как статуя командора, камнем стуча каждый шаг, отчего задняя декора-

ция трепетала. Он сейчас же перешел, ввиду богомольности поселка, к антирелигиозной агитации.

С шиком развернул гремучую змею длиннейшего плаката под огненным заголовком: «Сколь ни поддавайся — проглочен не будешь!»

На плакате изображен был Иона с серой бородой, в красных трусах и в десяти позах, наиудобнейших для кита. Но для всех десяти, не исключая той, где Иона хитрым сплетением рук и ног обратил себя в круглый футбольный мяч, горло кита пребывало ему совершеннейшей непроходимостью.

При бурных овациях товарищ Довбик демонстрировал «научно точные» диаметры китовой глотки и в кратчайшем делении Иону.

Эстрадные номера возвещал приземистый беспартийный. Он обещал в будущем вполне революционную программу, но лишь сегодня конфузливо предлагал прослушать, по бедности, одни только «местные силы».

— Лучше, товарищи, открыть клуб ими, нежели ждать именно у моря погоды, потому справедливо, что необходима пища не одна именно телесная, а как сказано: «не о хлебе едином жив будет человек».

— А какого, извиняюсь, вождя эта последняя, товарищ, цитата? — поддевают беспартийного...

— Гляди, расцитатят в стенгазке.

На сцене неизбежный «Монолог сумасшедшего». Некто в халате, с побеленным на совесть лицом, с «Чтецом-декламатором» в правой руке.

— Это вполне спец. Откалывай, Бобриков!

Бобриков схватил венский стул, швырнул его к дверям, зарычал, поймал снова, потряс над головой, ско-

сил к носу глаза, замахнулся на публику и, польщенный женским визгом, изрек:

— Из Мазуркевича.

После Бобрикова девушка прошлого века в полосатом шарфе сказала:

— Из Соллогуба-поэта, — как говорили, бывало: «Абрикосовы сыновья».

Инфернально завернувшись в свой шарф, она, сколько полагалось в стихах, полетала «на качелях», визганула «вверх-вниз» и, совсем как когда-то светские дамы, подражая цыганскому пенью, полоснула в конце:

— Чегт с тобой!

— Этот номер в мое время московский хор в пении выполнял, а нынче времена попостней, — сказала охотница до зрелищ старуха Жигалиха, а Ирка-пионерка с компанией встала, не желая слушать буржуйных стишков.

В пустой комнате за сценой они пошли составлять свежий лист стенгазеты. Мимоходом не утерпела Ирка и опять шепотом Зое:

— Брось фигли-мигли, не то включим тебя в «язвы поселка».

— Если осматривать все здешние раритеты, то нам пора уже в театр, — сказал Зоечке Диего. — Надеюсь дополнить там свой фельетон «Нэпман на даче».

Они пошли к театрику «Муза» с красным флажком на воротах. Из оконца кассы выклюнул дятлом кассир и торжественно объявил:

— Предупреждаю вас, граждане, уже билетов ниже полтинника нет!

У кассы был весь поселок, от матерей с грудными до юных таитян с картины Гогена, в одной легкой сеточке, гордившихся голым бицепсом.

Рядом с будкой кассира висела афиша с анонсом пьесы, прошумевшей в столицах.

— Актеры! Актеры! — И мальчишки, поправив наскоро ремень плоской коробки с товаром на рубль, стрельнули встречать.

— Сама императрица прет, свои чемоданы несет, зда-аро-вая! — кричали мальчишки.

— А ведь похожа, я живую видала. И только подумать, из придворной кареты точно так выходила, а я таким же манером ей в спину...

— Только уж сама-то, чай, своих чемоданов тогда не носила.

— Гражданин кассир, почему именно нет имен на афише?

— А имена нам к чему же! Афиша давно напечатана, а уж труппу потом... подбираем на бирже. Кто свободен — один к одному лепим спектакль. На выезд, в дачное место каждый идет на две роли. Есть которые и на три... вот один во дворе никак уж в князья гримируется.

— Ишь ты, под небесное под освещение! Эх, граждане, с голоду это небось!

Несмотря на зеленые шкалики, мерцавшие в зелени, в театральной уборной электричества почему-то еще не было, и актер, черняненький, с волосатой грудью, мастерился под наружное освещение застегнуть на золотые запонки стоявшую лубом крахмальную грудь. Он гневно кричал в публику:

— Черт знает что — когда ж дадут электричество?

— Опоздать им, вишь, нежелательно, — пояснял лавочник, — на голых досках все бока здесь в театре обмять.

— Дачники не прежние, приглашать не тороваты, сами-то большинство полупролетариат.

— Вы по пьесе кто будете? Министр или князь? — жеманится дачница перед высоким носатым блондином.

— А вот угадайте?

— И меня угадайте.

И на скорую руку тотализатор. Ставят дачницы на актеров карамель «Иру» и конфету «Мишку» — наживают мальчишки.

Во дворе из-за князя, победившего крахмальную грудь, глянули воронова крыла парик, нос крючком, из-под носа черная как смоль борода. Борода сказала брюзгливо:

— Мы в сараях ночевать не согласны!

— Это сам... — зашептались в публике, — это сам.

— Опоздаешь, на аглицких на пружинах поспишь, — крикнул из гущи голос, — всю труппу Собакин с выпивкой приглашает.

— У Собакина в кармане вошь на аркане, в луже спит, самогоном налит, го-го, не доверяйте, просвещенные артисты.

Наконец расшипелась, заработала станция, всюду вспыхнуло. Открылись двери, и, заглушая визгом звонок, ринулась публика «стоячего» места. За ними публика выше и ниже полтинника.

— Вот они в ложе, глядите, — сказала Зоечка, — как иконостас разукрасились. Об нас шепчутся — Чушкова, Папкова и Краузе.

— Я бандит-шико, а вы моя жертва! Уж не войти ли мне в роль?

Появился пред началом антрепренер, он же суфлер, он же великий князь — героическое лицо пьесы, просил снисхождения за то, что гастролеры играть будут без декораций, без многих действующих лиц и опущенных за поздним часом нескольких действий. Он выражал надежду, что граждане найдут в себе достаточно собственного революционного воображения и заполнят сцену всей роскошью придворных и прочих буржуазных покоев.

На пустой сцене с красным клопиным диваном и симуляцией двух телефонов на дешевых стенах металась короткая полная «фрейлина», торжествуя по поводу собственных именин до тех пор, пока сторож театра не возник всей персоной без малейшего грима в открытых дверях.

— Здорово, товарищ Сигов, — узнали из публики.

Сигов, как давно надоевшую ему и вполне обычную вещь, возгласил:

— Их императорские величества.

Под руку вошли пренарядная, в дутом браслете, немецкая бонна с худым русявеньким денщиком, и началась по пьесе завязка последних дворцовых интриг.

Вот немка-бонна села на стул и взяла в руки «Прожектор», а денщик, рассказав ей о перемене погоды, двинулся было к выходу на прием во дворец. Но полная фрейлина, вспомнив, что она «бывшая фаворитка», стремглав ринулась ему на шею.

— При живой-то жене! — и кричала и сердилась за отсутствие иллюзии публика. Кое-кто урезонивал:

— Да жена ведь не видит, гляди, в «Прожектор» уперлась.

— В самый в приезд иностранных гостей!

— В посещение германских рабочих СССР. Кусай себе локти, кусай, небось наша взяла!

Ах, какой скандал! Нет, Зоечка больше не хочет смотреть, лучше одной сидеть и мечтать, чем подобный театр...

— Почему же именно одной, если вдвоем? — И пожатием ручки Диего: — Вы пошли навстречу моим пожеланиям, пройдемте сейчас в парк прямо к гроту.

В парке березовые стволы томно белели горностаевым мехом и в грациознейшем менуэте то взвивался, то мел по земле кружевной шлейф ветвей. Луна стояла над липами; кусты дрожали от ее перебегавшего света, клумбы пахли левкоями.

— Плети турецких бобов — как лианы, и священной пагодой индусов предстает нам Салтычихин грот, — продекламировал Диего и, раздвинув ветви, вошел с Зоечкой в пещеру.

Здесь было сухо, тепло и совершенно чудесно. Вороненой сталью подбегала вода к песочной тропке у самого грота, а отбежав, серебрилась луной.

Диего, не сказав подобающих слов, захотел попросту целоваться. Вот еще — говорить? За слова теперь деньги дают. Но оскорбленная Зоечка ему с сердцем:

— Сперва заслужите, нарвите купавок. — И слабые руки толкают: — Вон! Вон! — И кокетливо:

— Если нарвете из середины пруда, я вас поцелую. Купавок, и желтых и белых.

Отбиваясь от объятий Пети Ростаки, Зоечка вытолкнула его вон из грота, и сама за ним вслед на песочную дорожку. А на дорожке-то?..

На дорожке, облитые луной, сомкнутым строем, рука под руку стояли: Чушкова, Папкова и Краузе. Они были зелены и безмолвны и, казалось, лишились движенья, едва Петя Ростаки, качнувшись с разлету, остолбенел перед ними.

Мгновение, с неимоверной быстротой, чуть сопя, одна за другой Папкова, Чушкова и Краузе стали снимать с себя кольца, серьги, часы и совать ему в руки. Потом, все трое, не вскрикнув, без оглядки, они устремились в аллею, как тяжелые камни, которые метнул великан из пращи.

Петя Ростаки бегущим кинулся вслед. Остановился. Его сердце билось, разбежались мысли. Одни руки поняли... руки стали совать по карманам кольца, серьги, часы.

— Бандит! — вскрикнула Зоечка и упала во весь рост на песок.

И, как человек, за минуту ничем не отмеченный, вознесенный в вожди, себя ощущает вождем, — Петя Ростаки, едва прозвучало: «бандит», стал вести себя с твердым знанием дела, как ведет удачно ограбивший.

Свернул в темную чащу, ускорил шаг, однакоже не до бега. Сел не на полустанке, а на большой станции в поезд. Наутро в ломбарде на предъявителя заложил вещи, взял билет на юг, и только сидя на «мягком месте» и затягиваясь давно не куренной сигарой, он сказал сам себе:

— Хотел или нет, в конце концов я все-таки, значит, того... сделал «экс».

А Зоечка?

А с Зоечки снимали долго допрос, с каким именно незнакомцем была она в вечер ограбления на открытии клуба и в театре. Зоечка искренно плакала, что не знает, кто он.

Скоро Зоечку отпустили вследствие показания пострадавших Чушковой, Папковой и Краузе, что напавших на них было трое, преогромного роста, с противогазовыми масками на лице. Еще все три показали, что лишь необычайным самообладанием и отдачей всех золотых вещей им удалось спасти свою главную драгоценность — женскую честь, похищения которой вышеуказанные бандиты главным образом домогались.

СОВМЕСТИТЕЛЬ

— Ой, напьюсь я, Иван Пантелеич, напьюсь, да и в реку...

— Брось, Опенкин, интеллигентный подход. Оздоровишь свой состав, все дело иначе увидишь, — сказал с весом Иван Пантелеич. — Время-то нонче какое? Бывало: чему раз научился — как дятел клювом, всю жизнь и долби. А сейчас тебе выборов — всесоюзный масштаб. Правда, доходы не те, зато уваженья, Опенкин, прибавилось. Самому наркому я калош не подам, и хоть с кем говорю — он мне принципом в глаз, я ему принципом в глаз. Опять-таки заседанья жилтоварищества: пусть я нонче технический персонал, а не швейцар в ливрее, однако в порядке дня слово имею. Недалеко ходить — на вчерашнем собрании: хоть у нас и квалифицированные, говорю, граждане, а сознательного отношения к уборной нет! Раз я пошел — сидит. Чайку испил, двукратно пошел — сидит. Щадя, говорю, честь этого гражданина, фамилием его оглашать не желаю, однако предлагаю в протокол, что у нас есть в налич-

ности ненормальный подход к уборной. Посмеялись. А между всем прочим плакат у нас нонче вывешен, как у телефонного аппарата: «Не долее пяти минут!»

— Из уваженья шубы не сшить, — сказал тускло Опенкин. — Вам хорошо: и при нонешней жизни досталось на стуле сидеть, а вот моя действительность без частной торговли — истинно «квас без игры»! Блевать я хочу на такую жизнь. Словом, кооперация меня удушает, и вполне я отчаялся.

Опенкин сделал усилие вырваться из могучих тисков Ивана Пантелеича, взявшего его под руку, и свернуть в пивную, но Иван Пантелеич еще крепче прижал его к своей мощной фигуре и, торжествуя свое превосходство над ним, возгласил:

— Не в пивную, Опенкин, а как древнеримские греки — на ста-ди-он!

— Люди без штанов бегают, а мне смотреть? Да у нас таким вслед плюются...

— Провинция! Своего глазу нет — из чужого погляди, может, что и высмотришь... У меня, Опенкин, от всех этих войн и внезапностей мозоль на душе и глаз вполне стал бесчувственный. Самый справедливый стал глаз, что в европейском масштабе, что в происшествиях дня! Намедни вот случай вышел, ну прямо в твой огород... И, как довольно мне на совести и одного «загадочного трупа под Иверской», не успокоюсь, Опенкин, пока не погружу тебя в новую Ердань — стадион. На этом стадионе, брат, от всех союзов граждане бегают, а мне от наших пищников и тут уваженье и честь: досмотрите, Иван Пантелеич, чтобы там без фальши, не возьмут ли первенство наши именно члены?

— А чем именно труп этот вам, Иван Пантелеич, загадочный? — оживился Опенкин.

— Да, сказать, ничем именно: мужской труп, все на месте. Газетчикам заработать надо. Сила в том, что я этот труп лично знавал. — Оглянувшись на пешеходов, Иван Пантелеич понизил голос. — Ну и знавал: Рубакин, Пал Палыч. От мечтанья помер. На груди моей признанье сделал, слезами исшел. Эх, горе его! Дело-то было зимою — ни скачек, ни стадионов, чем бы думки его перебить. Ну и пошел он — по твоему вот конспекту — вином заливать. Месяца два протянул и кричит: «Возьму под Иверской-матушкой и помру, коли чуда со мной не свершит». Ну и помер — написали: «загадочный». Да мне эту загадку одним словом раскрыть, — а я молчу. В глубь предмета люблю входить, а войдя, вижу: мертвый человек — определенно со счетов долой! Знаю даже, что именно морфием отравился, но волокиты иметь не хочу.

— Отчего он убил себя, Иван Пантелеич?

— Единственно от мечты. Расскажу тебе это дело, Опенкин, чтобы сам ты подобное бросил. Предмет, заметь, безразличен. Тебе торговое — нежинский огурец, покойному — женское белое платье с лиловым бобом. Только один уговор: айда на трамвай и за город!

— Воля ваша, — сказал Опенкин, покорствуя железной деснице приятеля, тянувшего вдоль по бульварам, — везите куда хотите!

Сели. Помчался трамвай, грохоча больше, чем в городе, и понес без конца по предместьям. Иван Пантелеич склонил крупный свой нос и бритые синие щеки к Опенкину:

— Вот теперь и послушай, сколь вредно мечтанье. Горемычного Рубакина еще в военное прежнее время пронзила любовью дамочка в белом вышеуказанном платье с лиловым бобом. Романс ему спела ночью, а ему из краткосрочного отпуска наутро на войну. «Полюбите меня, — говорит Рубакин дамочке, — хоть на одну эту ночь. Умирать я иду, молодому существу моему будет увечье, так чтобы именно было что вспомянуть». Дамочка отказала. Взяла обида Рубакина, вынул левольвер и все дыхательные пути себе прострелил. Залечили. Женщину ту потерял он из виду в дни революции и в голодные, а сам, между прочим, хоть с кашлем, а саботажу не предался, поступил к нам в Нарпит. И вот прошлым летом на Лубянской площади, на ноль стриженный, торгует Рубакин ермолку. Глянул в Проломные ворота — и ермолку, говорит, из рук уронил. Идет от Проломных ворот то самое, военное белое платье с лиловым бобом. А над платьем голова как лунь седая. Однако всмотрелся — без сомнения, она. Подошел: «Это вы, говорит, и в том в самом платье? Интересуюсь знать, как это вы его сохранили?» А она в ответ: «Эта мануфактура ужасно прозрачная, в голодное время бесценная, даже брюквы за нее не давали, — вот и сохранилась. А мебель, говорит, я всю продала. И муж, говорит, у меня умер. И хоть голова, говорит, поседела, но теперь я есть интересная вдова. Комнаты же мне в чрезмерно населенном городе Москве нипочем не найти, и уплотняюсь я у знакомого в сундуке...» И в скором времени дала эта женщина Пал Палычу Рубакину понять, что на все окончательно готова за полкомнаты и горячее. «Иллюзия моя умерла, — сквозь слезы кричал он, — иллюзия!» Уж я уте-

шал: «Образумьтесь, говорю, ведь университет вы кончили, иллюзии же сплошной опиум лишь для народа». Нипочем. «Я, говорит, так воспитан, что без этих иллюзиев жить не могу. Последняя ставка, кричит, чуда испробую! Беру полную нагрузку морфия и под Иверскую». Вот намедни и взял.

— Привилегированный класс, — сказал Опенкин, — они всего были объевши. А вот за что именно торгового человека теснят? Скажем, специяльность моя — нежинский огурец, так ведь мне каждый бочоночек что родное дите. Теперь, значит, от собственной стойки куды мне? Куды?

— Сказано, Опенкин, на стадион! Новым крещеньем прочистишь состав и профессию сможешь взять. А посему оздоровляй себя по иному конспекту, чем Рубакин.

— Да я что, Иван Пантелеич, разве упираюсь? На стадион так на стадион! И то племянник Сенька уши им прогудел. Мы его по родству, если слышали, Сенька Штопор зовем; он тут бутылкам на фабрике пробки вставляет, так поверите ль, политграмоту, ровно «Верую», так на память и чешет. А насчет марокксках делов все башкою мотал: «Нашей, — орет, — санкции нет, чтобы рифов решать...» — «Пузырь, — говорю ему, — да Морока та где?» — «За окиянами». — «А ты небось на Солянке, на Вшивой горке живешь?» — «Хоть бы, грит, дяденька, я на самой крыше Большого театра, как новомодные беспризорные, жил, — за плечьми у меня профсоюзы стоят, за профсоюзами всесоветская европейская круговая порука. В скором времени мы некоторым державам и чихнуть не дадим!»

А мальчишечка, Иван Пантелеич, глянуть — хлюпик, червь болотный. «Да тебе, говорю, в здравотделе глисту выгоняли!» Ну, он тут и снахальничал с этим вот стадионом. «Хотя бы и выгоняли, — фырчит носом, — а под своим нумером я в стадионе хожу и фамилие мое уже раз было в газете, как прибежавшее не последним...»

— Стадион — оздоровительный коллектив! — И самодовольно заключил Иван Пантелеич: — А я, выходит, никто тебе иной, как новый крестный-оздоровитель. Ну, приехали, вылезай!

Чуть укачавшись в шатком, валком трамвае, вместе с публикой двинулись вдоль по желтому, крепко убитому грунту на обширный стадион. Вошли.

Со всех сторон прямыми кусками ряды восходящих скамеек. Посреди зеленый ковер газона расчерчен белыми змейками.

— У древнеримских греков скамьи шли по кругу, — уронил Иван Пантелеич, важный, уже взволнованный, как участники. — Из боковых дверей, Опенкин, в исторические времена спускали тигров и львов.

За местами зрителей вонзались густо в небо тонкие зеленые елочки, а над ними, как их толстые тетки-дозорщицы, осели кудрявые древние ели. Всыпались цветником девушки, полосатые, белые, голубые, голоногие, голорукие, с задорной мальчишеской стрижкой. У каждой на груди квадрат с большим черным номером.

— А не стыдно это им как в предбаннике? — зашептал покрасневший Опенкин. — Замуж, чай, после этого мало кто и возьмет?

Услыхали. Засмеялись кругом:

— Нонче сами выходят.

Но Иван Пантелеич не сдал.

— Один тут учитель раскрыл, что во времена исторические женщины бегали много голей, чего наш Советский Союз уже не одобрил.

Из лейки тонкой белой струйкой обновляют известью по серой широкой дороге для бега четыре концентрических круга. По кругам бегун в синих трусиках разминался, как медведь, налаживаясь для бега в тысячу метров.

— Эти там — чисто мякинные воробьи! — по-детски смеясь с захлебкой, указывал Опенкин на бегунов, надевших пиджаки поверх одних трусиков.

Из публики им задиры кричали: «Шантеклер, трясогузка!..» Они не слышали ничего и, будто бодаясь склоненными головами, махали в азарте руками, крича о том, кто, по их мнению, «дойдет» первым, кто «вырвется», кто «сойдет», не дойдя.

Под аплодисменты и восторженный гул влизались на стадион физкультурные коллективы уездов, потрясая самосшитыми «тюнями». Тут же, на траве, ловко, как в лодочки, в них влезали ногами, и смеялись, и прыгали, и, как зайцы, неслись по кругам.

Волненье, веселье. От голых тел, от солнца и воздуха, как от вина.

— Иван Пантелеич, ну и резво́ же тут! Совсем как паренечком в деревне: вот-вот все в речку кинемся — поплывем. Ей-бо, здоровительно...

— Ну то-то же, — снизошел Иван Пантелеич, ухмыльнулся. — А как все побегут, и ты, Опенкин, будто с ними — всю старинную свою кровь разобьешь.

У Ивана Пантелеича на стадионе знакомства:

— Нумеру двадцать первому, нумеру третьему, нумеру пятому почтенье!

Последний, голенастый, волосатый, как кентавр, задрав ногу, осматривал, крепки ли шипы.

— Ужели подкован? — с восхищением входил уже в дело Опенкин.

— Чтобы ноге не скользить, легкой атлетике по штату шесть шипов.

— Настенька, товарищ Настя! — зашумели трусики.

Но пронеслась, не ответила, вся голубая, невиданной величины бирюза. Кулачки к грудям, стройные ноги как крылья, кудерки — золотое руно.

— Бегчванство! — как мяч, ей вдогонку. — Бегчванка!

— Совсем кони, го-го... Иван Пантелеич, кони! Все у них жилки напружены.

Вдруг весь ряд присевших на скамью перед бегом завернул правую ногу на левую и, дринь-дринь, затеребил пальцами по икре. Смотрели в одну точку, бездумно, безмолвно, делали дело — массаж.

— Ишь, черти, дренькают, — обозвал их Опенкин, — ровно скрипки смычками. Оркестр, Иван Пантелеич, настоящий оркестр!

Солнце стояло над стадионом сильное, молодое, и казалось, это оно держит в высоте нежнейший голубой купол, не давая ему опасть.

С трибуны судей возвысился человек в яркой повязке и вострубил в рупор, кто именно бежит и какого союза. Все глаза кинулись к алым, синим и белым трусикам, как большие цветы брошенным чуть-чуть друг

перед другом на три концентрических беговых круга. Вызванные стали ждать окрика «начинать», упершись рукой в правое колено. Сзади них врос в землю некий плотный в пиджаке. Как памятник, он тяжко темнел среди разноцветных кусков. Памятник возвел вверх негибкой рукой красный флажок и, отрубая им книзу, выкрикнул: «Ать!» Бегуны взвились и кинулись.

Облегченно вздохнул вместе со всеми Опенкин и прошептал:

— Иван Пантелеич, спасибо вам! И без вина уж готов...

— Вот видишь, а упирался! Только две большие разницы, как говорится: от употребления вина, Опенкин, ты — образ свинский, а тут не иначе — древнегреческий.

Бегуны первый круг солидно бежали «бычками», на круге пятом разинули рты, как рыбы, взятые из глубин, и в последний свой круг, перед трибунами судей, уже секли воздух руками, как волны бешеный пароход, забросив голову и пуча глаза. Достигнув вожделенной ленты финиша, они с разбегу сорвали ее и, опутавшись ею, как тонкими змеями, замерли.

Предсказанье Ивана Пантелеича сбылось. Опенкин уже на втором кругу бежал мысленно с бегунами. Когда отмеченный им отставал, Опенкин лез вперед, на чьи-то головы, и, как на охоте легавую, горячил: бери, бери!

В пылу подсоединились к нему двое-трое каких-то и, как на бегах, открыли «тотошку». Опенкин ставил пивом и горькой то на голубого, то на полосатого.

Иван же Пантелеич, досматривая, чтобы судьям быть «без фальши», приперся к самым трибунам и с Опенкина поля зрения вскоре исчез.

«Тотошкины молодцы» отмечали в блокнот за Опенкиным то и это, изредка предъявляя листок для проверки. Опенкин кивал всем, не глядя, что верно. Он боялся неладно вздохнуть, наигрывая всеми жилками нужный темп, чтобы вместе с ребятами прыгнуть без «смазки».

Рабфаки, пищники, вузовцы прыгали с места сперва на высоту один метр, и вот уже на метр сорок...

Выкликали двух: один горделиво подходил вплотную к жерди, положенной на объявленной высоте, другой готовился. Прыгун взметывал нехотя руки, утаптывался, напрягал, как стрела, мускулы и вдруг всем телом: взлет — перелет.

— Есть! Нет!

С одними Опенкин легко перепархивал своей хрупкой фигурой, с другими, неудачными, сдернувшими носками жердь, жирно крякая, падал в песок.

— Ну и баня у вас... — говорил он, блаженствуя, ловкачам, отмечавшим его проигрыш, — чисто упарился!

Прыгуны отпрыгали. Перед глазами Опенкина вырос женский цветник. Девушки — голубые, пунцовые, полосатые, — жужжа, как веретена, ровнялись на прыжки в длину.

— В раю, чисто в раю... — И Опенкин поставил на бирюзовую уже не на запись, а наличностью светлый, как она, новый серебряный рубль.

Смотреть на женщин «тотошники» дали Опенкину бинокль. Женщины были все молодые, гибкие, ладные.

Ловко ставили ноги, слегка упершись руками в бока, как стрелы летели вперед, с силой врывались в песок. Прыжок тотчас мерили судьи.

— Ласточки, птички певчие... — И, вспомнив последнее, самое нежное, что знал, Опенкин прибавил: — Огурчики!

Бирюзовую в длине прыжка покрыла полосатая, и светлый рубль Опенкина потонул во тьме бездонных карманов новых приятелей.

Огорчиться он не поспел. Объявили женский пробег на шестьдесят метров. Когда сзади детский голосок, то взвиваясь, то падая, зазвенел в одобрение всех обгонявшему номеру:

— Ма-ма, моя ма-а-ма!, —

Опенкин, окончательно вне себя, заблеял вслед ему тенором:

— Ма-а-ма!

Еще девушки крутили рогатый мяч и красиво, широким размахом бросали его кто дальше. Метали диск, опять бегали...

Второй гильдии бывший купец Опенкин, науськиваемый ловкачами, разрешал все азартней свой сердечный восторг. Проиграв деньги, поставил брюки. Проиграв брюки — пиджак, сапоги. И странно: стоило ему сделать выбор, как состязавшийся начинал спадать и «сходил».

— Не иначе напущено, — конфузился за «смазку» Опенкин и с последней надеждой перебить чей-то злой глаз принялся ставить исподнее.

— В райском виде его закрепим, как мать родила... — подмигнули каким-то своим ловкачи, выводившие Опенкина под руки освежиться. Обойдя ограду,

они юркнули с ним за какие-то палисады и в укромном погребке предъявили свой счет.

На деньги попили вместе. Потом Опенкин смутно понял, что его с какими-то вредными ему мыслями подзадоривают раздеваться и «брать высоту». Еще выпили на счет хозяина, за что, проникшись к нему доверием, Опенкин уже сам захотел раздеваться и идти в бег на скорость, но смущало его, что нет у него трусиков. Трусики дал опять-таки хозяин, и немедленно Опенкин, оставив ему все свое на хранение, пустился в бег на шестьдесят метров, и на тысячу метров, и на все десять тысяч метров.

. . . .

Опенкин уже несся, запрокинув голову и ловя воздух, как это делали перед финишем бегуны. Он первым сорвал трепетавшую ленточку у трибуны судей, он уже всеми порами слышал восторженный рев скамей, — как возникший перед ним Иван Пантелеич вдруг грубейше свалил его с ног. Поливая ему холодной водой голову, заорал:

— Да прочухайся, окаянный!

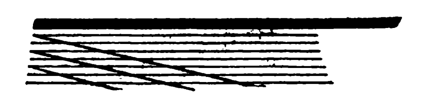
Опенкин открыл глаза и враз протрезвел. Он лежал в лесу в одних трусиках. Сквозь огромную ель жарило солнце. Он стал соображать, чье оно? Вчерашнее или сегодняшнее? Но сообразить сам не смог. Крупный нос и синие гневные щеки Ивана Пантелеича разъяснили.

— Всю ночь тебя, лешего, проискал, чтобы раньше милиции подобрать. Вставай, изображай заблудшего физкультурника. Хоть трамвай тебя бы забрал! Живо: раз! два!

— Раз, два... — пошатываясь, утверждался вертикально Опенкин, а Иван Пантелеич над ним горестно изрекал:

— Я из свинского вида хотел тебя в чистый, в древнегреческий проперетъ, а ты почто, бесштанная сволочь, совместителем вышел?

ПОД КУПОЛОМ



Вообще буржуа очень не глуп, но у него ум какой-то коротенький, как будто отрывками. У него ужасно много запасено готовых понятий, точно дров на зиму, и он серьезно намеревается прожить с ними хоть тысячу лет.

Достоевский

ПОД КУПОЛОМ

Плохо надеясь на получку из дома и желая на свои деньги отхватить побольше «заграницы». Прутиков поселился в Париже в отеле невысокой категории, но полном традиций Латинского квартала.

Здесь за каждой стеной (соседу было слышно чиханье соседа) гнездился студент «École du droit» [1] или студент-медик. Национальности были разнообразные; из цветов же преобладал черный, потому что этой весной негры были как-то чрезмерно ужалены честолюбием, заполучив все права вершить в Африке суд.

Мещанские надежды Прутикова на «самозабвение в культуре», с которыми, прямо сказать, он было поехал в Париж, почти с первых же дней уподобились соседнему фонтану «Пляс Медичи», силой струи превращенному в сизоватый невесомый дымок.

Негры, как черти, сидели день-деньской под каждым окном на плитах внутреннего двора, куда выходили дешевые комнаты, и на тарабарском французском языке

[1] Школы права *(франц.)*.

изучали вслух «о преступности и судимости». К неграм скоро подкинулись венгры, и в минуты отдыха, которые по случаю жары все учащались, обе нации пели уже на собственных языках.

Венгры где-то глубоко в горле давились галушкою и, казалось, через силу булькали странные слова, а негры, повинуясь иному, таинственному ритму своей родины, били с исступлением в очень древний, дедушкин какой-то тамтам.

Сбегались гарсоны отеля и, сбросив салфетки на цветущие рододендроны клумбы, потрясая своими пыльными брюками, пытались сплясать под эту музыку невероятнейший чарльстон. Обитательницы верхних этажей — Адлина, Клодина, Луиза — вывешивались из окон и, звякая браслетами, били такт. Бросив счета, выходил сам патрон, на днях уличенный в измене супругою и сконфуженный перед постоянными клиентами ее внезапным отъездом. Патрон подмигивал тамтаму и одобрял негров, видимо наслаждаясь всем этим адом, отвечавшим его собственному внутреннему состоянию.

Прутиков выбегал из отеля через «Пляс Эстрапад» (здесь между огромными павлониями[1] убит был Петлюра) к поражавшему его мысль Пантеону.

Но лишь в один первый раз вышло удачно: Пантеон торжественно и молча (час был не публичный, и гиды в кафе тянули аперитив) развернул свою колоннаду, чем вызвал сходство с далеким Исаакием, отбросившим наконец-то свои костыли. У Прутикова умилитель-

---

[1] Павлонии — большие деревья, которые растут именно на place Estrapade. *(Прим. автора.)*

но защекотало в горле при одной мысли о здесь погребенных знаменитейших прахах, от исторической надписи, данной Конвентом, дважды зачеркнутой реставрацией и Наполеоном и навеки проставленной наконец при великолепном торжестве погребения Виктора Гюго. Эта надпись на фронтоне гласила: «Великим людям — благодарная отчизна».

Но уже во второй раз, едва Прутиков расположился войти в колоннаду к Пантеону, тяжко храпя, один за другим подъехали отокары Кука — обезьянники, набитые до отказа большими очками, бедекерами, клетчатыми pull-over'ами.[1] Среди красных, зубастых, остановившихся в своем выражении лиц, как легкая пена, скользнувшая с распаренных в бане однообразных тел, там были в белых пиренейских костюмах молодые, нежнейшие «мисс». За ними тяжко топали немцы, ирландцы, отцы-миссионеры из далекой Канады, получившие благословение самого папы носить длинную бороду. Гид называл высоту — все вздымали бинокли вверх и вдруг опускали, чтобы удостовериться в дорическом стиле колонн, не имеющих базы. Потом снова, как по команде, все разом стрельнули стеклами вбок, на статую «Жан-Жака», и в сторону противоположную, где Корнель. Не задерживаясь нимало на прекрасной зелени малахита, которою время, как дорогой инкрустацией, покрыло кафтан одной статуи и плащ другой, содержимое отокаров спросило:

— Почему здесь Корнель? Ведь в пандан[2] Руссо обычно бывает Вольтер?

---

[1] Фуфайками *(англ.)*.

[2] В пандан — в дополнение (от франц. pendant).

На что гид недовольно воскликнул:

— Но мосье Вольтер должен стоять на своем «Пляс Вольтер»!

. Гид провел всех гуськом в черный зев Пантеона мимо нежно-матовых фресок Шаванна, мимо дышавших безумием движений в недвижности мрамора странно коротконогих героев Конвента — прямо в темные своды крипта. Здесь с рыдающим пафосом гид продекламировал:

— На вторую годовщину перемирия, тринадцатого ноября, на этом месте возложено было сердце Гамбетты! Оно приехало сюда, его республиканское сердце, вот в этой самой урне, в сопровождении колесницы Неизвестного солдата, которого нация, как известно целому миру, схоронила потом под Триумфальной аркою.

— Однако по размерам это едва ли могло быть удачно, — спросили в темноте голоса, — ведь урна мала — гроб был велик.

— Сердце Гамбетты, его республиканское сердце...

И хозяйственно голоса:

— А где же все прочее?

— Жорес, знаменитый трибун Жорес!

— Ну, он-то, надеемся, весь?

Но гид несся, гид спешил продать знаменитые прахи. Первая женщина, единственная женщина в Пантеоне, — мадам Бертело. За то, что она умерла вместе со своим знаменитейшим мужем, химиком, мосье Бертело!

Между четырьмя колоннами, едва гид возвестил знаменитое в мире эхо, некто лукавый спросил: «Кто искусил Адама?» — И тотчас рявкнуло из дальних гроб-

ниц генералов и политических деятелей, рождая раскатные, как гром, обертоны: «Дама... ама...»

Прутиков кинулся из мрачных подвалов наружу, сопровождаемый надменными взорами Мирабо и странным ярмарочным чудом святого Дени, несущего в руках собственную голову.

Улица полна была солнца. За несравненными по форме мелколиственными куполами дерев Люксембурга перламутровый, трепетный горизонт пронзала башня Эйфеля.

Прутиков хотел любоваться, но его окликнул, французя его русскую фамилию ударением, дальний приятель, некий мосье Юбер.

— Я был у вас в номере, — сказал он, — у меня для вас есть билет — редкая оказия иностранцу попасть в «Institut de France» для присутствия на выборах нового «бессмертного», Поля Валери, на место покойного Франса. У вас как раз хватит времени купить себе новый галстук. Я провожу вас к трамваю.

Прутиков рад был билету и, беспрекословно подчиняясь в своей внешней парижской жизни Юберу, пошел с ним по широкой Суффло. Башня Эйфеля тотчас приблизилась к Люксембургу. Прутиков сказал, указывая на нее Юберу:

— Сколько раз я сам, вслед за вашим Мопассаном, бывало, бранил ее, а вот сейчас каюсь: то ли она потемнела, вошла в тон города, а пустыри Пуасси и Отейля обстроились и перестали быть ей голым фоном, но, насколько старому Сите подходит его Нотр-Дам, настолько великолепна для Парижа бульварного эта своеобразная «прекрасная дама» индустрии — чудо Эйфеля.

— Когда стемнеет, вы назовете ее совсем по-другому, — засмеялся Юбер, — вы назовете ее не прекрасной, а продажной дамой: как все индивиды ее профессии, она практикует по ночам. На днях газеты возвестили, что на торгах за право рекламы на ней победил опять автомобильный король. И она, как имя своего рыцаря, еще лет десять подряд будет выбрасывать одну за другой его всем давно постылые буквы. Но вот ваш трамвай, и смотрите — не опаздывать в «Institut»!

В поисках подходящего галстука Прутиков попал в особое государство, полное такой суетни, что он вдруг одурел. Блеск стекол входной крутилки, жиганье ассансёров,[1] щебет дам, бас мужчин, непрерывность звонков, которыми продавщиц, как хороших коров, кто-то звал на обед. Продавщицы становились попарно на подвижную дорожку и, не переставая болтать, в то же время недвижные станом, как соляные столбы, уезжали вниз, чтобы есть своего кролика, запивая его неизбежным quart de vin.[2] Одновременно вздымался вверх на другой дорожке такой же болтливо-окаменелый транспорт уже отзавтракавших. В набитой кабинке ассансёра очередная дюжина пассажиров встряхивалась, как откидная лапша в решете, на каждой задержке под выкрик проводника: «Premier... second...»[3]

Вниз глянуть с седьмого — нестерпимо блескучий колодец. Позолота, каскады лент, сверканье шелков, зеркала, зеркала... Манекены с женскими платьями похожи на женщин, а женщины — оцепенелые от алч-

---

[1] Ассансёр — лифт (франц. ascenseur).
[2] Кружкой вина *(франц.)*.
[3] «Первый... второй...» *(франц.)*.

ности — на манекены. Продавщицы все в черном — миловидность и юность, кассирши — с надменностью.

Платя франки за галстук, Прутиков себя почувствовал виноватым. Он дал сто франков — кассирша строго спросила: «Мельче нет?», но тут же, не дождавшись ответа, тронула кнопку в какой-то трубе — бросила в отпавшую крышку франки и шелк. Франки уехали, вернулись монетой, сами позвонили, сами щелкнули, выпали.

Прутиков посмотрел на часы: в «Institut» еще было рано, он отошел в дальний угол, где было мало народу, в надежде узнать у приказчиков, как они здесь живут.

Два приказчика с наслаждением, не для-ради гипноза клиента или своего профита, а явно вовлеченные в профессиональное наслаждение здешних мест, вели пламенный спор: что эпатантней, мов-блё[1] или мов-руж?[2] Улучив минутную паузу, Прутиков деликатно спросил:

— Скажите, мосье, как велик здесь рабочий день?

Старший из споривших остро глянул на него, не ответил, но, повернувшись к молодому, сказал:

— Это русский, русские спрашивают, когда им взбредет в голову.

Молодой, похожий как две капли воды на Метерлинка, не слушая, продолжал:

— Мосье Шарль, мов-блё убивает клиентку, тогда как самые тусклые лица в мов-руж...

Прутиков сверху прошел всеми этажами вниз, не садясь в лифт. Под стеклянными потолками огромные

---

[1] Мов-блё — лиловато-синий (франц. mauve bleu).
[2] Мов-руж — лиловато-красный (франц. mauve rouge).

столы завалены были одеждой всех человеческих разновидностей и для всех жизненных положений: для рожениц, кормящих, беременных, для младенцев, подростков, стариков и мужчин, первопричастниц, подобных новобрачным, и паралитиков, которым удобны только халаты особого кроя.

Роскошно и бездушно, от интимности спальни с бесстыдными артиклями «гигиены» до регистрации в рамки приличия самой смерти (глубокий траур, полутраур, для матери, для жены, для знакомых близких и для малознакомых) — протекала перед глазами, с интимнейшими подробностями, вся жизнь человека без самого человека. Прутикову вдруг стало страшно и гадко смотреть, как покупатель, поглощенный алчностью до потери благообразия, нахватывал себе, торопясь и волнуясь, кучу разновидностей своих оболочек. И все стали чудиться — как в музее Гревен — восковые и живые — манекенами. Манекен-музыкантша для манекенов-слушателей играла одну за одной на новом рояле новые пьесы. Манекены-примерщицы снимали с роскошных «моделей» и на себя надевали платья, в которых безмолвно двигались перед ошеломленными от восторга «клиентками». Чуть подальше зеркальные потолки отражали белоснежные столы с «дежурным» блюдом, между которыми черные фраки гарсонов, как тени, скользили с «меню». По лестницам, «дорожкам» и лифтам без устали подымались, спускались. В стеклянных вертушках входа и выхода кружились до одури. Прутиков не поспел вовремя выскочить и, как мышь в мышеловке, забился в стеклянной клетке, возбуждая веселье дам. Наконец он выбрался и, быстро шагая по улицам, перебрался мостиком пешеходов через Сену,

мимо статуи Кондорсе, и стал во дворе в очередь. Перед западным амфитеатром был препорядочный хвост. Прутикову странно вспомнился Дом ученых, академический паек: отметил, что лица людей, преданных умственному труду, во всех странах похожи.

Даже узкая лестничка, удобная для пожара, куда наконец пропустили, была та самая, куда, бывало, продергивались один по одному, чтобы получить вожделенные «чехословацкие» башмаки.

Зажатый до удушья между обладателями красных ленточек Почетного легиона, Прутиков наконец внесен был толпой в амфитеатр.

Торжественное заседание уже началось. Внизу, за высоким и широким пюпитром, восседал, имея двух академиков по бокам, председатель. Все «бессмертные» были в тех парадных мундирах с богатым зеленым шитьем, насчет которых сами французы острят: «Ставший академиком тотчас покрывается мхом».

Над кафедрой с одной стороны сдержанно-неистовым движением выставлялся вперед Боссюет, с другой — навеки покорный слушатель всего, что ни будет здесь сказано, — застыл Фенелон. Под Боссюетом скамьи заняты были «бессмертными», на всех прочих сидели приглашенные: нарядные дамы, архаическая родня покойных «бессмертных» и просвещенные аббаты.

Поля Валери ввели в залу два его «крестных» — прозаик и поэт, до странности похожий своим лицом старой слоновой кости и всем своим видом патриция времен упадка на одного знаменитого русского поэта.

Кругом вполголоса шли разговоры. Кто-то торопился объяснить своей даме, что «Institut» основан еще Ришелье для охраны языка и латинской культуры,

кто-то передавал профессиональные сплетни относительно отдела «morale et politique»,[1] который установила революция, сократил Наполеон, в сороковых же годах восстановили в спешном порядке, для полного числа нагнав туда сплошную посредственность, которая с тех пор и выбирает одних себе подобных.

— Но почему, — спросил у своего соседа Юбера Прутиков, — если это все знают, почему не подымут на общем собрании вопроса о пересмотре?

— Помилуйте, кому ж это нужно? — вопросом ответил Юбер. — У вас, иностранцев, относительно нас неверная информация: мы народ совсем не общественный, больше того — мы все как овернцы. Я хорошо знаю эту страну: представьте, если на дороге лежит камень, который овернец с трудом уберет, чтобы проехать, то, проехав, он непременно потрудится еще столько же, чтобы положить его обратно на то же место. Да еще скажет в придачу: «Пусть другому не будет легче, чем мне!» И послушайте, очень нужно хлопотать о каких-нибудь там ботаниках или «ом де политик»,[2] о которых два француза не могут иметь общего мнения, если нашим величайшим не нашлось места «под куполом». Ни Флобер, ни Бальзак...

— Да на кой черт вам этот купол?

— Что вы, — испугался Юбер, — да ведь это же традиция! Без традиции нации нет. И весь прием должен быть по традиции: Валери будет хвалить и хулить своего предшественника, не называя его по имени, предсе-

---

[1] «Нравственности и политики» *(франц.)*.

[2] «О м д е п о л и т и к» — люди политики (франц. hommes de politique).

датель будет говорить Валери лестные вещи, уснащенные перцем. О, сумеют оба!

Поль Валери, несколько бледный, заслоненный толстоватым известным прозаиком, похож был на старого русского адмирала с немецкой фамилией, французы же его сравнивали с египетской фреской. Лицо у него было очень сложное по выражению, необыкновенно умное и с такой тонкой кожей, что на нем румянец волнения казался искусственным. Молодежь подчеркнуто торжествовала его появление «под куполом». Один — очень похожий зараз на дьявола и аббата — сказал:

— Наш «Institut», как осел, нагруженный бриллиантами, не знает сам, что везет, однако везет. Даже выходит, что помимо собственных вкусов он поддерживает латинский гений. Из них здесь, клянусь, никто Валери не читал. Впрочем, c'est plus chic [1] — избирать не читая!

Поль Валери говорил с изяществом. Делая экскурс в литературные настроения, имевшие влияние на его творчество, он вызывал мир идей, сейчас испепеленный. От категорий ясных, когда дарования еще объединялись по наивным законам контрастов — натуралисты вокруг Золя, а парнасцы вокруг Леконт де Лиля, — и до того смутного времени чрезвычайных исканий, которое всему поставило заново все вопросы и если само не сумело на них дать ответ, то наградило своих современников совершенной раскрытостью к еще неслыханным восприятиям краски, звука и слова. Крепость мысли, удача найденных слов, логическая напряженность Валери рождали как бы математические формулы

---

[1] В этом больше шика *(франц.)*.

школ и слав, сейчас погребенных. Прекрасным ораторским приемом, без единого жеста, тонкими модуляциями голоса, сознательными звуковыми соотношениями Валери оживил весь пафос прошедших десятилетий. С великим искусством, спасая из бури многоголосья экспериментализм, он противопоставил его романтизму. Волю к превосходному сознательному, а не «вдохновенному», приходящему откуда-то извне...

— Круто приходится старикам, — смеялись тихонько кругом, — они все еще хнычут над Гюго!

Анатоля Франса, действительно, не называя по имени, Валери ловко ввел в речь, и тотчас, сквозь придворную его вежливость перед ареопагом, его отличившим, прозмеилась ирония. Прутиков видел по вспыхнувшим лицам почитателей Валери, иссиня-бритым и как-то слишком помятым, что эту вот иронию, полную тончайшего яда, все они знали, все ее ждали, как когда-то иные гурманы ждали в театре известных жестов и «мо» Коклена или трагического рева Мунэ-Сюлли.

Тем сильнее было сходство с театром, что француз Юбер, захлебываясь, шептал в ухо Прутикову:

— Завтра в отчетах эта речь будет слово в слово, но кто между строк сумеет выбрать ту остроту, что сейчас здесь дана тоном, бровью, всей тончайшей манерой? Quel maître![1]

Почтив почтительно и жестоко всю деятельность Франса, Валери восхищался «молниеносной» славой, которой этот «хитрый» гений обгонял своих современников — Толстого, Ибсена, Золя, всего лишь порхая над обломками того здания социального строя и быта, ко-

---

[1] Какой мастер! *(франц.)*

торое разрушали всей силой своих дарований — не он, а они.

В заключение поминок предшественника Валери изящным — единственным — жестом, чуть двинув правой рукой, как бы бросил сверху вниз последнюю тяжесть, после которой уже не всплыть, и сказал:

— Этот человек — по своим качествам присяжного скептика — не мог, подобно людям веры, ни в чем быть пророком. Он новых поэтов, самозабвенно работавших над формой, называл *готтентотами*, он утверждал, что прекрасное рождают легко... о, это был прескверный совет...

И, коварно выждав паузу, отчеканил:

— Именно этот совет и породил готтентотов!

Были в восторге и те — большинство, никогда Валери не читавшие, и кто прочел, ничего в нем не поняв. «Мо» было найдено, «мо» *было подано...* театр рукоплескал.

— Да ведь это современная речь Антония над трупом Цезаря! — восхитился было Юбер в ухо Прутикову, но тот рассердился:

— Не вы ли хвалили мне Франса!

— О, милый чудак, но ведь это же традиция! Ваши снега убили в вас легкость, вы цените только пудовые вещи!

— Внимание, — зашуршали кругом, — Валери садится на лучшего из своих коней...

— Как бы ему не споткнуться: классицизм давно введен в стойло к донкихотову Россинанту. Провалится с мертвецом!

Прутикова поразили сила и чувство, с которыми Валери восхвалял условности классицизма; оказывалось,

что именно они-то его и пленяли. Он даже с легким сладострастием, как гурман — приправы, перечислял, наслаждаясь, какими жестокими средствами достигнут был порядок в стихии и хаосе слова: естественность движения муз под строгим контролем, на поэта наброшены цепи. Поэту отведен особый словарь, поэт опутан дикими запретами.

Но вот чудеса: при подчинении всем правилам искусственности, бессмысленной и условной, — рождены шедевры неслыханной силы, жизни, точности. Те шедевры французского языка, перед которыми даже тот, кто не способен их оценить, преклоняется...

Шумные, уже патриотические аплодисменты. Председатель встал. Тоже прекрасно декламируя, но все же «актер на вторые роли», он признался во всеуслышание из-под ног монументального Боссюета, что с трудом понимает даже самые легкие и, так сказать, «понятные» вещи Валери и находит, что «Institut», выбрав его своим членом на место кристального ясностью Франса, только доказал, что он «бездна противоречий», что́ в данном случае, впрочем, он, председатель, приветствует.

Поль Валери пил воду. Поэт, похожий на знаменитого русского поэта, закрыл глаза и скучал. Другой, прозаик, грузно подремывал.

— Интересного больше не предвидится ничего, — сказал Прутикову Юбер, — первыми выйдем, до толчеи.

Раздражая обладателей Почетного легиона, они по лестнице, приспособленной для пожаров, протиснулись вон и вышли на набережную. Мимо злой пиковой дамы — выразительного монумента Вольтеру, чью память столь ядовито закрепил над Сеной Гудон, — они

вошли отобедать в небольшой, чисто французский ресторан.

К своему завсегдатаю Юберу подлетел гарсон, толстый, веселый, с прической «а ля Капуль», своими завитками закрывавшей ему лысину. Гарсон перечислил удачные получки сегодняшней кухни: «лангустов, пля дю жур» [1] и все «славы дома», которыми в Париже хвалится каждый себя уважающий ресторан, даже до того, что метрдотель фотографируется, держа в руках им созданное «пля». Фотографии висят тут же над столиками.

— Ну что? — спросил Прутикова француз с тем выражением национальной гордости и верой в несомненность впечатления, с какой здесь русский спрашивает француза только про балет Дягилева. — Как понравилось вам «под куполом»?

— Прекрасно разыграно, — сказал Прутиков, — даже лучше, чем в «Комедии», где у вас сейчас перехватывают, — а традиций хоть отбавляй. Да, сюда стоило прийти, чтобы почувствовать «дух» французов. И представьте, мне понятен вдруг стал анекдот с одним вашим. Он недавно у нас побывал, и где русского нынче ни встретит, глянет сквозь очки классифицирующим кротким оком и обрадует: «Русские имеют обычай пить чай с блюдечка». Но сейчас я догадался: он путешествовал — и по огромной стране, после огромных событий — с этой вашей жаждой «традиций» и «мелких характерных черт».

— Мы люди границы и меры, что вы хотите, — сказал Юбер.

---

[1] Пля дю жур — дневное блюдо (франц. plat du jour).

— Вы люди «под куполом» — вот как этот сыр, — указал Прутиков на огромную стеклянную сферу, которую приподнял грациозно метрдотель, подкатив к ним на колесиках все парижское разнообразие сыров.

— Ваше раздражение — совершенное детство, — несколько высокомерно сказал Юбер. И, побарабанив пальцами по блестящему шару на высокой ноге, необходимой принадлежности даже плохоньких кафе, где под раздвижной половиной хранится пыльная тряпка, многозначительно прибавил: — Однако и люди, как вещи, таким образом сохраняются лучше. Только не будемте faire politique,[1] особенно после обеда...

— Не бойтесь, я на «тему дня», я о тех, что не попали «под купол». Вот задумайтесь хоть немного: как только у вас кто-нибудь выскочит из границы и меры, его тотчас подхватим — мы. Флобера, Бодлера, да и мало ль кого? Осужденные у вас — расцветают у нас. Гогеном, объявленным вашим жюри сумасшедшим, приехав в Москву, вы можете любоваться у нас, в галерее, собранной русским купцом, как ваш наблюдатель наверно бы отметил: «в светлых промежутках между водкой и чаепитием с блюдечка»! Да недалеко ходить, хоть сегодня: из выбиравших в «бессмертные» мало кто Валери прочитал, а у нас кружок «молодых» изучает его стихосложение. Правда, французы сейчас научились, как пароль франко-русского аллианса, произносить с дрожью в голосе: «Dostojevski!» — но коекто, познакомившись, уж признался, что у вас есть некий «блок» против «русских гениев, вредоносных гению латинскому». Кое же кто в простоте произнес: а

[1] Заниматься политикой *(франц.)*.

на кой черт мне гении ваши и наши, когда я *сам* хочу сделать «карьеру»!

— Ловко сказано, bien dit, — рассмеялся Юбер, — выпьем бургундского и идем. Уже стемнело.

Выпили. Вышли. Стемнело. Прутиков, взяв Юбера под руку, сказал понажимистей:

— Юбер, ведь не птицы же вы в самом деле? Неужто вам все-таки и не стыдно, что мы, ну, по-вашему *варвары,* вас обгоняем и глубиной и любознательностью?

— О, вы сами дали ответ на поставленный вами вопрос! И поздравляю вас — такой прекрасный ответ мог бы стоять у Тацита. Но я просто восхищен услыхать за день столько удачнейших «мо»...

Юбер залился смехом, потом, скандируя слог и отрубая рукой, произнес:

— Варвары любознательны. Нет, лучше так: любознательность — качество варваров.

— Да как же вы, такие... как свои революции делали?

— О, это особая статья — было и прошло.

— А сейчас — пребывать вам «под куполом»?

— Чего ж вы хотите? Вот и философ Бергсон определил всю цивилизацию как *«чувство меры».*

Юбер поднял руку и повертел над головой:

— Даже небо только в теории — безграничность, на самом же деле оно опирается ненавистным вам «куполом» на здания частные и правительственные. И будем искренни: всем нам спокойней предел. Однако прощайте.

— Постойте, Юбер, вот вам за «варваров» посильный реванш и последнее «мо»: почему бы на всех

ваших углах вместо троицы — эгалите, либерте, фратерните — наконец честным образом вам не писать: граница, мера и купол?

— Нет, mon cher, последнее «мо» все-таки будет за мной. Весь секрет в том, что наша старая республиканская троица — тоже «традиция».

Юбер, смеясь, прыгнул в такси, а Прутиков побрел к своему Пантеону.

У Люксембурга он вспомнил слова Юбера насчет башни Эйфеля и обернулся посмотреть, как она «практикует» ночью. По башне пробегало яркое пламя. Языки плеснулись вверх, стремглав ринулись вниз, и вдруг, как в древности на стене последнего пира обреченного царства, проступили ослепительные буквы на черном небе Парижа:

C-I-T-R-O-Ë-N

КУКЛЫ ПАРИЖА

В тот день Париж украсили ярко-желтые афиши с черными буквами. Афиши были издали как подсолнечники, полные спелых семечек. Подойти ближе — объявление о чрезвычайном «гала». Семь оркестров, знаменитости: чернокожая Жозефина, Сашá Гитри, чарльстоны и президент. Перечисляли вслух аттракционы, восклицали неизбежное:

— Epatant! [1]

Чрезвычайное «гала» было в пользу жертв войны, получивших ранение в лицо. Несчастные прозвали себя сами не переводимым ни на какой язык именем: «gueules cassées», предпочитая, из старой французской бравуры, чтобы не плакать, — смеяться.

Вывешенный рядом с афишей плакат с фотографиями главных «типов» носил кинематографический заголовок: «Маски ужаса».

При одном взгляде на этот плакат ясно было, что подобные остатки людей надо убрать с глаз долой, надо

[1] Потрясающе! *(франц.)*

держать их где-то за городом, как держат прокаженных, безумных и прочих, позорящих благопристойную жизнь.

— От подобных ранений, бывало, один конец — смерть!

— Сейчас они — торжество медицины. Врачам лестно сохранить жизнь именно таким.

— Удружили им, нечего сказать! Да они по кодексу Наполеона даже не числятся в инвалидах. Ведь если им полагалось всегда умирать, натурально, что им категории не создали. Для официального инвалида надо быть безногим, безруким, паралитиком...

— Ну нет, мосье, прошу извинить... Мой ужасней, чем ваш, вот он — самый крайний! Все согласятся, если сравнят. У него удалены обе челюсти, отчего все лицо как жидкое тесто, увязанное в тонкий платок, и глядите-ка: нос, щеки, рот — все сплылось в кучу. И читайте: этот ужас — результат сорока операций.

— Слыхать, жены побросали несчастных?

— А вы бы сами, признайтесь, мадам, что бы вы сделали на их месте?

— О, я не в силах представить...

— Однако, хоть дорого, мы берем билеты. Хороша цена, хороши и аттракционы. Одна черная Жозефина...

— Черт возьми, Париж выпляшет этим gueules cassées пресытое полугодие.

— Вы не находите, что такой способ помощи ближнему не лишен даже грации?

Лобову хотелось крикнуть, что способ полон неслыханной пошлости, что он — выражение одичания внутреннего, которое страшней одичания внешнего, потому что безнадежней, — но он ничего этого не сказал, он

только, выбравшись из толпы, пошел скорее обычного по бульварам. И для чего-то Лобов стал пытаться найти словам «gueules cassées» русский перевод: «разбитые пасти, разбитые рыла». Но по-русски отдавало трактирным дебошем и не выходило горькой иронии французского слова.

Еще вспомнил Лобов, что это выражение услыхал он впервые в Москве, от старой Барбье, бывшей гувернантки, прижившейся навеки в одной знакомой семье.

Старуха любила хвастнуть культурой своей родины, где горит вечное пламя в честь Неизвестного солдата, где сын ее, полковник Жан-Мари, настолько взыскан ласками государства, что получает не только полное содержание, но даже гостинец — любимый табак.

Вот этот полковник Жан-Мари, раненный тяжко в лицо, и принадлежал к категории gueules cassées. И самое главное вспомнил Лобов — что он обещал старушке Барбье разыскать в Париже дочь этого полковника, а ее внучку — Луизу Барбье.

Молчание Луизы убивало бабушку:

— Быть может, она уже замужем и, нежная сложеньем, боится родов? Или вдруг стала богатой и живет на Ривьере? Ну, тогда справедливо стыдится писать. В нашем роду все женщины доброго поведения.

Дальше этих догадок старушка Барбье ничего не умела придумать, давая Лобову для будущих детей Луизы старинный медальон, где она изображена была еще девочкой с круглым лицом и большими глазами. Медальон и сейчас был тут вот, в бумажнике. Лобов вынул его, рассмотрел.

«У девушки этой глаза голубые», — решил он и вдруг, не откладывая в долгий ящик, вздумал сейчас

же наведаться на последнее место службы Луизы, чтобы узнать ее адрес.

Фабрика кукол, где внучка Барбье могла еще быть, находилась в соседнем квартале. Консьержка указала Лобову на последний этаж старинного дома. Там красным на синем сияло: «Femmosa». Консьержка добавила с гордостью:

— Femmosa — так зовется состав натурального женского тела, открытый хозяином фабрики. В этом доме делают куклы на оба полушария.

Лобов поднялся по лестнице, пропустил направо надпись: «Приемная», пронесся в конец коридора, вошел в обширное помещение и остолбенел: пред ним была мертвецкая лилипутов.

На больших продольных столах лежали горы крохотных женских тел настоящего человечьего цвета. Тысячи глаз: голубых, черных, с блестящим бликом зрачка — гипнотизировали однообразно-пристальным взглядом. Особенно и жутко смотрели глаза с полок, где просыхали отдельные головы больших кукол.

Из-за отворенной двери шел гневный храп, как будто там плевались верблюды. Это хлюпал в огромном котле «секрет» патрона — знаменитая Femmosa, сплав для «натурального женского тела».

Девушка-манекен, высокая, под последнюю парикмахерскую моду, с бровями в нитку, чуть прикусив губы «руж вампир»,[1] — как машина, размеренно, быстро, без устали наводила куклам зрачки. Наведя, передавала соседке, которая двумя взмахами кисти поро-

---

[1] «Руж вампир» — кроваво-красный (франц. rouge vampire).

ждала румянец. Третьи руки делали губы; один раз сердечком, другой — луком амура.

Подальше тела женщин-лилипутов вынимали из глины, купали, клали для просушки в мохнатую простыню.

Если бы не ужасный приторный запах «натурального женского тела», не чавканье теста в котле, можно бы было подумать: здесь тихие умалишенные предаются вечной игре.

— Тут служила Луиза Барбье? — осмелел Лобов и двинулся ближе. — Я к ней от бабушки из Москвы.

Пальцы у той, что наводила зрачки, чуть дрогнули, и черная краска залила куклин блик; мертвый глаз потускнел и стал вдруг как печальный живой. Девушка, не глядя, сказала:

— Луиза Барбье — это я. Прошу вас подождать в приемной, я окончу сейчас и приду.

Мальчик провел Лобова в ту приемную, где ему, случайному посетителю, было бы сразу законнее пребывать, и сказал:

— Тут, мосье, зала наших клиентов. Если угодно, мосье, можно осмотреть выставку «серий».

Мальчик любезнейшим жестом указал на обегавшие комнату полки и ушел. На полках сидели уже готовые для продажи нарядные «серии». На золотых диванчиках Луи XV маркизы обнимались с маркизами, негритянки выбрыкивали черными ножками из пурпурного бархата, голые куклы «Нана», в перчатках и туфельках, развратно улыбались из-под шляп-абажуров, над которыми крупной надписью было: «Подарки холостякам».

Здесь были модели заказов обеих Америк, Сиднея и Англии. Под этикеткой «провинция» усмехались куклы-хозяйки с корзинами, плакал черно-белый Пьеро.

Здесь были куклы-фетиши: для такси, для гостиных, альковов и спорта. Куклы-сувениры: заказы больших ресторанов «Риц» и «Крийон», которые раздавались на память гостям, оплатившим тысячей франков свой ужин.

Из-за всех этих тюлей и блесток пожаром горели страховидные «poupée bolchevik», в ярко-красной черкеске, с огромным топором и штыком, с отметкой на алой папахе из небывалых в природе баранов — «chapeau russe — Astrakhan».[1] Кукол-большевиков, по непонятным причинам, себе выписал город Гренобль.

Лобов так увлекся, что не заметил, как вошла Луиза. В глазах ее были слезы, губы «руж вампир» дергались, когда она сказала:

— Если моей бабушке очень плохо жить, лучше не говорите — я ей ничем не в силах помочь.

Лобов поспешил расхвалить жизнь старой Барбье на покое у добрых знакомых. Тогда Луиза просияла от радости, и ее лицо-манекен вдруг стало так похоже на то детское, в медальоне, что ей это Лобов невольно сказал, отдавая бабушкин подарок. И обоим показалось, что они уже давно знакомы.

Над медальоном Луиза всплакнула, потом засыпала вопросами Лобова, то и дело прерывая себя воспоминаниями детства:

— ...с бабушкой Барбье, бывало, в Люксембурге пускали в бассейне корабль. Как бабушка была рада,

---

[1] «Русская шапка — каракуль» *(франц.)*.

если Луизин шел первым. Бывало, там же всей семьей играли в колечко. Отец тогда был красивый, веселый. О, эти простые вещи не забываются... Скажите бабушке, те стулья в саду, что тогда были даром, сейчас, после войны, как в церкви, — стул восемь су.

— А больше вам разве нечего передать вашей бабушке? Она, знаете, мечтает о правнуке. — Сказал и осекся Лобов — так вспыхнула Луиза. И злобно:

— В Париже детей не бывает.

— Если у вас вечер свободен, — сказал почтительно Лобов, — давайте пообедаем, и вы покажете мне Париж.

— Обедать хорошо па пляс д'Опера, а пройтись после работы приятно пешком.

У Луизы опять лицо-манекен, брови ниточкой.

Они молча вышли, пройдя длинный бульвар, к историческому храму с громким именем. Двери были широко открыты. Темно-синие монахини, как легкими цаплями, чуть звякая четками, едва войдя, поглощались черною глубиной. Совсем вдали снопами пылали свечи, и драгоценным камнем горело за ним витро древней готики. Прекрасно играл орган: звуки аккордами, как по лестнице, ринулись в купол, упали и снова, чуть слышные, родились в черной бездне. Вдруг звуки окрепли и выросли в страстный, грозный, потрясающий вопль. Лобов хотел войти, Луиза резко качнула головой, пронеслась дальше, сказала:

— Я больше туда не могу заходить. Всю войну я туда бегала, утро и вечер, пока не вернулся мой отец. Нечего сказать, вымолила...

На ходу она остановилась и повернула к Лобову свое ярко освещенное каменное лицо.

Он изумился еще раз бровям: не нарисованным, не подбритым, а как-то непостижимо убранным, волосок к волоску, в ниточку.

— Мой отец — знаете, как он зовет себя? Футбольный мяч! У него навсегда забинтовано все лицо, навсегда! Ах, вы недоумеваете насчет моих бровей? Да, они не выбриты, а выщипаны. У парикмахера пятнадцать франков сеанс. А полностью «сделать лицо с головой» стоит тридцать франков. И это каждую неделю. Конкуренция, знаете, слишком велика! Во всякой работе предпочитают не провинциалок, а подтянутых женщин Парижа. Однако пойдемте скорей, мне уж не терпится в Батиньоль. Когда тебя хорошо вытрясут, словно мешок, аттракционы и всякий гам необходимы, как аперитив, после нашей дурацкой работы. Вот брассери [1] — выпьемте!

С вечерними огнями на площади возник новый мир. Такси с закрытым блестящим верхом, еще опасаясь дождя, который только что шел и грозил пойти снова, плыли сплошным потоком, отсвечивая полированной черной крышей синие огни магазинов и мигающий глаз метро. Ажаны вздымали белую палочку — такси застывали, превращая площадь в стоячее море, играющее переливами нефти. Опускал ажан палочку — такси рычали, срывались, неслись...

На площади Вандом было несколько тише. От огней великолепного отеля «Риц» серый асфальт пред Вандомской колонной блестел, как вода. Ему в ответ, переливаясь под солнцем росой, дрожали бриллианты в витринах зеркальных окон.

---

[1] Брассери — пивная (франц. brasserie).

В глубине зацветали сады искусственных цветов, убивая цветы живые тем, что повторяли их с большей яркостью и величиной.

Маленький Наполеон, в венке и плаще, сливался с чернотой, отчего знаменитый его столб не возносился вверх, а, наоборот, падал стремглав вниз и вонзался в гранит.

— Однако давно же я здесь не была, — сказала Луиза, — последний раз я заходила сюда к нашей старшей рисовальщице Клод. Вот кому повезло! Она, как и я, наводила куклам зрачки, когда явился, как в сказке, тот, из Америки, с огромным заказом. Увидал Клод, влюбился и сделал ей situation. Сейчас в Нью-Йорке у нее своя машина и свой негр. Не правда ли, все в жизни только удача? Отец мой говорит про калек из «Дома инвалидов»: «Вот это удачники, у них отхвачены не носы, а ноги». И вы хотите, чтобы я про отца написала бабушке? Какую же правду? О том, что безликие грызут локти от зависти к безногим или что им скоро негде будет склонить голову, потому что частные средства иссякли, а государство не включает их в категорию. И, я слыхала, острят: «С такими ранениями прежде были скромней, прежде умирали, а этих, видите ли, оперируют». У отца пять-де-сят крупных, и предстоит еще и еще...

Лобов хотел сказать было Луизе про чрезвычайное «гала» в пользу gueules cassées, так как, очевидно, она не поспела еще увидать плакаты и афиши, но у него не хватило духу. И как было сказать, разве как тот голос в толпе: «Вашему отцу Париж выпляшет сытое полугодие!»

Лобов, напротив того, стал малодушно стараться, чтобы Луиза, пока она идет с ним рядом, не увидала бы ярко-желтой афиши, как подсолнечник, полный спелых семян, усаженной черными тесными буквами. И Луиза, взволнованная воспоминаниями детства, судьбою отца, не глядела по сторонам, а неслась на высоких каблуках к пляс д'Опера, чтобы оттуда скорее ехать на ярмарку в Батиньоль.

Но на площадь они протискаться не смогли. Движение стало. Люди стояли вплотную не только на тротуарах, на лестнице Оперы, но плечом к плечу на всей площади. Оцепенелые, головы вверх, они ждали известий о прилете американского летчика.

Над крышами, на беззвездном черном небе, как вагонетки бесконечного поезда, цепляясь одна за другую, огненные буквы выводили то экстренные известия, то рекламы.

— Что это? Быть не может! О, подлость!

Луиза схватила Лобова за рукав, и, вытянувшись на цыпочки, бледная от гнева и боли, она повторяла слово за словом текст той самой афиши «гала», которую недавно в толпе читал Лобов.

Из-за большого отеля, обвивая башенку соседнего дома, всех выше над городом, огоньки поезда оповестили: «Au profit[1] des gueules cassées!» По мере появления аттракционов эта толпа, как и та, утром, — рукоплескала и чернокожей Жозефине, и Саша́ Гитри, и президенту. В заключение сообщалось, где именно можно за два франка иметь «главные типы» «масок ужаса».

---

[1] В пользу *(франц.)*.

В толпе кто-то сказал:

— Главные типы масок ужаса, должно быть, превеселая книжка, — пойти купить!

Луиза крикнула Лобову:

— И я хочу превеселую книжку.

Лобов, посылая к черту Париж, как виноватый пошел за Луизой. В магазине было полно. Книжки жадно расхватывали.

Под отчетливыми фотографиями нечеловеческих лиц стояло четверостишие, которое приказчики, перед тем как завернуть в бумагу, читали вслух, с подъемом ложноклассических чувств:

«Что для нас все страданья и наши разбитые рыла — если они хоть немного ускорили нашу победу...»

— А вот это зовется теперь — «мой отец», — указала Луиза на фотографию, где изображен был мундир с орденами. Над мундиром торчала вроде как голова сыра, сплошь в белых, крест-накрест, бинтах. Присмотревшись, Лобов увидал не рот — щель для принятия пищи, и глубоко в бинтах один затаившийся глаз. Единственный, этот глаз сиял умом, гневом и болью. Глаз выдавал живого человека.

— Хороший тип gueules cassées, — похвалил его любезно приказчик. Луиза резко повернулась и бросилась к выходу. Лобов ее еле нагнал.

— Зачем вы за мной? — яростно обернулась она. — Ведь не стану же я вас в самом деле знакомить с кабаками? Наймите себе ночного гида...

Лобов остановил такси.

— Я довезу вас домой.

Ехали молча. Вышли. Смущенно Лобов попросил позволения еще раз зайти...

— Незачем вам заходить, — сказала очень тихо Луиза, — да и моей бабушке вам все будет труднее солгать. А солгать надо. Ведь не рассказать же старухе, что ее сын, красавец и умница, которым она так гордилась, — сейчас футбольный мяч, который швыряют ногами.

Голос Луизы окреп, стал тверд и жесток. Лобов вспомнил орган и как звуки, едва им рожденные, выросли вдруг в грозный, потрясающий вопль.

Лобов смутился. Глянул мельком Луизе в лицо и увидал: лицо было страшно. Это было лицо куклы, вдохновленное великим человеческим гневом.

— Разве это не топтать, не швырять людей ногами, спрашиваю я вас, — еще повторила Луиза, — пойти выплясывать в пользу предела такой скорби на каком-то подлом «гала»? Выдохлись все вы — мужчины, да, выдохлись! Трусы, болтуны, нет, не вам устроить лучшую жизнь. А женщины только начали понимать... но дайте срок, дайте! Мы-то болтать уж не станем — мы сделаем. Прощайте, больше вам незачем приходить.

ПАРИЖ С ПТИЧЬЕГО «ДУАЗО»

I

Под триумфальной аркой могила Неизвестного солдата. Мимо нее каждый день куда-нибудь да пройдешь. А не пройдешь — из витрин, с тысячи открыток, она сама кинется на тебя, угнездится в мозгу и далеко во все стороны раскинет двенадцать лучей своей огромной звезды.

Безнадежно прямы, бегут в бесконечность эти улицы-бульвары, рожденные под триумфальной аркой от язычков вечного пламени над мраморной плитой:

Здесь лежит
неизвестный французский солдат,
погибший за родину

Эта могила для современного Парижа той же принудительной силы и навязчивости представления, как для Мопассана была не облагороженная временем, свежеиспеченная башня Эйфеля, от которой, как известно, он в ужасе убежал.

«Неизвестному солдату» кто-нибудь всегда возлагает цветы, к нему шествуют парады, к нему под двойной

цепью подобранных в рост ажанов, защиты от пуль анархистов, мчат на прекрасной машине египетского Фуада. И многие сотни французских публичных речей, как лучи вот этой звезды, бегущие от язычков вечного пламени в бесконечность, начинаются со слезой в голосе: Le tombeau du Soldat inconnu...[1]

Приехала целая американская делегация. Представители штатов. Некий весельчак из Коннектикута, славного откормленными гусями, провел перед «томбо» (чем богат, тем и рад) на цепочке огромного гуся. Гусь, обученный то ли местным Дуровым, то ли от собственных чувств, выбрав паузу между грохотом барабанов и трубами, загоготал во всю гусиную мощь.

Париж пришел в дикий восторг. Гуся славили, гуся печатали, «американского гуся» ели с яблоками и пустили фильмом в кино. Даже самые умеренные республиканцы, даже почитатели «Action française» с облегчением вздохнули:

— Enfin...[2]

Но ведь вы патриоты?

Но мы прежде всего смешливые люди. Без улыбки под аркой было слишком торжественно. Гусь прибавил улыбку, гусь поднял стиль.

Стиль — это все.

На знаменитом балу «интернов» — молодых врачей-практикантов в госпитале — ежегодно даются неописуемые инсценировки, их ритуал хранит свято молва. «Конец целомудрия и торжество Венеры!» Грим представителей и жертв этого довольно языческого культа

---

[1] Могила Неизвестного солдата... *(франц.)*

[2] Наконец *(франц.)*.

лучшими художниками доводится до столь предельного реализма, что даже печать, восхищаясь широтой «стиля», о подробностях говорит лишь намеками. То же — постановка на тему Пруста — «Les jeunes filles en fleurs»,[1] прославившая госпиталь Лайнек. Еще — «Безумие». Огромнейший головной мозг (в нем прыгают голые женщины) переходит в бесконечную змею мозга спинного. Все это несут одержимые разнообразнейшим сумасшествием.

«Больной табесом в «Саду пыток»!» «Три колесницы!» Колесница с врачами, которые только еще начинают изучать как научный объект женщину; другая — с врачами, объект изучившими, и третья — с врачами, которые позабыли науку и лечат уже «наугад». Стиль бала «интернов» — щелчок в нос буржуазной условности и морали. Дерзость «интернов» традиционно уважается властями и обществом. Все прекрасно знают, что дерзость эта только *стиль бала.* А на самом деле «интерн», как всякий умеренный и практичный малый, попав в провинцию врачом, очень скоро превращается в «столп общества», чтобы иметь клиентуру.

Еще удивительней иностранцу была «власть стиля» над партиями всех оттенков — в день бегства Леона Доде из тюрьмы «Санте», откуда никто никогда не бежал. В первый день заключения Доде радикалы и республиканцы скорбели о том, что у редактора «Action française» при внедрении в камеру, не в пример прочим, не отобран был галстук, и горестно восклицали: «О, как расхлябан наш государственный аппарат!» Не успокаивало и возражение, что отобрание галстуков.

---

[1] «Девушки в цвету» *(франц.).*

введенное из предосторожности, чтобы узник не повесился, ввиду многопудового веса Доде не имело бы ни малейшего смысла. Но это правило. А правила надобно исполнять.

Но вот сейчас, когда Доде был на свободе и мальчишки газетчики дерзко кричали: «Новый фильм — одно прогнившее министерство!» — в восхищении радикалы и республиканцы восклицали: «Как чисто сделан побег! Каков стиль!»

На бульварах с хохотом читали вслух уничтожающие власть подробности о том, как «подручные» Доде дали приказ из самого министерства внутренних дел об его освобождении, как без запинки провели приказ через все инстанции — пока начальник тюрьмы его не выпустил из «Санте».

И смеявшиеся были врагами Доде. Но одно то, что сам он был сейчас в Бельгии, что для гнева властей оставалась в музее Гревен лишь одна его восковая фигура с газеткой в руке, приводило в восторг.

Много стиля было и в том, как в один ранний утренний час студенты Сорбонны объявили бойкот нежеланному им профессору. Когда весь Париж, зажав под мышкой портфель, бежал в бар проглотить свой «натюр» или «крем» (бульварное сокращение кофе черного и со сливками, сокращение, которого уже не понимают в дальних фобурах),[1] — перед Огюстом Контом, отцом позитивной философии, и перед куполом Сорбонны — люди в черных плащах воздвигнули гильотину. Правда, не ту, «серьезную», проработав с которой «мосье де Пари» должен был потратиться на свежую

---

[1] Ф о б у р — предместье (франц. faubourg).

белую пару перчаток (для каждой казни этикет требует новую пару), но все-таки точную копию «той».

По-латыни прочли смертный приговор профессору, чья злополучная фамилия кончалась на длинный слог «veau», что, как известно, обозначает — теленка. Привязав обвинительный акт к хвосту юной туши невиннейшего из домашних животных, студенты положили его голову на топор гильотины. Палач зарычал, помогая гильотине рубить. Объявив казненную телячью голову годной на студень, а все прочее на жаркое, палач взвалил тушу с гильотиной на площадку, и судьи уехали.

Аплодисменты и смех...

В отставку профессора! Теперь уже капут. Теленок убит гильотиной, человек — смехом.

Да, парижская толпа любит смех. Она просто беснуется от веселья в многочисленных «фет» и «фуар» де Пари.[1] Она же чудовищно работает и в таком же масштабе пьет вино...

Однако и полупьяная она не груба. Впрочем, любезность и острословие — для нее такие же непроизвольные вещи, как у нас на родине бранное слово.

II

Помнится, как-то в трамвае в Москве неизвестный, слегка навеселе, гражданин нашел для себя необходимым рассказывать вслух свою жизнь. Пóходя он пере-

---

[1] «Фет» и «фуар» де Пари — парижские праздники и ярмарки (франц. fêtes et foires de Paris).

сыпал излияния такой отечественной прослойкой, что публика потребовала у кондуктора его вывести. И вот, когда его выводили, он обернулся, распахнул невинные глаза с изумлением и горько сказал: «Зря вы меня... граждане. Ну, разве я ругался? Я без намерений...» И всем стало ясно: он, правда, был без намерений: произносил, как дышал.

Смешно сказать, но странное дело: французская любезность, легкость улыбок, приветливые, чистые, как вздох, «s'il vous plaît!» [1] очень скоро кажутся такой же *по существу механизацией человеческого общения,* как наши... *выражения.* Однако, хотя по удельному весу одно, по изяществу французская форма механизации общения, конечно, во много раз приятней нашей.

Еще поражает французская толпа свинченностью, аккуратностью в одежде, быстрым ритмом и опять-таки машинообразной точностью массового движения. Циркуляции по тротуарам, скопление на площадях, толпа вниз под землю в метрополитен, толпа вверх из-под земли, из метрополитена.

И вместе с тем движение не мертво — оно свободно, естественно, на наш взгляд даже бесцеремонно. Француз, не стесняясь, живет на улице: он на глазах у всех обнимается со своей дамой; не уменьшая шагу и целуясь, как воробьи, они проходят часть пути, которая им обоим по дороге. То он забежит в брассери, одним махом, не отходя от стойки, опрокинет рюмки две аперитива, то из писсетьерки он кричит и кивает знакомым, а выбежав, непременно купит в петличку цветок в одном из бесчисленных ларьков, полном уже го-

---

[1] «Пожалуйста!» *(франц.)*

товых на всякий вкус бутоньерок. Здесь наблюдатель опять поразится: в Париже цветами считается то, что мы топчем не только как травы, а как вовсе ненужный сор. Так, осенью чудесный подбор опавших желто-красных листьев был здесь в немалой цене.

— Как смешно, у вас это цветы, а у нас просто сор...

— На то ваша страна — страна сказок... — любезнейше улыбается француз. — Как же, мы слышали: мостовые мостят у вас не булыжником, а драгоценными камнями. Сказки для детей!

— Пусть у нас страна сказок, но у вас как бы не оказалась страна собачьей старости, — отвечает с такой же любезностью русский.

— Результат старой культуры! Мы уже не ищем связи вещей, мы предпочитаем просто вещи накоплять, — каламбурит француз. — А противоречия, мосье, нас давно не смущают.

Действительно, противоречия французскую мысль не смущают. Примеров без счета.

В день именин Жанны д'Арк все государственные здания украсились национальными флагами, цветами, лампионами. Золотая Жанна д'Арк на площади Риволи, верхом на золотом коньке, маловатом для ее кавалергардской посадки — носки вперед, казалась испуганной столь официальным почетом. В церквах республики шли специальные мессы, особые хвалы перед свежим ужасом лепного дела — порождением нового облика Жанны, недавно канонизированной в святые, в панцире, в латах, с мечом. В церквах, за статуей, протянуто синее небо, затканное золотыми бурбонскими лилиями.

И странно, что и сейчас есть бурбоны в стране, что на улице вам могут указать неприглядного человека и сказать: «Вот это последний... он скупердяй. Он ходит в кино на дешевое место, он норовит, позавтракав, не додать пурбуар», [1] — разболтали гарсоны.

В Нотр-Дам службу правит сам évêque de Paris. [2] Необыкновенный орган. Необыкновенное пение. Заслушались сложного звона химеры на крышах (воплощение пороков людей и соблазнов монахов), а в скульптурной группе святых Сен-Дени, держащий в руках собственную голову, вот-вот не выдержит безголовья и насадит ее себе снова на шею.

Муниципалитетом, монахами, городом прославляется Жанна д'Арк.

А в тот же день вечером в театре шла пьеса Бернарда Шоу, где главную роль играет русская актриса со своей труппой. Французы ломились в театр, чтоб посмотреть, как в последнем действии Жанна заплачет взаправдашними, русскими слезами, когда палач, тоже, несомненно, русского происхождения, ее будет тащить на костер.

Еще больше того привлекает апофеоз: Жанна, сгорев на костре, опять появляется, чтобы заявить, что аббаты налгали: «После моей смерти я никому не являлась, я не понимаю, зачем меня канонизировали после того, как сожгли!» И лукавый вопрос: «А что бы вы все со мной сделали, если бы я вправду воскресла?» На это единодушный ответ короля, аббатов и воинов: «Жанна, не воскресай! Тебя еще раз сожгут».

---

[1] Пурбуар — чаевые (франц. pourboire).
[2] Епископ парижский *(франц.)*.

И французы, может быть те самые, что слушали в Нотр-Дам торжественную мессу в честь канонизированной Жанны, вторят хором актерам: «Тебя снова сожгут!» И смеются и закусывают смех «эскимосами». Так любезно в честь морозной Москвы зовут в театре мороженое в шоколаде и серебряной бумаге. Его с громкими криками: «esquimos russe!» разносят после каждого действия по рядам.

Русский театр вообще в большой моде, уж не говоря про музыку и танцы. В Champs-Elysées идет у французов с большим успехом «Ревизор».

В афише сделана тщательная подготовка зрителей к пониманию пьесы, в хорошем переводе даны отрывки из биографии Кулиша, приведено письмо Гоголя после первого представления, продекламировано проникновенное слово о гибельных судьбах русского гения. На пьесу самим Жувеном, прекрасным исполнителем Жюля Ромена, затрачено немало сил, но спектакль получился смехотворный по совершенной неспособности французов понять Гоголя, а быть может, и русское творчество вообще.

Ведь вот даже умнейший из авторов, Андре Жид, наивно попавшись на письмах Достоевского, распинается в целой книге о том, что отличительный признак этого «génie slave»[1] — христианнейшее смирение...

Городничий — «le gouverneur», одетый в мундир бегемот, — едва появившись, с арапником в руках, рычит зверским голосом все пять актов. Кроме того, памятуя, что надо создать «местный колорит» (крепостное право, знаменитая Салтычиха), он при всякой встрече

---

[1] «Славянского гения» *(франц.)*.

Держиморде дает в зубы и ногой пониже спины — персонажу под именем Svistunoff, — отчего персонаж немедленно, как сломавшийся паяц, замирает, болтая руками и скиснув головой. В последнем действии городничий делает ультрареалистический трюк (что сходит за специально русское выражение ярости). Непонятно, как в багровом окружении щек и носа у беснующегося актера после чтения известного письма вдруг оказывается полон рот белой пены.

Мишка изображается каким-то татарчонком-дурачком, ходит животом вперед и мычит. Хлестаков лучше других подходит к роли по фигуре и жесту. Но играет и он утробно. Хлыщеватый балбес гугнит, мотая головой, и с необычайной виртуозностью в оттенках икает: в первом действии голодной икотой и икотой испуга, после лабардана — жирной, сытой. Публика от этого ужасно хохочет. Вообще весь удар пьесы на физиологию.

Svistunoff — огромное страшило. В трепете перед городничим он всякий раз скачет от авансцены к выходу на одной ноге, непременно падая по дороге, — это опять всем очень смешно. Бобчинский и Добчинский почему-то говорят, как люди Прованса, en zezayant,[1] по имени зовут городничиху и Марью Андреевну; взамен гоголевского текста: «Здравствуйте, Анна Антоновна! Здравствуйте, Марья Андреевна!» — bonjour Annà, bonjour Marià... Чиновники однообразно звероподобны с гримом партизана Дениса Давыдова. Никакого внутреннего понимания — одно утробное подражание чьим-то рассказам про псевдорусские нравы.

---

[1] Сюсюкая *(франц.)*.

Для финала в последнем действии пущен символизм: задняя стена комнаты в доме городничего при возвещении: «Ревизор приехал!» пошла ходуном, и по ней снизу вверх зигзагом забегал отчаянно красный бенгальский огонь. В публике говорили с чувством, что все большие русские писатели настоящие пророки и эти красные зигзаги-молнии — прозрение Гоголя в грядущую революцию «des bolcheviks».

Если приезжий захочет побывать в исторических кабаре и ему Париж показывают русские, то они непременно поведут его в так называемый «кабачок Верлена», где к концу ночи, погрузившись в винные пары, он будто бы первый оправдывал собственное положение о стихах:

— De la musique avant toute chose, le reste est litterature...[1]

Кабаре это в подвале, против площади Сен-Мишель, где чудесные фонтаны бьют из пастей оскорбленных драконов, закрутивших от боли в крутой винт хвосты. Идти глубоко под землю. На стенах каменной лесенки неплохие рисунки молодых художников.

С голодухи идут за пять, десять франков.

Подвал — сводчатый потолок, деревянные скамьи крепкого дуба — похоже у Гете в ауэрбаховском погребке, где из таких вот столов Мефистофель выгонял заклинаньем вино. В густом сизом дыму безмолвно и плотно — видать, на всю ночь — засели мужчины разнообразнейших состояний и стран, от совсем черных до белых, как молочные поросята, промышленных жирненьких немцев. Из французов — больше сутенеры

---

[1] Музыка прежде всего — остальное литература *(франц.)*.

и литературные неудачники. Почти каждый с дополняющей его половиной такого же разнообразия: преобладают девицы из больших магазинов и галерей Лафайета, всегда жадно ищущих случая пополнить свой скудный бюджет. Так называемые на бульварном жаргоне «фуфа» из разных кварталов с модными деколорированными волосами, с непомерно красным, как свежая рана, ртом и бровями, выщипанными парикмахером за пятнадцать франков.

В гротах, в пещерах, в сталактитовой нише сидели парочки, известные всем лесбийки в каменных от крахмала воротничках и манжетах, с тросточкой и неприятно голодными носами.

В глубине около последних, сидящих за длиннейшим дубовым столом под низкими многодольными сводами, — в стене ниша. Над нишей, как семафор в тумане, в сизой мгле яркий глаз — то красный, то зеленый. Его мигание создает настроение тоски, тревоги. Выступают раздетые малоголосые девы, скабрезненький и мелодраматический псевдоапаш. Щуплый малый, без жилета, расхлестан ворот. Он поет две песни одну за другой. Первую, зверски играя ножом, о том, как он, из ревности, долго поворачивал в самом сердце убитой им жертвы этот вот нож. Во второй песне он со слезами хоронит свою юную жизнь на каторге... O, bi-ri-bi.

— O, biribi... — тянет за ним все кабаре, зовя каторгу этим ласковым уменьшительным, как гильотину зовут здесь Луизет.

У рояля некий лысый Юлий Цезарь, с необыкновенным туше; к довершению сходства, он в лавровом

венке. Рядом мальчишка, тоже в венке, дует в невиданный инструмент — вроде старинной трубки с поршнем, похоже — клистир старинного образца из мольеровской постановки. Труба извергает нежданные, как цыганщина, звуки пронзающего томления и грусти. Юлий Цезарь выбивает рыдания из клавиш, а третий музыкант, тоже окончательно лысый и в лавровом венке, лягает ногами замысловатый бубен с колокольцами.

Как возникли они, неизвестно; казалось, их раньше здесь не было. Но они играют необычайно и пронзительно.

В сизой мгле сигаретного дыма многосводные потолки свесились ниже. Под ними, как сигналы в тумане, то тут, то там огоньки папирос.

Лица людей синевато-бледны. Только губы у женщин, то и дело обновляемые краской, извиваются в смехе, как красные пиявки.

Юлий Цезарь, дуда и бубен затянули пианиссимо до потери дыхания. Придержали паузу. Ударили танцы.

На сцене закружились в юбочках из балета и глубоком пустыннейшем декольте несомненные юноши. Кофейные мулатки затрясогузили под чарльстон.

Мальчик с дудой попропускал такты и вдруг с яростью ринулся в трио. Он закрыл глаза, как заслушавшийся себя соловей, и пронзающими своими звуками, одного за другим, всех вовлек в чарльстон. Скоро скамьи были пусты, и среди тесных стен, как бы сбившись в кучу, в общем свальном грехе, затоптались в чарльстоне, с страшно-недвижными, окаменелыми в сизой мгле лицами — мидинетки, мулатки, англичане и русские.

Редкий зритель, не втянувшийся в угар виски и сизый дурман, с тоской вопрошал про себя: «Так это вот видел и слышал Верлен?»

И, будто подслушав эти не сказанные вслух мысли, неудачник литератор из романа Доде говорил опустившемуся типу Бальзака:

— Они идиоты... иностранцы; они думают, что попали в инфернальное место. Они полагают, те мальчишки в цветах все — Оскары Уайльды. А они, подлецы, преженатые...

Выпивший тип Бальзака примирительно отвечал:

— Не брани их, Гюстав, не брани! Жизнь после войны впятеро вздорожала, а у них дома семьи... В конце концов ведь и это métier comme métier.[1] А иностранцы, разумеется, дурачье. Тут и ноги Верленовой не бывало!..

---

[1] Ремесло как ремесло *(франц.)*.

КЛАДБИЩЕ ПЕР-ЛАШЕЗ

Сторож, водивший иностранцев по кладбищу, равнодушно и плавно, как привычный оратор, наизусть давно знающий свою речь, говорил:

— В Париже, это легко запомнить, девятнадцать публичных кладбищ — из них три главных: северное, южное и западное, или, как население его обычно зовет, Пер-Лашез.

В средние века на этом месте было Поле епископов, последующий владелец, некий богатый человек Рено, выстроил себе здесь такое шикарное жилище, что его прозвали «Безумие Рено». Спросить: где оно, это безумие? Как вы видите, ничто не вечно, мосье.

Дальнейшая история этих мест такова: при Луи Четырнадцатом иезуиты выпросили себе этот лакомый кусок. Ну, разумеется, они польстили королю; как известно, при всех правительствах полезно льстить, — недаром господин Лафонтен, здесь неподалеку лежащий, обессмертил своей басней лесть. Однако вернемся к иезуитам. Еще раз — увы, до чего бренно все под луной! — иезуитов мы с удовольствием изгнали в тысяча

семьсот семьдесят третьем году, «мон Луи» пошел платой за их долги. О, эти умели хорошо пожить! Но префект Сены купил прекраснейший их холм, и по декрету Наполеона он был пущен под кладбище. Работы подгоняли — знаменитых покойников накопилось. Уже весной тысяча восемьсот четвертого года сюда въехали первые: Мольер, Лафонтен, Бомарше...

С этих пор кладбище Пер-Лашез — последнее убежище всего, что было на земле когда-то богато, могущественно, знаменито. И вместе с тем, messieurs et mesdames, это кладбище не печалит взоры. Не глядя на могилы, вам может сдаться — это чудесный увеселительный сад! Обратите внимание: какие деревья! какие цветы! Ваши ноги ступают по мягким песочным дорожкам вдоль столетних платанов. А взойдя на вершину холма, вы увидите, mesdames, горизонты. Именно то, что авторы романов зовут «горизонты». Их замыкают Медонский лес и Сен-Клу, башни замка Венсенн налево. Про этот замок прилично сказать так: он свидетель средних веков. Однако прошу прощенья, messieurs, я чуть-чуть покурю.

Сторож, любитель аперитивов, прирожденный резонер, как второй могильщик у Шекспира, бросив на землю окурок, его тщательно зарыл ногой и рассмеялся:

— Что поделать, это уж профессиональное: насмотревшись, как день-деньской зарывают, зароешь каждую мелочь и сам.

Но займемся покойниками: теперь опустите глаза, messieurs et mesdames, и, как вы только что охватывали взорами горизонты, охватите сколько можно подножный пейзаж.

У ваших ног: слава империи, знаменитости реставрации, наконец достоинство республики. На каждом шагу вы попираете могилу необыкновенного человека...

Вот готический памятник с скульптурным надгробием юных и прекрасных существ — Абеляра и Элоизы, — только после смерти история признала союз их любви. Здесь не переводятся, как вы сами видите, цветы. Как смерть, любовь вечно волнует сердца. Прошу отметить, сколь верно сказал один поэт: кто именно любви посвятил свою лиру — к тому и после смерти не оскудеет ответная нежность людей! Вот он, Альфред де Мюссе... и сегодня, как всегда, обилие роз. Если хотите, сорвите на память листок с этой плакучей ивы, которую, по его завещанию, ему посадили над гробом. Между нами сказать, не в добрый час для кладбищенских сторожей он это придумал: весной, когда цветет эта плакучая ива, у него на могиле чистки больше, чем у прочих мертвецов, ровно вдвое. Ну, иной раз и пошлешь его к черту! Ведь ему, полагать надо, сейчас вполне безразлично, есть над ним дерево или нет. Ну, что бы раньше додуматься! Однако умирающих все равно уму не научишь: без фанаберий редкий помрет...

И вы ошибетесь, messieurs et mesdames, если здесь вспомните пропись: «На кладбище обитает справедливость». Увы, и здесь ее нет! Если б была, то почему, спрошу я вас, на памятнике нашего великого баснописца всего на все небольшая лисица, у Бернардена де Сен-Пьера, у Парни, у Мольера (похороненного ночью и без помпы) простые кресты или камни, а совсем неизвестному лицу давит кости вот та огромная, отовсюду видная пирамида?!

Да, в этой давке у мертвецов, как у живых, — лучшее далеко не по заслугам: Давиду, первейшему художнику Франции,— одноглазый медальон, Бальзаку — небольшой бюстик; ну, про генералов я не говорю: генералам, бесспорно, ставить памятники поважней, — но частные, никому не известные лица? Только оттого, что у них деньги? Нет, это бы я запретил...

Вот направо гробница английского поэта Уайльда.

Крышку мавзолея держит голый крылатый юноша в высокой фараоновой шапке. Он одновременно распластал крылья и поджал ноги, будто собирается кинуться вниз с большой высоты. Говорят, что здесь тайный английский смысл, но в чем он именно — не умею вам сказать. Англичане знают.

А вот там богатейший памятник, словно пирожное, — это повара воздвигли своему патрону — ресторатору.

Здесь — знатные индусы. Приехали, заболели и померли. Родина же их далеко.

Однако извините, messieurs, к Стене коммунаров я не могу вас вести, это далеко, а мне отлучаться нельзя от ворот. И то я вам показываю незаконно... Что вы, что вы! Я не к тому... гран мерси! Выпью за здоровье иностранцев. И мой совет, messieurs: к коммунарам поспеете и потом, здесь все мертвые одинаково смирно лежат. Сперва посмотрите крематорий — там сейчас перерыв. И пока никого не жгут. Мой приятель вам прекрасно покажет. Он при печке; только шепните ему: нас прислал Антуан!

В крематорий же идите все прямо, вот по этой дорожке...

Здание крематория оказалось похожим на буддийский храм. Наверху вместо креста треножник, над входом — сова. С двух сторон полукружием идут колоннады в два этажа. Вдоль колоннад высокие стены в сплошных, как для детской передвижной азбуки, нарезанных квадратиках, снизу доверху. Каждый квадратик в кубический аршин. В нем урна с прахом. Квадрат снаружи прикрыт мраморной доской. На ней золотом: имя, год, чувствительный стишок. Редко изречение из священного писания.

Видно, все еще нужно известное вольнодумство, чтобы сделать выбор: быть медленно съеденным червем или пожранным раскаленной добела печью. Впрочем, в печи, в приподнятую на миг заслонку, привычного глазу огня совсем не было видно. В нестерпимую белизну, похожую на удержанную и растянутую в большой квадрат молнию, был превращен здесь огонь.

Действительно, приятель Антуана, дежурный при печке, оказался славным малым, толще и пьяней Антуана и еще больше, чем он, похож на другого шекспировского могильщика — не резонера, а весельчака.

Человек этот будто выпрыгнул из последнего акта «Гамлета» в природном прекраснейшем гриме: его взвихренные брови, навсегда удивленные бренностью мира, при каждом слове прыгали то вверх на лоб, то нависали на быстрые умные глаза. Это вечное движение бровей создавало впечатление непрерывного хохота, несмотря на спокойствие крупных румяных щек.

И, конечно, как полагается человеку его невероятной профессии — через каждые два часа бросать в огонь другого человека, — он был сильно на взводе. Потому что, не будь это именно так, он бы, конечно, постес-

нялся в виде указки из свалки костей сожженных трупов неизвестных из морга выхватить большущую берцовую кость и размахивать ею в подкрепление своих объяснений...

— Настоящий палач! — хохотал англичанин.

«Палач» прежде всего стал восхвалять преимущества над старым способом погребения крематория.

— Эта печь — мой патрон, — рекомендовал он, кивая берцовой костью на саженную печь, присевшую, как старуха с злющим стиснутым ртом.

— Все сжигайтесь, messieurs, сжигайтесь, mesdames! Завещайте сжигаться вашим детям, дарите друг другу, как это делают на вашей родине, фрейлейн, квитанцию в крематорий. У нас, у французов, это еще не привилось; мы сентиментальны совсем на другой образец, нежели вы, мы еще не поняли, что каждому должно быть лестно иметь после смерти кости такой вот чудеснейшей белизны. Эта берцовая для медицинской академии, на заказ. Но родные предпочитают, чтобы покойник совершенно истратился — чтобы сгорел в порошок! Меньше места...

— Однако положите кость, — сказал англичанин, — вы ею машете как оглоблей. Того гляди, заедете по живым!

Сунув палачу в руки франки, он предложил показать, как здесь, в его хозяйстве, все происходит с самого начала.

Палач ловко опустил франки в карман, снял кожаный передник и, оказавшись довольно толстым человеком в пиджаке, сказал:

— Сейчас сюда принесут свеженького из морга, и я должен буду смениться. Всем вам придется отсюда

уйти, потому что жечь будут наскоро, для медицинской академии, без церемоний. А потому, если, мосье, разрешите, я лучше объяснять начну с самого конца. Эта печь вроде как, извините за сравнение, неопалимая купина — горит, не угасает. Очень уж трудно ее распалять. Покойника, как только вытащат из саркофага, который я вам потом покажу, сейчас к нам, в тепло. Принимаем его здесь уже без всяких надгробных речей. Примем — и прямехонько в огонь. Однако богатый и здесь норовит отличиться; он, видите ли, лежит в гробу дорогого дерева, в тонком надушенном белье. А уж тут, души его не души, — понимаете, обыкновенный труп.

Вот посмотрел бы этот труп сам на себя в печь в это окошечко, не стал бы душиться! И богатый и бедный попрыгает сколько ему надо, покорчится — и берите, пожалуйста, — кучка праха.

Однако отсюда сейчас пора уходить — пойдемте в salle d'attente, — теперь я объясню, как вы хотели, с самого начала...

Палач провел всех по лестнице вниз, в залу ожидания. Мы оказались в первом ряду кресел амфитеатра, повышавшегося в задних рядах. Перед нами, на значительно поднятой сцене, между двух занавесок тяжкого черного бархата, стоял тоже черный, с серебром, саркофаг.

Наш пьяный маэстро вышел на авансцену и, как певец-солист, сказал, с очень верными жестами, усвоенными им от многочисленных переслушанных здесь проповедников:

— Messieurs et mesdames, эта роскошная гробница не что иное, как подставное лицо, а все происходящее

здесь торжество — un simulacre — лицемерие! Ну, разумеется, оно необходимо для папенек, маменек, неутешных вдов...

Пока они все сидят на тех местах, где сейчас сидите вы, натурально с белыми носовыми платками в руках, пока проповедники говорят о загробных наслаждениях, то есть о вещах никому доподлинно не известных, мы, с вашего разрешения, в мягкой обуви, сторожим за бархатной занавеской, чтобы собранию и шороха не услыхать. Мы даем проповеднику хорошенько разогнаться и выбираем покойника из саркофага. Потом, извините опять за выражение, мы его, как бревно, прямехонько в печь. А проповедник долго еще трудится, и по временам, когда этого требует речь, все обращаются к мертвецу, как к живому, то есть как к лежащему в саркофаге: «Ты слышишь ли меня? Ты слышишь?» Хорошо, что сам тут же и отвечает: «Да, я слышу!» Ведь в саркофаге ни живого, ни мертвого... Потеха!

Из публики спросили:

— А толстые дольше горят, чем худые?

— Толстые? — вздернулись взъерошенные брови, и не понять, соврал нам маэстро или это правда: — Толстые на пять минут горят дольше. А одетые или раздетые — все равно.

Совсем недавно горела у нас в очень хорошем белье одна танцовщица. Известная. Ее убил собственный шарф. Говорили люди, что не надо было ей изобретать «танец апаша». Она все его танцевала с этим самым шарфом, который душила руками, будто как апаш душит свою возлюбленную, а он, шарф-то, вот возьми да и задуши ее сам. Оч-чень хорошее у ней было белье!

Близкие, конечно, ничего своим не жалеют, ну, а мы знаем правду. Как вынешь из печки, никого ведь уж не узнать: ни богатого, ни бедного, ни старого, ни молодого. Одно слово — прах.

Но, messieurs, странное дело: когда этот прах в урне, в своем квадратике, когда на доске золотом горит его бывшее имя, а по бокам, на медных крючках, бутоньерки с белыми пыльными розами, — я замечал, родные очень успокаиваются. Бывают такие, что даже хвалят. Ведь если сожжешь чьего покойника, мосье, будто с его родней чуть-чуть и сам породнишься.

Вот на днях дама одна зашла. «Хлопот, говорит, мне теперь никаких; не то что в земле! Там уж худо-плохо — три аршина надо досматривать. А расходы! И сторожу дай и садовнику дай... Здесь же дело совсем домашнее: а чистота, а дешевка! Цветов, говорит, куплю ему на франк да пыль с дощечки сотру — вот и навестила».

К сведению вашему, messieurs et mesdames, следующий номер записи на сожжение — отличный номер, кончается четом, шесть тысяч семьсот восемьдесят четвертый!

После крематория нам оставалось пройти к Стене коммунаров. Оказалось, она далеко, на опушке кладбища. В воображении и по описанию впечатление гораздо сильней. В действительности прежде всего неприятно поражает, что город совсем рядом, что нет тишины кладбища.

Здесь грохот огромных фур, запряженных першеронами, звон трамваев, свистки авто, крики газетчиков. Стена в неприятных венках: грубые толстые маки

(фарфоровые цветы здесь гораздо грубей русских), буро-красные, как будто измазаны кровью.

Отделение 97. Стена федералистов. Здесь были расстреляны последние защитники Коммуны 28 мая 1871 года.

Вдоль стены ходила одинокая, очень старая женщина, лет под восемьдесят, в черной мантилье. Шляпа кибиточкой, черные ленты завязаны бантом под подбородком; старуха с трудом двигалась, напирая на палку. Она склонялась к белой мраморной доске с именами коммунаров и шептала имя за именем. Потом она крестилась мелким католическим крестом, и слезы капали у нее из глаз.

Ее совершенно особая, интимная связь с этим местом была несомненна.

— Дочь коммунара? — прошептали мы с волнением. — Но, может быть, и жена?

В самом деле, почему бы и нет? Если ей в семьдесят первом году было двадцать лет, то сегодня ей всего семьдесят пять. Ну да, она могла быть женой.

Старуха опустилась на колени в глубоком поклоне, но встать не могла и, бессильно плача, затрясла головой. Ей кинулись помогать. Ее подняли. Все были глубоко взволнованы. Жена коммунара, живая история была перед нами! Было благоговейное участие, была человеческая гордость за верность женского сердца.

— Вот они, наши женщины, — сказал сквозь навернувшиеся слезы один из французов. — Женщины — это те, которые не забывают.

Старушка оправилась, чистым платком вытерла глаза, любезно поблагодарила неожиданно еще молодым голосом. Потом она указала своей сухонькой руч-

кой в черной перчатке и деловито, как хозяин, за многие годы изучивший до песчинки свое владение, сказала:

— Расстреляли их там, много левее, но зарыли здесь. Правительство пожалело на месте расстрела старые платаны, и могилу приказано было выкопать тут, на голом месте. И подруга моя, Элиза, помнит тоже. Наши мужья не раз нас водили сюда и рассказывали нам в подробности. Оба умерли. И Элиза умерла тоже. Вот я за всех их теперь и вымаливай. Но расстреливали их там...

— Ваш муж, мадам?..

— Мой муж был сержант, сержант национальной гвардии. И муж Элизы Рике тоже. Не сами они придумали расстреливать — служба! Ах, умереть бы мне раньше, messieurs, когда все было ясно, как день и ночь: коммунаром быть постыдно, а национальной гвардией — похвально. А вот сейчас — дожила: внучек у меня коммунист. Как пойдет поносить деда! И сам и товарищи... из книжек мне читают. А что, думаю, если и на том свете, как здесь, — полная перемена в этих делах и мужа моего на Страшном суде уж не похвалят? Вот и хожу сюда, вот и молюсь за коммунаров... Служба, говорю им, служба у мужа такая была, наградные, говорю, на ней получали, не худым, говорю, видно, делом считалось...

СОБАЧЬЕ ЗАСЕДАНИЕ

При благосклонном участии известного доктора психологии, профессоров, журналистов и огромного стечения публики в зале Ваграм был назначен диспут на тему: «Кошка и парижанка».

В основу диспута положена книга, уже намозолившая всем глаза из-за витрин бесчисленных магазинов. «Любовь парижанки» — так звалась она, в ужасной обложке, где кровавое сердце с мужской головой обнималось с сердцем другим, цвета увядшей розы, обладавшим головкою дамы.

А содержание книжонки было таково: какой-то замечательных чувств князь или маркиз, оскорбленный безнравственностью парижанок, женился на глухонемой женщине необыкновенной красоты. Уже со второй главы читатель догадывался, что глухонемая женщина — просто кукла в человеческий рост, лишенная притом, по бездарности автора, всякой прелести гофманской темы. Но увлекшиеся графом или маркизом живые, и по тексту даже совершенно добродетельные, парижанки о его жене-кукле догадывались только в

самую последнюю минуту, когда, хитрым маневром заманивши их в свой, ну конечно, роскошный отель, граф или маркиз объявлял, что он женской коварной любви предпочел навек безответную честность предмета, и демонстрировал свою сделанную лучшей американской фирмой «супругу». Затем герой давал приказ лакею отвезти в такси оскорбленную им даму домой. Пошловатая книжка разошлась в несметном количестве и взволновала все женское население.

Когда русский, взявший билет на диспут «Кошка и парижанка», пришел в залу «фобура», она была набита битком.

— Голова к голове, как поле капусты, — сказал ему спутник-француз, — вот оно, уже несомненно французское место, куда вы так стремились попасть.

— А ведь, пожалуй, и вправду надо иметь кочан на плечах, чтобы прийти слушать подобную дребедень?

— Ах, мосье, подождите судить, — сказал француз, — разве не проявление тонкой культуры и богатств эстетических уже одно умение невинно забавляться невиннейшим пустяком? Дайте срок, здесь наткут вам словесного кружева! И будет превесело; только вы, мосье, не дуйтесь, не взывайте к высоким идеям и добродетели. Вспомните, как говорил ваш народный мудрец, un certain[1] Кузьма Прутков. Его чудесному афоризму обучил меня мой приятель: заткни фонтан, и ему нужен отдых! — Француз расхохотался: — Не может быть, чтобы он, этот Кузьма Прутков, хоть немножко не был француз. Однако берите соломенный

---

[1] Некий *(франц.)*.

стул и, стараясь не хватить по кочнам, или головам, как вам больше нравится, пробирайтесь вперед!

Вклинившись в проход, попали в гущу спора. Старый эмигрант, тоже русский, припоминал, с укоризной по адресу легкомысленных французов, особое значение «фобуров» в революции. Говорил с чувством о роли клуба Сен-Антуан и, умоляюще поворачиваясь направо и налево, заклинал сказать ему: какое *тайное* содержание кроется под объявленным диспутом?

— Никакого тайного содержания, мосье, — божились французы, — только о кошке. О кошке и парижанке: если себе кто позволит иное, вы увидите, как его пресекут!

— Но все-таки, хотя бы и с пресечением, что именно, *что* под *этим?*..

— Прездоровое чувство, мосье, — желание забавляться! Умение веселиться излечивает печень. Но тс-с!..

Профессор психологии с пивным брюшком, скорей бы немецким, чем французским, взошел на высокую кафедру и стал говорить. С жестами, полными округлостей и достоинства, он открывал для четырех тысяч голов кошачью Америку.

— Le chat, видите ли, разнообразнейший зверь в смысле музыки. Когда он голоден, у него «мяу» одним способом (вот хорошо бы определить, в каком именно тоне); когда он бежит на крышу любить, у него еще новый звук; когда он сердится...

Профессора заглушили. Зал весь мяукал на все лады. Хохот, шиканье, свист.

Профессор с немецким брюшком долго ждал, чтобы завершить свою экспозицию и законно передать слово публике.

Неожиданно с кафедры заверещала утлая, легкая, как осенний листок, старушонка:

— Кошка полезна. Кошка уничтожает мышей.

— Мышей ядом может вывести и консьержка. Говорите по существу.

Плеснулась на кафедру немолодая, в лиловых газах девица:

— О, я видела столько измен! Столько измен! Но только не от кошки.

Басовато сказал голос с мест:

— Поищи идиота, чтоб был тебе верен!

Еще старушка кофейная тонким голосом:

— А мне даже кошечка изменила! Сбежала в мясную...

— А ты салатом зверей не корми!

— Плохо слышу, — ставит рупором ручку. — Я говорю, уж не знаю, какого зверя мне завести, чтоб не сбежал.

— Замаринуйте селедку!

Хохочут четыре тысячи голов. И недоумевает и мучается русский:

— Инсценировка? Памфлет? Может быть, война с рифмами?.. Колониальный вопрос?

— На дьявола ваша инсценировка! Это женская тема, мосье. Консьержки и кошки — один организм. Здесь их со всех кварталов.

Доктор в черном сюртуке пытается с высокой кафедры вознести тему на высоту. У доктора оказалась идеология для смягчения нравов, по благоволению напоминавшая мечты Жуковского об идеальной казни.

— Людям необходимо испытывать чувство любви. Это именно необходимо: раз — для внутреннего равно-

весия, два — для физического здоровья, три — для порядка. В любви — энергия, излишне накопленная, но никуда не направленная, находит общественно-безопасный исход. Накоплять энергию без исхода — запасать в себе динамит. Дальше: любить себе подобного часто очень хлопотливо, часто экономически невозможно. Отсюда у нас во Франции оскудение браков, отсюда бездетность. Чудесным суррогатом и вместе невинно разряжающим средством является любовь к животным. Из всех животных кошка — наиболее экономный объект любви. Ergo: да здравствует кошка!

— Vive le chat! — отвечали старику. — Но про любовь вам, ситуайен,[1] пора бы уже позабыть!

— Mesdames et messieurs, я только что из Германии, я задет как патриот. Неужто и в этом вопросе мы будем немцами посрамлены? Mesdames et messieurs, чем цивилизация в стране выше, тем в ней лучше живется животным. Это все равно как культура дома и честь аккуратной хозяйки определяются чистотой ватерклозета!..

— Долой его! Грубиян! — закричали женщины и порывались стащить юркого, легкого человечка с голосом как из бочки.

Другие кричали:

— Правду говорит, оставьте!

Сам человек кричал:

— Я клянусь больше женской чести не трогать. Я только статистику. Messieurs et mesdames, на четыре с половиной миллиона у немцев восемьсот собак. Большие доги. Огромные доги. Они ходят с важностью в

---

[1] Ситуайен — гражданин (франц. citoyen).

каждой лапе, как Гинденбург. Они каждой лапой говорят: «Deutschland über Alles».[1] И они имеют право так говорить. А почему? Потому, что у них в Берлине два псиных журнала, у них на Аугсбургерштрассе образцовое ванное заведение, у них в пивных объявление «фоттикюр», что в переводе на человеческий язык означает — «маникюр». У них собачий «институт красоты», у них в булочных специальный собачий бисквит «хундебисквит». У них каждый может женить или выдать замуж свою собаку по собственному вкусу, потому что у них — да простят мне деликатные уши дам — у них в Берлине есть «собачий публичный дом»!

— Долой его, безобразник!

— Штраф, штраф... Он сорвал диспут. Он посмел говорить о собаке, когда надо только о кошке!

— Но он прекрасно говорил о собаке.

— Собака лучше кошки... Vive le chie-e-en!

Председатель звонит:

— Я не позволю говорить о собаке. Диспут твердый: диспут о кошке. Про собаку нельзя.

— А про свинью? Про крокодила? Про лягушку? — перебирали зверей.

Кто-то, кроя всех басом, гаркнул:

— А про те-ещу??

— Неужто это все не нарочно?.. Ради бога, что под этим всем кроется? — умолял русский, склонный к рефлексии.

— Лечите свою печень, — смеялся француз, — теща — зверь!

На кафедре опять женщины:

---

[1] «Германия превыше всего» *(нем.)*.

— Вы слышали речь приехавшего из Берлина?

— Уж из одного патриотизма нам надо что-либо подобное сделать для кошек...

Сверху ухнули в рупор:

— Сты-ди-тесь, женщины! К черту кошек, займитесь детьми!

Ярко-синяя, с желтой шалью, истошным голосом завопила:

— Человек все забрал себе! Человек обязан уступить животным! Я — буддистка, в животных — душа моих собственных предков.

Ей не дали больше ни слова. Изо всех углов зачастили неожиданной рифмой:

Père cochon,
Mère mouton,
Tante grenouille,
P'tite soeur poule...[1]

Доктор-сангвиник с громовым голосом, махая руками и носовым платком, чтобы замолчали, вскочил на кафедру и прокричал одним духом:

— Цивилизация Франции не может быть ниже цивилизации Германии, если ее сыновья, ее герои, ее родные и двоюродные братья Неизвестного, всем известного солдата затеяли на днях столь гигантский прыжок на воздушной птице из Парижа в Нью-Йорк! Да здравствуют наши смельчаки летчики Колли и Ненженсер!

Встали, выли, топали, отдавали дань патриотизму.

---

[1] Отец свинья, мать овца, тетка лягушка, сестренка курица... *(франц.)*

Кто-то провокационно прозвенел:

— Однако это не на тему!

Десятки голосов прокричали:

— О величии Франции всегда и всюду на тему!

Отец семейства предложил телеграмму матери Ненженсера. Женщины прочли текст телеграммы:

«Собравшиеся на диспут «Кошка и парижанка» благодарят вас, мадам, за то, что вы подарили нации достойнейшего сына!»

— Но ведь собрание по поводу кошки — удобно ли?..

— Собрание, собравшееся по поводу кошки, всегда может превратиться в собрание, которое чтит своих героев...

Опять топали, выли, забыли о кошке. Но через минуту уже не помнили о летчиках, уже хохотали бешено, хохотом, сотрясающим люстры и стены. Чья-то старая тетенька, в лентах и кружевце, весь вечер хранившая про себя свою «тему», улучив минутку, вдруг громко и тоненько произнесла:

— Я не люблю кошку за то, что она пачкает мой ковер!

— Здесь все сговорились, здесь все нарочно... — стонал русский, съеденный рефлексией, теряя последнее самообладание.

— Шер мосье, мы свободные люди, и когда хотим дурить — мы дурим. Лечите вашу печень, мосье!

Выступил старичок, очень подтянут, с моноклем. Старичок брезгливо смотрел в полный зал. Говорил с паузой:

— У меня была прислуга, может быть анархистка, может быть коммунистка...

Его спросили:

— Отчего же она вас не ухлопала?

Он продолжал, не смущаясь:

— Я именно боялся, что она меня ухлопает. И подарил ей кошку, и что же — она сделалась радикалкой. Когда же кошка принесла ей котят, она стала умеренной республиканкой, очень умеренной, как я сам. И вот, в интересах спокойствия страны, считаю полезным обязать анархистов и коммунистов иметь кошек!

На кафедру орлом взмыл известный в Париже притворно разъярившийся анархист.

Его узнали, его назвали в толпе.

— Мой пример опровергает поклеп роялистского башмака! — выкрикнул он. — Это — гнусная ложь, что кошка действует разлагающе на идеологию. У меня две кошки, и я как был анархист...

— Долой анархиста, не надо политики! Он, прикрываясь котом, все равно будет делать политику!

— Анархисты не любят никого...

— Но если я люблю кошек, — вопил анархист, — если я их ужасно люблю?! Доказательств? Извольте. Не далее как вчера я бросил все дела и на собственном авто помчал своих кошек к котам. Я принужден был сделать много верст, чтобы выдать моих ангорок замуж за им подходящих, тоже ангорских котов...

— Стыдитесь, анархисту непристойно спаривать котов!

— Или разбирать их по кастам...

— Анархисту непристойно иметь свое авто!..

— Camarades, я ошибся, это было авто моего хорошего друга!.. Но и в случае, если бы это было мое соб-

ственное авто, то неужто мало учил нас Лассаль и прочие... Мы ездим в первом классе, camarades, единственно для примера, как передовые борцы, всюду первые навстречу событиям. А события нам желательны такие, чтобы все вы имели машины...

— Долой ложного анархиста!

Анархист ловко спрыгнул в толпу, а на кафедре возникли старухи учительницы и сказали неожиданно в унисон, чтобы было слышней:

— Мы находим, что довольно о кошках! Мы собственно пришли заступиться за парижанку. Мы обе очень старые парижанки...

Но, хотя говорят в унисон, их не далеко слыхать. Председатель звонит, добивается тишины, встав во весь рост, возвещает:

— Эти почтенные дамы утверждают, что они очень старые парижанки...

— Они говорят чистую правду! Они именно очень старые парижанки!

Учительницам не удается защита. Уже очень поздно.

Председатель ставит вопрос о переносе второй половины диспута о парижанке на следующий день.

Половина соглашается, половина любезно кричит:

— Эта тема будет исчерпана! Говоря о кошке, поговорили о женщине...

Напоследок на кафедре молодая красивая мидинетка. Она негодует, она в ярости:

— Если бы у всех мужчин была одна голова, я бы эту голову отрубила!..

— Школьный плагиат, мадемуазель, до вас об этом мечтали римские императоры...

— Вы бы, мадемуазель, лучше эту голову по-це-ло-ва-ли!

Девица не понимает, ей разъясняют, она прыскает в руку, как школьница, потом, приставив обе ладони к губам, кричит благим матом:

— Идет, messieurs, пусть по-вашему: сначала я поцелую, а потом — отрублю!

— Браво! Парижанка оправдана! Наша парижанка — первая женщина мира!

— Эта девчонка сегодня же себе сделает «ситюасион»... — говорит француз русскому. — Обязательно сделает. Ну, а как вам понравилось кошачье заседание?.. Как ваша печень?

— Ничего моя печень, — говорит русский, — но заседание ваше все же... собачье!

ЛЕБЕДЬ НЕОПТОЛЕМ

I

Проездом из Парижа на юг Ваксин остановился нарочно в маленьком городке, не обозначенном в гиде, чтобы вернее посмотреть подлинный быт и нравы провинции. Кроме обычного памятника Гамбетте и «жертвам войны», здесь были руины, валы и донжоны, омываемые яркой синей рекой.

Набегавшись, Ваксин сел отдохнуть на горячие камни древней стены, спугнув множество зеленохвостых ящериц. Он засмотрелся на веселые горы, покрытые зеленым безумием виноградников и кудрявыми дубами.

Сейчас, под стеной, глубокий обрыв был полон сизой полуденной мглы; из нее ярко торчала острая скала шапкой густых кустов ежевики. Сзади высокую колонну площади Лафайет почти скрыли огромные липы в цвету. От них шел запах густой и свежий, который вместе с запахом конопли, неизвестно как выросшей на стене, вдруг превратил французскую местность в русскую.

Ваксин задумался и не заметил, как из небольшой лавчонки на площади, которую он невольно отметил за несоответствие торжественной вывески: «Сапожник Генриха IV», вышел старик в соломенной шляпе, с трубкой и сел возле, на древнюю стену.

Не здороваясь, совсем просто, как бы продолжая давно начавшийся разговор, старик этот сказал:

— Вы знаете, мосье, я выпить совсем не дурак. Без этого в сапожном деле нельзя. Вот портные иные... Хотите, я необыкновенно покажу вам наш город, а вы поднесете мне два стаканчика аперитива? Фамилия моя Буриган — сапожник Генриха Четвертого. Почту за честь осведомить иностранца.

Тут он поклонился не без шика, взмахнув над лысиной шляпой.

Ваксин согласился и спросил:

— Отчего вы сапожник именно Генриха Четвертого?

— Оттого, мосье, что для успеха — людей надо чем-нибудь эпатировать, ударить по затылку. Если бы, скажем, наш куафер, в простоте, стриг бы бороду нашему мэру просто клином, не называя ее «а ля Франсуа Первый», то, уверяю вас, господин мэр платил бы ему франком меньше. А франк к франку — тысяча. Так и мои, между нами сказать, обыкновеннейшие каблуки... Однако вступлю в должность гида. Вот там, мосье, вдали, дворец папы Иоанна Двадцать Второго! О, большой женолюб! Он провел было тайный ход прямо на гору, в монастырь... Однако злая метресса его ужасным способом отравила...

— Э, нет, Буриган, — прервал Ваксин, — я как нарочно еще утром вычитал, что этот папа Иоанн, прав-

да, родившийся в здешних местах, преставился в Авиньоне.

— Очень возможно, — с удовольствием согласился Буриган, — только, по-моему, гораздо естественнее, чтобы человека тянуло умереть на родине. Но, так как иностранцы особенно падки на любовные шашни духовных, я думал...

— Оставим историю, Буриган, мне интереснее узнать, как и чем у вас тут живут.

Тотчас с легкостью мячика Буриган спрыгнул на землю, сорвал ветку липы и, прищурившись на гору, указал:

— Вон дубы. Обратите внимание, под каждым вытоптан круг. А? Правда, похоже, что игрушек наставили? Это наш кормилец — трюфельный дуб. Пускаем свинью, как дороется, как захрюкает — сейчас в зубы ей кукурузу, а трюфель себе. Веселая охота! С дерева десять кило... Наш трюфель очень душист. А еще жили мы виноградником. Как же, славились по всей Франции. Сейчас против прежнего треть. Батраки до́роги — не поднять. Своих на войне прикончили, а новых рук — стоп! — женщины нам не рожают. В нашем городе, мосье, самый крупный процент убыли населения на всем земном шаре — доктор нам по статистике заверял. Не мудрено поэтому, едва мы в кафе соберемся, сейчас про этот вот женский вопрос. Я, мосье, вдовец. Дочка замуж вышла в Тулузе; как у всех теперь, у нее детей нет. Остриглась и курит. А вся беда из-за этой новой святой... из-за Жанны.

— Какой такой Жанны?

— А вот послушайте. Замечательный был у нас старый кюре — республиканец. Убрали его далеко за

язык, все жалеем. «Вот запомни-ка, Буриган, — говорил тот кюре, еще когда только прошел слух о канонизации, — как поставят ее по церквам, стриженую да с мечом, ничем женщин мы не удержим: обрежут косы и перестанут рожать». И ведь как напророчил! В Париже, говорят, даже стрижка есть «Жанна д'Арк».

— Ну, в этом худого еще не видать...

— Разумеется, мосье, как кому. Тот старый кюре недавно проездом был, так теперь даже рад: «Я, говорит, столько из-за женщин страдал и вдруг перестал. Как войдет, говорит, этакая модная, телом полпорция, без косы, без оборок, без шлейфа и без веера, да мне, говорит, что она, что мальчишка из клира, — мало я им, что ли, подзатыльников раздаю!»

Однако, мосье, если говорить серьезно, сердце патриота по этому случаю не может не обливаться кровью за Францию. Государство держится женщиной. Что там ни скажи, она столп земли. А для крепости столпа нужны кое-какие условия...

Первое — женщина должна хоть чего-нибудь раз навсегда испугаться. Ей страх — что пчелиной матке улей. Без улья, знаете, матка бог весть куда улетит, да и весь рой с собой стянет.

В наши годы женщинам, в смысле страха, всего лучше был ад. Тут самых злющих сворачивало... Нонче вера отпала, осталось одно — чтобы муж научился пугать. Чуть срок пропустил — такую, скажу вам, ведьму себе на шею посадит...

— А еще какие нужны условия, кроме страха?

— А еще: должна у женщины любовь быть к гнезду, как у птицы... зовется гага. Говорят, из-под соб-

ственных перьев она пух выдирает, чтобы всем было дома тепло. Из отдельных гнезд, мосье, составляются города, из городов департаменты, ну, словом, государство...

II

— Вот у нас, мосье, в городе есть такая, сказать, жемчужина, женщина первый сорт, мадам Кантапу. Редис в огороде квадратами садит, по счету. Ну, хозяюшка, ну, жена!.. Сейчас, правда, пятый год вдовеет. Так ведь все еще покойнику за столом прибор ставит. Никогда не забудет. И абсенту рюмку нальет. Откушает сама — его рюмку назад выльет в графин, до завтра.

Правда, есть у ней одна, сказать, вполне бесполезная слабость. Да и та не каприз — опять уважение покойнику. Подарил ему, вишь, кто-то лебедя, и привязался он к нему, как к собаке. Вот хозяйка теперь зря эту птицу и кормит. А что пользы? От него ни цыплят, ни яиц. И прозвал же лебедя господин Кантапу — язык вывернуть: Нео-пто-лем. Да, на этот дом стоит взглянуть! А мне туда, кстати, починку снести.

Старик нырнул под своего «Генриха IV» и вынес узелок.

По узкой дорожке дошли до исторического вала, напоминавшего ограду Новодевичьего монастыря, и старик сказал:

— Я бы здесь, мосье, хлопнул стаканчик. А? Единственно для здоровья...

Ваксин дал франк, и старик тотчас исчез в синем дыму глубокого погребка, где за мраморным черным столом шла азартнейшая игра, хлопали пробки и

бегал гарсон с «боками» пива и какой-то ярко-зеленой отравы.

Старик вернулся веселый, обрадовал Ваксина:

— У меня, мосье, в кишках прямо огонь! И какие дураки и молокососы против аперитивов кампанию было подняли? Вред, алкоголь... А наши продавцы, спасибо, изловчились, взяли да подсыпали на сантим медицины, всем и заткнули глотки. И сейчас, мосье, пьем мы не простой «rossi», «byrrh'a», а «byrrh quinquina» или «rossi oxiéné»! Если с хиной, говорим женам, — значит, лекарственная. Обернулись, дьяволы! Пьем и, что греха таить, напиваемся. Однако, мосье, как вы именно хотите наш город смотреть? Направо пойти или налево? Направо, в конце валов, будет старая кордегардия с башней, где для примера на долгий срок вешали преступников. Сейчас же налево — кладбище. Я бы вам, мосье, показал один монумент... раз зашла у нас речь о женском вопросе.

— Пойдемте налево, — выбрал Ваксин, — и покажите монумент.

Через одну из квадратных башен вала они вышли за ограду, и рядом с церковью, на почетнейшем месте, Буриган указал Ваксину два огромных мраморных памятника под общей оградой.

На одном стояло:

Единственному супругу — нежная супруга
Элиза Гарнье.

На другом кресте начертан был год рождения самой Элизы Гарнье, ее имя, и для года смерти оставлена соответствующая пустота.

Пока Ваксин читал, Буриган хихикал, подмигивал, наконец, подтолкнув локтем, выкрикнул:

— Эта Элиза Гарнье — преживехонька! У нее макаронная фабрика в нашем городе, отличный доход. Ну, история...

— Вторая жемчужина, — усмехнулся Ваксин.

— Не иначе. Вообразите, мосье, кто же так любил мужа, что не только ему — и себе памятник закатить? Золотом по белому. Из Гаварни мрамор волокли. И не будь у этой женщины макаронного заведения, все бы честь честью. Только, шалишь, и наш брат не простак. Старший мастер ей втерся в доверие, все дело зажал в кулак, да и посватался. Она — отказ. Он — уходить. Грозит разорением... Женщина, натурально, в мужском деле ни бельмеса, а тут соседи кругом: «Выходите, мадам Гарнье, вы еще в теле, не вечно вдоветь!» Скоро дознались: и сама бы очень не прочь, да, вишь, этот памятник...

Вдова, оказалось, на том свете мужа боится, новый кюре к тому же держит сторону покойника: обещание, говорит, не гвоздь, здоро́во живешь слово менять — ад мостить. Весь город знает, что написано мужу: «единственный»; мужья ее в пример нам же ставили, девицы стих сочинили.

Однако двинемся побыстрее: мадам Кантапу, не ровен час, уйдет корову доить.

III

Просторная комната, вся в памятках из Лурда, фотографиях, уснащенных белыми лентами, цветами и тюлем, изображавшими «первое причастие» самой мадам Кантапу, детей ее и племянников. В большом

венке сухих иммортелей — последний портрет покойного Кантапу с жирным лебедем на коленях.

— Неоптолем! — шепнул Ваксину Буриган.

Против света на диване, поражая слишком прямой спиной, сидела мадам Кантапу, окруженная хозяйками города. На большом столе перед ней были сложены стопочкой красные вязаные шляпки с длинными ушами, различных размеров: для мулов, ослов, для огромнейших першеронов. По обычаю страны, в жаркий день здесь хороший хозяин не пустит «свое животное» без головного убора. В городке же единственной поставщицей «звериных шляп» была не кто иная, как мадам Кантапу. Сейчас она не вязала. Перед ней из огромного клубка вязальной бумаги печально торчали спицы; вокруг нее вздыхали соседки.

Увидя Буригана, мадам Кантапу поднесла к глазам белый платок и стала всхлипывать. Соседки заохали. Одна подошла и сказала:

— Какое горе, мосье Буриган! Собака нового почтальона разорвала несчастного Неоптолема.

— О, это горе, настоящее горе... — чуть всплеснула руками мадам Кантапу, и голова ее, белоснежная, в черном чепце, качнулась от рыданий. — Теперь я совершенно одинока. О, крылатый мой друг...

Сапожник Буриган, растроганный горем мадам Кантапу, сказал:

— Я готов безвозмездно сколотить вашей птице липовый гробик. У вас в саду будет своя могилка, мадам Кантапу.

Мадам Кантапу вытерла глаза, еще прямее откинулась на спинку дивана и сказала с достоинством хозяйки, задетой бестактным вопросом:

— Но мне совсем нечего зарывать. Я сама ем останки Неоптолема. Чудесное мясо, около двух кило. Мне хватит на несколько дней!

Соседки с жадностью, перебивая друг друга, спросили:

— На что это мясо похоже, мадам Кантапу? Вроде утки? Вроде кролика?

— О, много нежнее. Ведь он был молод и прекрасно откормлен, — сказала с гордостью хозяйка.

— А крылья, мадам Кантапу? Ведь лебединые должны быть удобнее для пыли? Хоть что-нибудь да получите, одного зерна он вам сколько склевал!

— О крыльях я сразу подумала... Но прежде надо их высушить, выветрить. Мяса же было немало, оттого что проклятый пес поспел перегрызть ему только горло. О, его белая, его лебединая шейка!

Мадам Кантапу опять приложила к глазам свой платок, опять соседки вокруг дружно стали вздыхать. Ваксин с сапожником вышли.

У Буригана был сконфуженный вид. Ваксин сказал:

— Однако хороша эта Кантапу — любила, любила и съела!

Буриган пожал плечами:

— Мужчине, конечно, до этого не додуматься. Дурак и я, с гробиком сунулся — дайте останки. А останков-то нет...

Он захохотал и продолжал с восторгом:

— Кантапу, верно, и кости припрятала. Весной пережжет, огород удобрять. Слыхали: лебединым крылом лучше пыль вытирать, чем куриным. Ну и шельмы наши бабы! Пойдем, выпьем за них! Выходит, мосье, я вам показал даже больше, чем обещал.

Вошли в брассери, как две капли похожее на первое. Буриган опрокинул в рот залпом, крякнул и окончательно повеселел.

— И сказать, мосье, что эта Кантапу для своей птицы носила в кармане особенный гребешок, ей пузо расчесывать! Ведь если не плавал, ходил он за ней следом, ну, ровно пес, а она съела его... Да, хозяюшка!

— И такой-то вот женщиной, по-вашему, все и держится? Нет уж, по мне, молодые лучше...

— Молодые? — заревел Буриган. — Эти кукушки бездетные? Да мадам Кантапу вывела в люди шесть сыновей, за стол в праздник сядут, их, мосье, вместе с внуками человек тридцать. И дом у нее без долгов. А я дочку в Тулузе спрошу: «Когда же меня, старика, внуком обрадуешь?» Она и уши заткнет: «Мы теперь поумнели, нам в этом деле больше трудов, чем мужьям. Еще очень подумаю, делать мне тебе внуков или нет!» То-то вот...

А что население вымирает, ей это, мосье, наплевать. А я громко скажу: без детей баба — шар без балласта. Вспорхнет — лови ее. И еще повторю: дрянная это вся мода — под Жанну д'Арк: ни косы, ни семьи, голоногие, бритолобые — тьфу! И к тому же, мосье, разница: как она, *эти* никогда нам страны не спасут.

ЛЬВИЦА ЛЮСИ

Это было в прошлом году, на границе Испании, в небольшом французском курорте, в те дни, когда перед зданием лечебных ванн газетчики выкликали имена знаменитых тореадоров — победителей в последнем бое быков.

Французы, браня жестокие нравы испанцев, им, конечно, завидовали и для отвода души ждали кочующий цирк Молина́, уже оповещенный большими афишами.

Утро было туманное, но облака, закрывая горы, казалось, намеренно расступились на самой вершине, чтобы щегольнуть великолепным «Отелем снегов», где самые богатые в мире лодыри без устали дулись в теннис.

Внизу, на бульваре, чистильщик сапог Луиджи Феррато бранил всех святых за плохую погоду, которая, предполагал он, оставит сегодня в смысле доходов его на бобах. Если туман не пройдет, больные обойдутся без ванн и обувь вычистят дома.

Русский врач Туриков, приехавший из Москвы для изучения курорта, по знакомству с директором при-

ставлен был частным образом надзирать за бассейном плавания малолетних. Эта должность давала ему право лечиться бесплатно целебными источниками, бродить по горам и вести дружбу с Луиджи Феррато.

Сегодня, когда Туриков шел очень рано с окраины города к великолепному зданию серных вод, по аллее старых платанов, улица, как всегда, не взбежала вверх на зеленую гору, а уперлась в облако мглы. И много ближе, чем в ясные дни, черным свистящим зверем взлетел в этой мгле вагончик фуникулера «Отель снегов».

Уборщицы, в крепко зашнурованных корсажах и неудобно сборчатых юбках, мели улицы, не загребая сора, а толкая его перед собой мохнатыми щетками. У каждого дома своя длинномордая собака сторожила ящик с мусором и как бы сдавала его крючнику-испанцу. Жирный и черный лентяй, он сидел амазонкой на оглоблях тележки, запряженной парой крошечных осликов, крепких и серых, словно вылитых из свинца. Испанец опрокидывал сорный ящик в телегу, пес, подняв морду, оповещал лаем хозяина, что все в порядке, и уходил доканчивать свою кость или прерванную драку с соседом.

На бульваре старушки в круглых шляпах и белоснежных фартуках вязали в букетики разноцветные крашеные васильки, каких вовсе нет в природе. Их продавая, старушки исходили в уверениях, что такое разнообразие окраски здесь порождает сама пресвятая дева.

Как обычно, в этот ранний час появился на бульваре худой жандарм с барабаном. За ним просыпали

табуном ребята, и казалось, что у них с жандармом игра. Он перед каждым большим отелем вспрыгивал на скамью и, как заяц лапами, бил палочками в барабан. Собрав толпу, он разворачивал большой лист и древним герольдом громогласно выкрикивал о том, какие колье, брошки, портфели и сумочки утеряны рассеянными ситуайенами за истекший день на бульварах. Порой жандарм в скобках давал пояснения — в толпе дополняли.

— Дамский шелковый чулок... А спросить, почему именно потерян один чулок, а не два чулка? Не успела она снять второй или она об одной только ноге?

— Или в префектуре жандармская кума взяла себе на починку?

Как всегда, на тротуаре дрались коты и собаки, и ленивая южная публика ставила на победителя персики. Собачьи персики на скамейке справа, кошачьи на скамейке слева. Кучи росли, страсти разгорались; в тотализатор вовлекались приезжие испанские монахи с профилем Савонаролы. Звери сцепились, победила кошка, а собака, поджав хвост, уползла под скамью. Собачьи персики разделили между собой кошатники под смех и шутки проигравших собачников. Легка и невинна жизнь теплого юга в цветущий день, когда ожидается урожай винограда, когда у каждого рядом с чистым домиком есть кукурузное поле, и фруктовый сад, и голубятня с любимыми мохнатоногими голубями.

Из древнеримских терм вышла первая партия отпарившихся в серных ваннах, и газетчики, боясь прозевать доходы, ринулись на отдувавшихся толстяков, как разбойники. Издали кажется, они нападают, чтобы

заколоть, но, внезапно раздумав, не свершают насилия и дают за сантимы газету. У каждого свой выкрик, свой заарендованный покупатель: «Эхо Парижа» — с брюшком, для противовеса далеко назад откидывая голову с бурбонским носом, с важностью, точно раздает ордена, сует сверху вниз свой листок, — его берут расслабленные ваннами знатные старички. Есть республиканские, есть радикальные газеты, неизбежный «Petit Parisien» и журнал-сводник «Le Sourire». Но «Humanité» здесь не водится.

Отзвонила ранняя обедня, помчались на велосипедах к термам аббаты; у них длинные сутаны в складках, как юбки, шелковые пальто-размахайки и ленточки на широкополых шляпах. Весь аббат — раздутый черный пузырь.

Разошелся туман. Больные пошли брать свои ванны, и Луиджи Феррато перестал клясть святых, теперь ему предвиделся верный доход ото всех мимо мелькающих ног. На обратном пути из ванн, знал он, эти черные, желтые, белые туфли пойдут домой медленно, их обладатели будут высматривать на скамьях перед заигравшим оркестром своих дам и с удовольствием вытянут ему на подставку ноги. Развеселившийся Луиджи только что принял участие в остротах по поводу найденных жандармерией вещей, как вдруг в глубине аллеи платанов появились рысаки с бедуинами в белых бурнусах. Бедуины подняли сверкающие трубы последнего пришествия и вострубили. Прорезая голубой дым разбежавшегося перед солнцем тумана, помахивая головой в такт оркестру, выступал гордо верблюд за верблюдом. Четверка коней тащила площадку с огромными клетками, где за решеткой си-

дели тигр, лев и гиена. На самом верху, кланяясь во все стороны, в синей юбке и красной кофте сновала мартышка. Арлекин с высоты горба дромадера возвестил программу представления сегодняшнего вечера. В шальварах, в тюрбане, с арсеналом оружия за поясом, директор, избоченясь на зебре, кивал снисходительной публике.

— Это он, — прошептал Луиджи, до боли, как клещами, сжимая недочищенную ногу Турикова. — Это тот самый цирк, где я недавно был львицей. Я сам...

Туриков нагнулся к Луиджи, чтобы разобрать, в бреду это он или выпивши. Но тот в страшном волнении повлек его под руку.

— Пойдемте, мосье, в кафе, здесь, на улице, неудобно рассказывать.

Луиджи собрал свои несложные принадлежности и в глубине ближайшего кафе уселся вместе с Туриковым. Спросили два бокала пива, и Луиджи сказал:

— Мосье. я вам чищу туфли скоро два месяца, я прекрасно постиг, что вам можно довериться. Больше того, я полагаю, мосье, вы не откажетесь быть моим помощником в одном добром деле: вы стоите в том же отеле, что и толстая рантьерша из Тулона; мы, чистильщики, прозвали ее «тулонской индюшкой». У нее есть племянница Зоя... Ее мать была цыганка, завезенная во Францию чуть ли не из вашей страны; эта прекрасная особа была не слишком почтенной жизни — и вот, во искупление ее грехов, «тулонская индюшка» замыслила отдать Зою в монастырь... Мосье, вы должны мне помочь, у нас времени сущий пустяк. Я сейчас иду обрабатывать моего кума, директора

цирка. А вы, мосье, надев ваш белый фартук медика, там, в термах, отзовите хитренько Зою от «тулонской индюшки» и ей скажите так: «Не ускоряя шага, немедленно идите, Зоя, к фуникулеру, там ждет вас Луиджи». Идет? Не подумайте, мосье, что я сумасшедший, напротив того, я — человек, спасший свой ум. Я, мосье, не кто иной, как неаполитанец, удравший из Италии от фашистов. Вместо того чтобы глупеть вместе с моими земляками и лизать пятки дуче, я, приговоренный к тюрьме, такую сыграл ловкую штуку... что начальству до сих пор приятнее думать, что я обошел правительство подкупом, а не обдурил его исключительно собственной изобретательностью. Замечательный директор цирка на полосатой зебре — мой закадычный друг. Это он вывез меня из Италии вместе со своими львами. Вы, конечно, спросите: «Каким способом, Луиджи?» Но про способ молчание... Этот способ еще сослужит немалую службу моим землякам. Если это бесспорно, мосье, тот же цирк, тот же директор, то при них, не правда ли, и все тот же необыкновенный способ переправки за границу людей, не имеющих на то прав? Итак, мосье, вы скажете маленькой Зое: «Немедля к фуникулеру, Луиджи там ждет!» Вашу руку, мосье...

Туриков, подходя к термам, уже жалел, что связался с Луиджи; он ведь нарочно вышел раньше, чтобы полчаса до открытия ванн провести под землею для осмотра новых источников такой необычайной радиоактивности, что маленький, быстрый как ртуть директор курорта заверял больных: «От них вы помолодеете скорее, чем от модных операций русского ученого де Воронóф».

Но сейчас, заговорившись с чистильщиком сапог, Туриков явно опаздывал в термы: то и дело его обгоняли, торопясь в «горловую» залу, курортные пижамники. Они первые торопились на горловое лечение. Туриков знал их несложный секрет: у всех завелись здесь романы, и надо было так подогнать, чтобы избежать встречи со своим предметом до «столика с лебедем». Так в лечебнице окрестили прибор для вдыхания горячих серных паров. Французы разнообразного социального положения превеликие франты и всего больше на свете боятся быть ridicule,[1] хотя смешной моде подражать будут рабски. Оттого, что модно ходить на вдыхания в разноцветных пижамах, — по утрам старцы и юноши неслись к термам преяркими попугаями.

В зале ожидания, как всегда, сидела кассирша, важная и сердитая. Туриков настроен был психологически и подумал: кассирше легче других смертных быть введенной в обман своей призрачной властью — без прощелкнутого ею билета в залу серных паров никому не пройти, отсюда у них повсеместно уважение к самой себе и своей сидячей должности.

В полную противоположность кассирше — здесь особое существо, которое во Франции до седых волос кличут — «гарсон». Он уважает уже не себя самого, а каждого вошедшего с билетом, которого провожает любезно к свободному месту. Хотя гарсон не менее необходим, чем кассирша, — в жизни сидеть выходит почтенней, чем бегать.

---

[1] Смешными *(франц.)*.

Но без гарсона свободного места ни за что не найти среди несметных горловых, сидящих за отдельными столиками. Издали похоже — экзамен по письменному, но вблизи нелепость положения вдыхающего горячие пары вызывает невольно улыбку — причина, почему молодые «па́ры», заинтересованные друг другом, стремятся вдыхать в разночасье.

Горловик сидит, раздвинув локти, как крылья, багровеет и обливается потом, как бы подавившись огромнейшей белой птицей. К туловищу этой птицы — белому резервуару, охлаждающему пары, прикреплена длинная труба, изогнутая наподобие шеи лебедя; труба кончается расширением для рта. Чтобы пары не остыли, место, где происходит встреча рта и трубы, прикрыто салфеткой, от чего впечатление, что голова птицы застряла во рту больного.

Туриков, облачившись в белый халат, избрал себе пост ожидания «тулонской индюшки» недалеко от входа в «потелку», у исторических камней — раскопок, гордости местных жителей. Историк относил происхождение этих терм к временам Тиверия. В особо приложенном к камням аттестате, ради поблажки вкусу французов к истории каждого клочка Франции, шло подробное восхваление терм с пафосным отступлением составителя.

Аттестат терм с гордостью читал вслух аббат: здесь блистали таланты и доблести Рима, почерпая в источниках свежие силы на борьбу честолюбий, сюда убегал Октавиан Август от нескромных взоров придворных с прекрасною женою Мессены...

Но, увы, сарацины, варвары и горные обвалы разорили целебные струи. Настало средневековье, теология

подчинила себе медицину, и люди стали лечиться канонами. Но сила ключей была так сильна, что пробилась наружу, и «Горячее озеро» всплывает снова в истории, уже как владение мальтийских рыцарей. В XVIII веке исцеление вельмож и фавориток Людовика прославляет вновь воды.

Маркиз д'Этиньи устроил здесь термы и зазвал Ришелье. Для приезда «дюка» сделали насаждения — аллеи из лип. Но «грубые» крестьяне, рассердившись, что часть их лугов отошла под аллеи, вырвали ночью все липы. Маркиз д'Этиньи вызвал эскадрон драгун и заставил «темное население» уважать культуру.

На приложенном плане были отмечены крестами уцелевшие деревья двухвековой посадки.

Мимо Турикова проплыла в свою «потелку» толстая дама из Тулона, за ней следом «змеистая Зоя» — так прозвали ее горловые, — потупив глаза, как предписал ей, должно быть, аббат, пронесла черный сак своей тетки. Туриков, верный наказу Луиджи, догнав рантьершу, предупредительно предложил Зое указать новое помещение для нагревания простынь. Оставшись на минуту вдвоем, Туриков, топчась перед Зоей, неожиданно смущенный ее глазами дикой лошади, сказал ей вдруг тем стремительным тоном, каким на сеансах приказывал своим алкоголикам-пациентам заснуть:

— Идите немедленно к фуникулеру. Луиджи вас ждет. Дело важное, ставка на вашу свободу. Когда будете в Испании, не забудьте прислать мне благодарственную открытку.

— Я в Испании... вы смеетесь, мосье. И что скажет тетушка, если я уйду.

— Я обработаю вашу тетку. Идите, он ждет.

Зоя обвела Турикова еще раз необыкновенными глазами дикой лошади и прошептала:

— Я вас не забуду, мосье.

По напряженности ее шепота Туриков понял ее волнение и вдруг завистливо подумал, что сам мог быть на месте Луиджи.

Черт знает что: изо дня в день он видал эту девушку, знал ее грустную судьбу и был ко всему равнодушен, но едва славный парень ввел его мимолетным участником в свой роман, как он сам захотел стать героем этого романа.

Для восстановления чести Турикова, как серьезного научного работника, необходимо прибавить, что едва цыганка Зоя с необыкновенными лошадиными глазами, не обернувшись ни разу, исчезла за дверью, он, уже привыкший многие годы точной формулировкой отделываться от своих чувств в угоду разуму, прибег к этому средству и сейчас.

«Я полагаю, — сказал он сам себе, — все дело в обыкновеннейшем атавизме — битва самцов за обладание. Одним сделан выбор, и вечный страх за утрату своей мужской свободы вдруг заменяется у другого древним соревнованием».

Сформулировав, Туриков твердо прошествовал к своему месту надзора за бассейном подростков. Понаблюдав, как барахтались в гнусно пахнувшей серной воде малолетние дегенераты, он решил навестить «тулонскую индюшку» в зале «китайских пыток».

Эта форма лечения состоит в том, что человека сажают в ящик и наглухо задвигают крышкой с отверстием для шеи. Кубы с торчащими головами стоят

недалеко один от другого — мужские головы, в очках и пенсне, философски следят за течением песочных часов; головы женщин ссорятся с банщицами и, неумолимо треща, вертятся во все стороны. Тетка Зои, без кружевной наколки и притираний, торчала из ящика, как побагровевший от злости кочан.

— Зоэ́, где мои туфли? Зоэ́! О, мой пузырь со льдом!

Не в силах поправить свисший на веки пузырь, тетка злобно зашлась:

— Негодяйка, гулящая, ловите ее...

Туриков бросился в коридор к директору и сказал шепотом:

— Я не раз наблюдал у этой тучной женщины из Тулона прилив крови после «потелки». Прикажите свести ее для успокоения в одиночную камеру.

Банщицы увели сердитую даму, а Туриков, как юноша, полетел на бульвар, прямо к месту, абонированному Луиджи-чистильщиком. Ни щеток, ни мази, ни его самого и в помине там не было. Старуха цветочница, словно угадав глупое состояние духа Турикова, предложила ему как киноварь красных васильков, клянясь, что они разрешают от внезапной несчастной любви. Туриков цветочницу по-русски послал ко всем чертям и, рассердившись на самого себя, на Зою с Луиджи, пошел к фуникулеру.

Еще был туман, и, несмотря на объявление «Отеля снегов» о даровом угощении, вагончик первого класса был пуст. В последнюю минуту машинист-испанец, черный как черт, продернул под колесами какие-то проволоки и завязал их узелком, и Турикову показалось, что это и есть самое главное, отчего два вагона,

подталкиваемые паровичком, стали подниматься почти по отвесу. Вагоны крашены в желтое с черным, и когда они медленно лезут на гору из долины, где город, они кажутся огромной гусеницей. Вместе с вагонами полз кверху лес, густой и мохнатый, как зеленое овечье руно. Вдоль самых рельсов земляника невиданных размеров звенела ягодами, налитыми и красными. Над земляникой внезапный порыв синего неба и снежные горы. И на высочайшей скале, спиной ко всем чудесам, две немки, не подымая глаз, скоро-скоро перебирали спицами свой Strickzeug.[1]

— Вот индюшки, — сказал кондуктор-француз, разрешая невинно вечную жажду реванша. — Ну, стоило для этого забираться под вечные снега?

На плоскогорье столб с выпуклой картой гор под стеклом, около столба — зобастый однорукий карла продает сувениры.

— Красота природы и уродство человека, — охватывая театральным жестом снежные горы, немок и кретина, сказал тот же кондуктор. — Это философия, мосье...

А Туриков подумал, что здесь, на высоте восьмисот метров, природа живет своей жизнью, у нее тут свои дела, человек у нее в гостях. Здесь она вне его подчинения. Вот опять все съел туман — отель, коров, горы; съел, закружился, понесся, как в музыке Вагнера.

«Надо чаще подниматься, чтобы не мельчать, если не сказал, то мог бы сказать Гете», — кого-то пародируя, сказал сам себе Туриков, ухмыляясь, чтобы не походить на декламатора-кондуктора.

---

[1] Вязанье *(нем.)*.

А в отеле шел вовсю чарльстон, и в оркестре слышен был тот единственный инструмент, что во всех кабаках Франции умеет рыдать о погубленной жизни.

Зобастый урод, подойдя к Турикову и сравнявшись головою с карманом его пиджака, конфиденциально сказал:

— А в отеле мулат уже пляшет с другой. Та Мари, которая всегда откалывала с ним, уже мертва, она на днях сделала аборт и умерла. Но мулат, говорю я вам, тот же, только пляшет с другой.

Туриков не пошел в отель, ему противен был и губастый мулат с его новой дамой и американки, от обилия долларов почти добрые, с бриллиантами в зубах и ногтях.

Туриков побродил по горам и спустился в долину обратно. На закате солнца он шел домой мимо горной речки. Зелено-голубая, захлебываясь белой пеной, она ворчала, ворочая гладкие камни. Туриков полюбовался на плакат с высокостильным запретом мэра города, охранявшим чистоту ее вод. Большими готическими буквами напечатано было на белой доске: «Граждане, не бросайте своих нечистот в прекрасное ложе реки».

За рекой зеленел яркий луг, амфитеатром взбегали скамьи зрителей, на высокой лесенке, как петух на нашесте, громоздился арбитр: шло финальное франко-испанское состязание в теннис. Дальше, за шумным скопищем, бежали неохватные газоны, все в столбиках, с красной дощечкой и с ямкой для мячика — грандиозная игра в гольф. Здесь престарелые дипломаты всех стран, всех народов, в гриденерлевых панталонах, шуршали манекенами по траве; со сто-

роны казалось — они от времени до времени теряют в газон свои челюсти, потом, сделав стойку, их тщательно выискивают. И смешно, когда краснокуртные гольфные грумы подают им не зубы, а мячик.

Смеркалось совсем, когда Туриков подошел к дверям своего отеля: к удивлению, его ждал там Луиджи. Делая пугающие глаза, приложив палец к губам, чтобы Туриков его не спрашивал громко, Луиджи провел его ко второму двору и ткнул пальцем в заборную щель — смотри, мол.

Туриков приложился и стал покорно смотреть, совершенно не понимая того, что увидел.

На небольшом дворике, куда дом выходил одними слепыми окнами, посредине, на старых каменных плитах, лежало полено. Над этим поленом сидела на обыкновенном стульчике-плиян, который пожилые dévotes[1] берут с собой в церковь, «тулонская индюшка», тетушка Зои. Рядом с ней, опираясь на палку, стоял круглый домашний аббат. Он говорил ласково, но голосом дрессировщика, не допускающим ослушания: «Еще, еще раз, дитя мое...»

Зоя, подошедшая от колодца с коромыслами и полными ведрами, как во сне брала их одно за другим и лила на полено. Тетка крестилась, возведя глаза к небу, и возглашала:

— Да вменится ей это святое послушание во оставление грехов...

— Еще раз, дитя...

Луиджи отдернул Турикова от забора и помчал за собой.

---

[1] Богомолки *(франц.)*.

— Боюсь собственных рук, — рычал он, — если б это не было в самый в последний... я бы прыгнул туда, как пантера, и вылил бы Зоины ведра им прямо на головы... Но сейчас это не входит в наш план.

— Быть может, я плохо разглядел, — лепетал Туриков, — но ведь это бессмыслица — Зоя поливала не куст, а бревно?

— Мосье разве не знает, что испытание послушанием идет в счет только тогда, если оно окончательно лишено всякого смысла? У «тулонской индюшки» кузина была известной кармелиткой, а в монастыре подобное в моде. Вот тетка и задумала еще до совершеннолетия спихнуть туда в послушание Зою. Это полено — у них предварительное обучение. Оно длится уже несколько дней, но сегодня я сам настоял, чтобы Зоя была тише воды, ниже травы. Ведь не далее как через час она будет совсем на свободе, а утром послезавтра перевалит с цирком в Испанию, за границу. Мы порешили ее переправить тем же способом, каким вывозим из Италии недовольных... что касается меня, я пробираюсь легально. Идите на вечернее представление в цирк, мосье, и до скорого свидания...

Отойдя, Луиджи свистнул с легкой руладой, что, конечно, было условленным с Зоей сигналом, что все обстоит как задумано.

Цирк был в самом конце, за городом, где продавали рядом персики и чеснок, где лепились друг к другу лавчонки с губками и люфой, а на тротуарах стояли жаровни. На них, потрескивая, жарились каштаны. Огромный круглый сарай с скамьями в пять рядов, сколоченных наспех, вроде как с нашестами для кур,

был цирк. Нашесты дрожали и прыгали под каждым новосадящимся, а мальчишки еще в придачу, встав во весь рост, делали «бег на месте», угрожая крушением всех подпор.

Выбежал клоун с ослом, крича во все стороны:

— Наше ослиное почтение всему здешнему цветнику: розам — мамашам, бутонам — дочкам и папашам — увы, неизбежным шипам!

Клоун подложил ослу под хвост свою шапку, и тотчас, испуская звуки, осел, мотая башкой, забегал вдоль барьера.

Вострубили трубы, забил барабан, затрещал и вспыхнул бенгальский яркий огонь. На середину выехала большая клетка диких зверей. Лев, только что спавший в темноте, зажмурясь, зевал во весь рот. Укротитель по-хамски куражился над зверем. Звеня при каждом движении бубенцами расшитой куртки, он сел на льва, выкурил папироску и, растянув до ушей ему пасть, бросил в нее, как в пепельницу, окурок. Этим способом он, очевидно, желал показать степень своего надо львом превосходства. Лев спокойно выплюнул папироску и опять стал зевать. В клетку на брюхе вползла гиена и принялась лизать укротителю руки. Он избоченился и засвистал на весь цирк фокстрот.

Весь свет теперь направили на соседнюю со львом клетку, где, как мешок с овсом, спиной к публике, не дрогнув, продолжала спать львица. Под звуки оркестра, подхватившего свист укротителя, вошел к львице высокий курчавый негр в огненном костюме. Он схватил львицу за передние лапы, положил их себе на плечи и пустился в пляс.

Зрители завыли, а лев, видя, что львица движется, пришел вдруг в страшную ярость. Туриков подошел ближе к клетке. Его поразил мертвый хвост танцующей львицы, ее деревянные ноги, ее недвижная морда в тех редких и быстрых поворотах, когда она не могла быть спиной к публике. Лев продолжал волноваться и все свирепей рычал на фокстрот. Наконец он с такой яростью стал бить по клетке то хвостом, то лапами, что угрожал ее вдребезги разнести. Директор крикнул:

— Огня!

Перед клетками стали снова жечь бенгальский огонь. Но он, по-видимому, отсырел, потому что, прежде чем залить цирк своим огненным заревом, напустил уйму дыма. Одновременно множество женских голосов завопило:

— Горим...

Стоя у самых клеток, Туриков слышал, как львица, изо всех сил стиснув шею негра, вдруг пронзительно вскрикнула:

— Луиджи...

— Львица задушит негра. Убить ее! — заорал мясник с крайней лавки.

Кто-то сдуру бахнул. Львица и негр упали. Толпа в истерике неслась к выходу, опрокидывая все пять рядов.

Треск, вой, темнота, скрип отъезжающих вглубь клеток со львами. Потом снова свет, полисмен, допрос директора цирка.

Великолепный директор, кум Луиджи, в костюме бедуина, делал вид, что не понимает по-французски, и скалил, несоответственно трагичности момента, свои

белоснежные челюсти. Вместо ответа полисмену он свистнул, и снова въехали обе клетки. В одной по-прежнему во всю пасть зевал старый, скучающий лев; в другой — спала спиной к зрителю спокойная желтая львица. И публике сделал ручкой, как амур, улыбаясь под стать директору, завитой черный негр.

— Жив, дьявол...

— Жив, жив! Это, ситуаены, оказывается, был трюк, капитальнейший трюк.

Но полисмены уже писали протокол за опущенный в анонсах номер, угрожавший спокойствию зрителей. А за создание паники обложили директора штрафом и взяли подписку о скорейшем выезде цирка.

Туриков в смутном волнении кинулся в уборную цирка — перед дверями толпился весь рынок, никого не пускали. На минуту выглянула из дверей голова негра и скрылась. Турикову показалось, что негр уперся именно в него узнающим, особенным взором. И правда, следом вышел директор цирка и, подойдя к Турикову, как к хорошему знакомому, сказал:

— Вас нам и надо, господин доктор, пожалуйте.

Туриков еще не собрался с мыслями, как оказался в тесной уборной, которую немедленно щелкнули на запор. Перед ним в кресле сидела бледная Зоя, у ней из руки капала кровь, и неумело с бинтом хлопотал негр... Ну конечно, Луиджи.

— Какое счастье, доктор, что вы подошли — этот болван всыпал дробью нашей львице Люси.

— Ранение пустяковое, — сказал Туриков, — но вот, признаюсь, сама львица возбудила мои подозрения. У нее ноги и хвост уж не из того ли святого полена, что поливала с усердием Зоя?

— Не клевещите на трюковой номер, при удаче и в первом ряду не бывает сомнений: сошло — первый сорт. Спасаясь от фашистов, я сам был этой львицей Люси. Барабан бьет, бич щелкает... Если б эти идиоты не заорали: «пожар», — все прошло бы и здесь как по маслу.

— Ах, я подумала — цирк горит, и меня вернут снова к тетушке.

У Зои закапали частые слезы, как дождь, Луиджи успокаивал Зою, Туриков делал перевязку, а кум-директор разливал всем в бокалы mousseux.[1] Он так искусно на диване расправил львиную шкуру, в которой была только что зашита на номер «Роковой фокстрот» черная Зоя, что львица смотрела, как живая, зелеными глазами и в улыбке скалила зубы.

— Она спасла уже шесть молодцов, а из женщин, надо думать, самую милейшую — нашу Зою. Да здравствует защитница храбрых — львиная шкура Люси!

Наутро в термах только и было разговора, что об исчезновении Зои и чистильщика сапог Луиджи. Досужие кумушки, успевшие подсмотреть их роман, видели своими глазами, как оба садились на поезд в Париж. Это их наблюдение кстати сбило поиски на ложный путь.

А тулонскую даму успокоил аббат, объявив ей немедленно, что в искупление измены Зои, которая предпочла бегство с Луиджи спасению души, ей самой предстоит монастырь. В расстроенных чувствах толстая дама теперь уже сама поливала ежедневно полено.

А Туриков беспокоился больше, чем хотел себе в том признаться, о судьбе львицы Люси, пока не полу-

---

[1] Шипучее вино *(франц.)*.

чил от Луиджи фотографической карточки с многочисленными испанскими марками на конверте. Луиджи сообщал, что повенчан с Зоей законным браком и что оба продолжают успешно работать «негром и львицей» в прилагаемом ударном номере труппы — «Роковой фокстрот». На фотографии мертвая львиная голова кокетливо была откинута, как капюшон, и в туловище львицы улыбалась живая Зоя.

И была в письме приписка рукой Зои: «Милый доктор, поскорей рассейте мой страх. Боюсь, что у меня появится на свет не ребенок, а львенок».

В АВТОМОБИЛЕ

Нравы южной Италии несколько отличны от римских. Здесь уже нет наигранного обожания Муссолини, ни введенного им помпезно-классического стиля, которым пишется в Риме даже трамвайное запрещение — «Per l'honore de l'Italia non bestimare e non fumare» (ради чести Италии не ругаться и не плеваться).

В трамваях Неаполя предлагают не предаваться этим непривлекательным занятиям уже без всякого древнеримского жеста — ради одной рациональной «mesura igienica».[1]

Как бы там ни было, самое поразительное — это то, что вся Италия, от севера до юга, больше не ругается и не плюется. Впрочем, она же и не поет, не смеется, не спорит.

Прежде в остериях бывало жарче от споров, чем от кианти. Кто бранил короля, кто папу, кто обоих вместе. Сейчас и мнения и оценки запрещены и бранить

---

[1] Гигиенической меры *(итал.)*.

персоны, ставшие священными, небезопасно: вблизи Италии немало вполне уединенных островов.

Запрет мнений и споров из всех витрин своими «кинжальными» взорами возвещает сам «дуче». Хотя здесь портреты его не заслонили, как в Риме, и древности и музеи — их все же немало.

То Муссолини — гигант Гулливер, и даже заслуженные люди (отмечены профессии, имена) ему всего на все по колено. То он пред своей casa natale[1] (дом как дом). То он с лопатой что-то закладывает, то будто что-то докладывает в облачениях: черном, белом, спортсменском, фашистском и даже символическом, коронованный «вечной славой». Намеренно похоже на известную картину Давида, ибо Наполеон — тот образ, на который художники и фотографы всячески «натаскивают» общеитальянский, обыкновенный лик вождя.

Но, как иная красавица, увлекаясь косметиками, теряет в обращении с ними всякую меру и глаз, так приверженцы, демонизируя облик Муссолини, в конце концов превратили его глаза в такие непомерно огромные черные «сверла», что портреты его воспринимаются как цирковые анонсы «ми-ро-во-го гипнотизера».

Так смотрит он из клетки, где снят вместе со своей прирученной львицей — «con la sua leonessa». Эта замечательная картинка находится на одном листе с популярнейшим итальянским святым — Франциском Ассизским. «I due Geni dell'Impero Italico».[2]

Сам же лист из книжки, озаглавленный здесь, где

---

[1] Родной дом *(итал.)*.

[2] Два гения итальянской империи *(итал.)*.

на ста страницах высокопарного текста проводится с забавной натяжкой параллель между обоими: Франциск Ассизский говорит свою знаменитую проповедь птицам, Бените Муссолини гладит свою львицу, которую окрестил «Италия».

На святом венчик, на вожде — котелок.

У Ватикана с «вождем» тонкая политика, и злые языки говорят, что этот опыт канонизации через уподобление популярнейшему святому не что иное, как «отдаривание» за те и иные «льготы».

Для того, кто знавал прежний Неаполь, или, как здесь шепчут, «свободный» Неаполь, внешняя перемена в нем велика. В городе был очень острый, свой колорит, вечный праздник, базар, где каждый пел, торговал, приставал. Где осаждали иностранца кораллами, крабами, кусочками лавы и прочей дребеденью, где мальчишки, если иностранец был тверд на подачку, становились вдруг — ноги вверх, и уже на руках сопровождали его всем табуном на смех публике, пока он не сдавался.

Сейчас никто не пристает, все благопристойно, сухо и чинно. Улицы чище, базар с Санта-Лючии загнан на окраину, нет запаха рыбы, чеснока и глициний, почему-то продававшихся рядом, — и вот, подите, «колорит» исчез.

И, как уцелевшие на пожарище столбы, так жалки здесь люди старого быта. Вот, укрывшись за камни, какие-то лаццарони, едва приметят форестьера, вскидывают вверх пригласительно руки, увешанные бусами и кораллами. Но, как ворон черный, юный фашенок, откуда ни возьмись, налетает грозой — и лаццарони, звеня бусами, смываются в переулок.

Не строже, конечно, чем в Риме, но строго и в Неаполе: вот верховой, охраняющий важное здание, пощелкивая языком, подозвал человека с рекламами, но только собрался у него взять газетку-кино, как новый безусый дозорщик выскочил из кустов и сделал верховому замечание. Правда, едва он отошел надзирать дальше, газетчик показал ему в спину рога и, подскочив к верховому, все-таки дал ему журнал.

Шепчут шепотом почтенные цифры вывезенных на острова «залитых касторкой» и эмигрировавших. Шепотом рассказывают, что еще не все покорено властью «дуче», что жива рядом исконная неаполитанская власть «каморры». И, к изумлению, иностранец узнает историю, совсем подобную той, что случилась еще с Герценом.

У бедного учителя музыки в его отсутствие украли рояль. Видя отчаяние человека, знающие люди ему посоветовали обратиться за помощью не в полицию, а к такому-то синьору, мяснику, что музыкант и сделал. «Мясник» сочувственно разъяснил, что его «молодцы» сделали работу по ошибке, и если рояль, точно, единственный источник дохода учителя, то пусть учитель отлучится опять дня на два — рояль будет на месте.

И действительно: рояль оказался на месте — в виде компенсации настроенный, и с приложением свертка новых нот.

Кроме «каморры», еще по-прежнему живут, не зная иных законов, кроме закона игры, неаполитанские ребятишки.

Ими кишит прекраснейший сад Villa Nazionale. Он протянулся по всей набережной, вдоль несравненного

Неаполитанского залива, похожего на изогнутую широкую арку гигантского лука. Здесь пальмы, те самые, что у нас растут в кадках, велики и сильны, а стволы у них как столбы. Когда две пальмы рядом — кажется, что это передние ноги необыкновенного зверя вроде слона. Ноги вот-вот шагнут вперед, и сам зверь выглянет из густой, перистой верхушки дерева.

Вероятно, пальмы наводят на ту же мысль и чернокудрых детей в разноцветных неаполитанских колпачках, потому что дети играют под пальмами в совсем особую, «слоновую» игру. Они садятся кучкой на землю у самых стволов. Вдруг один, сделав ужасное лицо, кричит: «Слон идет!»

Как вспугнутые воробьи, летят дети к фонтану, с визгом озираясь на бегу — догонит ли? Как под большой гриб, все забиваются кучей под порфировую чашу бассейна. Там сидят до команды предводителя:

— Караван в Африку. Верблюды вперед!

Верблюды, переваливаясь с ноги на ноги, пускаются медленно в путь. Арабы, которые, предполагается, едут на них вместе с семьями, если нужно свернуть куда вбок, их трогают длинной палочкой за ухом — и для южного воображения довольно.

Посреди «Villa nazionale» — зоологическая станция, где происходит изучение морской флоры и фауны. При станции необыкновенный аквариум: он состоит из двадцати шести бассейнов, каждый величиной в хорошую комнату. Здесь можно наблюдать двести сортов различных животных, рыб и раков — обитателей залива. Они поселены сюда со всей обстановкой, к которой привыкли в море, с любимыми камнями, водорослями, насекомыми.

Купив при входе билет, сразу по ступенькам спускаешься ниже уровня земли. Вдруг совершенно темно: дети натыкаются друг на друга — хохот, визг. Скоро замечают, что вдали светятся какие-то окна, и бегут к ним. Окна очень велики, из толстого цельного стекла. За каждым окном квартира морского жителя: тут колоссальные раки, змеевидные угри, там крабы, которые бегают боком и, как слепой человек руками, что-то шарят клешней. Электричество все эти квартиры освещает изнутри, а кажется, что вода светится сама.

Больше всего народу, просто целый хвост, толпится у спрутов. Их в квартире двое. Туловище в аршин, щупальца еще длиннее, если их вытянуть. Щупальца полны присосов, похожих на банки, которые ставят больным.

При первом взгляде в комнату спрутов — их в ней нельзя различить, кажется — здесь одна пустая вода. Где же спруты? Торчат с самого дна какие-то голые стволы. На стволах тряпки. А на пне, посреди, растет трубчатый, красивый, розовато-телесный мох. Этот мох — как звезда лучи — во все стороны далеко распустил свои густые побеги. И вдруг...

— Ой, страшно!

Это вскрикнул один из недавних «верблюдов». И правда, очень жутко, когда одна из тряпок внезапно протянулась к стеклу и плотно прилипла к нему, сначала одна нога с бесчисленными присосами, потом другая, потом все восемь ног. После этого прижался к стеклу и весь плоский, чем-то туго набитый мешок — тело спрута. Из мешка то выглядывала, то пряталась внутрь, будто дразнился спрут языком,

какая-то труба. Это он дышал. Порой над мешком-телом венцом собирались все щупальца, и между ними смотрели без блеска два пристальных глаза. Карие, умные, похожие на глаза очень жесткого и холодного человека.

Дети, затаив дыхание, один за другим пробовали приставлять свои лица к стеклу против спрута, но, не выдержав и минуты, отскакивали.

Взрослые посетители говорили про старшего брата этого спрута, превосходившего его во много размером и силой. Один высокий, в очках, оказывается, живал в нашем Владивостоке и сам был свидетелем, как на глазах у всех чудовище увлекло в море одного из купавшихся матросов. Несчастный оказался храбрецом и имел настолько присутствия духа, что успел еще крикнуть пловцам, кинувшимся его спасать: «Не подплывайте ближе!»

И правда, ведь спасти его можно бы было только ударами топора по щупальцам спрута. И то присосавшийся кусок отпадает не сразу, продолжая до своего омертвения быть кровососной банкой.

— А что случилось дальше с тем, которого спрут утащил? — спросили в темноте ребята.

— А того спрут высосал и, белого как воск, выбросил на берег. Больше в тех местах далеко не уплывают.

— Здесь крупные экземпляры большая редкость, — сказал неаполитанец, — а маленьких наши мальчики изобрели преоригинальный способ ловить. Представьте, они, нырнув, подставляют спрутику лицо. Едва он лицо обхватит щупальцами, ребята перекусывают ему какой-то нерв, и готово — тащат улов к матерям варить

в соленой воде. Здесь их очень любят есть, зовут «фрукты моря». В Неаполе за красивыми старинными воротами большой рынок — там можете купить себе спрута, и вареного и сырого. Ножом легко режется его ноздреватое розовое тело, и ничем оно не хуже французских лягушек!

Когда едешь из Неаполя в Сорренто, то с одной, то с другой стороны виден Везувий, он всего в двенадцати верстах от Неаполя. Над головой у него клубы белого дыма, как будто он попыхивает невидимой сигарой, и вспоминаешь из географии, что он — «самый малый из действующих вулканов». Ночью этот дым багровый. Недавно Везувий, как говорят неаполитанцы, «поплевывал»; но, конечно, это пустяки в сравнении с тем, что он наделал в 79-м году первого века, когда страшным его извержением было погублено три города.

Через один из этих городов мчит нас сейчас автомобиль. Это северная часть Кастелламаре — древняя Стабиа, которая погребена была со всем своим населением и зверями заодно с Помпеей и Геркуланумом. Сейчас здесь множество минеральных целебных источников и водолечебница. Мы здесь не останавливаемся, а пролетаем прямо в Сорренто, или по-итальянски Сурриенто — улыбающийся город.

И правда, город как улыбка. Он высоко на скалах, отвесно падающих в море, он тонет в апельсиновых рощах. Виллы и дома его — розовые, зеленые, цвета сливочного мороженого, как большие цветы, цветут среди вечной зелени. Над городом легкие голубые

горы. Одна ближайшая — по очертанию совершенно древняя египетская мумия, которая улеглась головою в небо, ногами прямо в море. И удивительно — стоит только один раз это сходство приметить, как уже навсегда пропадает гора и будешь видеть только мумию. Так бывает после того, как разгадаешь так называемую загадочную картинку, где изображен лес с кустарниками и подписано: «Наполеон и его собака». Стоит знающему секрет указать, как из хитросплетения ветвей лепится контур человека в треуголке и высоких сапогах, как стеблями трав вычерчивается собачья длинная морда, — и кончено: первого впечатления уже не вернуть.

Наш автомобиль светло-серый, легкий, как аэроплан. Он вмиг обогнал трамвай, который тоже идет вдоль моря, но в сравнении с нашей машиной — просто тарахтящая колымага, которая к тому же шипит как змея.

Ее шип еще стоит в ушах, а уже мы несемся между стен пригорода, как по коридору. На белые камни с обеих сторон свисают апельсины и лимоны, яркие, как маленькие благоухающие солнца. Море бурное, все в белых гребнях и синих волнах.

Едем в долине вечной весны; здесь и сейчас так тепло, что деревья прикрыты от солнца особыми навесами, чтобы апельсины вызревали постепенно. Сказочные деревья — у них и цветы и плоды одновременно на тех же ветвях. Здесь есть кактусы выше роста человека, вместо листьев — огромные лепешки, которые на Украине зовут коржиками. Сходство довершает то, что эти лепешки геометрически правильно прошиты колючками, как галеты, которые проткнуты вилкой,

чтобы пропеклись. Среди кактусов кусты удивительных агав. У агавы листья как змеи, узкие, очень длинные, цвета зеленой жести с яркой желтой средней полосой. Из пучка этих торчащих кверху жестяных лент растение однажды в сорок лет выгоняет толстый стебель, украшенный целой гроздью цветов. Засыхает цветок — гибнет и все растение.

Пролетаем по главной площади. Здесь стоит во весь рост в оперном костюме «Фауста» великий итальянский поэт, здесь родившийся, — Торквато Тассо.

Рассмотреть его как следует невозможно — шофер гонит машину с такой быстротой, что вот-вот задавит мулов, ослов и людей. Но оказывается, что он за свою практику задавил пока лишь единственного поросенка — и то, говорит, потому, что поросенок сам этого захотел и, потеряв всякий смысл, прыгнул под автомобиль.

Шофер необыкновенной легкости. Когда он, чтобы осмотреть, в порядке ли машина, едва остановив ее, вдруг выбрасывается на землю, то кажется, что он не обходит, а облетывает передние и задние шины. Эта особая легкость оттого, что он спортсмен, а может, и оттого, что купил в Риме удивительные желтые башмаки с резиновой подошвой, в которую вставлена некая хитрая вентиляция, воздушная, что ли, камера, которая дает необычайную мягкость шагу.

Мчимся по самому берегу. Дорога прорублена в скалах. Море подползло близко. Первая его полоса глубокого синего цвета, как колонны Исаакия. Над синей вторая полоса уже светло-голубого, незабудочного цвета, а третья — бело-жемчужная пена. Так отчетливо видно сверху, как на плане, несливающееся разнообразие цветов.

Мохнатые и крепкие ослики чаще всего попадаются навстречу. Крохотные, как мышки в упряжке, они возят в кибитках толстых купцов скупать оптом маслины у садоводов. Встречаем множество женщин с цветами — сегодня праздник Санта Барбары в горном городке. Это очень древняя статуя из черного дерева, страшная, с безобразным вытянутым лицом и глазами, сидящими близко к переносью, как у обезьяны. Св. Варвару в деревнях почитают как идола. Женщины ей завяжут сегодня новый шелковый бант, засыплют цветами, обвесят новыми «ex-voto». У итальянцев, и сейчас до крайности суеверных, есть обычай — за исцеление, которое, они веруют, получили от того или иного святого, подносить его статуе в виде благодарности отлитую в серебре исцеленную руку, ногу или иной пострадавший орган. Особенно почитаемые святые кругом увешаны подобными приношениями. Больше всего висит, конечно, исцеленных несчастных сердец.

Еще нам встречаются очень красивые римские повозки, на них везут в Рим бочонки с вином. Повозки высоки и кажутся еще выше от громадного зонта особого фасона. Зонт этот свертывается на сторону и имеет вид складного китайского фонаря. Он украшает повозку и кажется издали сказочным ярким цветком. Итальянцы очень гордятся красивой росписью своих зонтов и наперерыв друг перед другом выдумывают позатейливее и поярче рисунок.

Мы влетели в городок Позитано. Он на высоких лилово-желтых скалах и так как сам вылеплен из камней этих скал, то кажется просто их причудливым продолжением. Позитано сидит плотной кучей домов,

похожий на тот древний город, который у нас любил изображать Рерих. Дома в этом городе двухэтажные, с плоскою крышей. Окон много, и все открыты внутрь. А издали сдается, что выбиты.

Позитано когда-то был очень важный южный порт; сейчас этот вырубленный в скалах город, террасами идущий к морю, мог бы быть несравненным курортом. У него кругом горы, и под их защитою он как в ладони. Если подымется ветер, то он прыгает этому городу буквально через голову, как пловец с высоты. Сейчас как раз ветер...

— Синьоры, — кричит нам рыбак, — идите посмотреть «прыжок ветра». Ведь нигде, кроме как в Позитано, вы этого фокуса не увидите.

Мы слезли, подошли к обрыву над морем. Старый итальянец указал нам на полосу воды, вдруг взволновавшуюся и резко своим волнением отчертившую границу с прочею недвижно-сонной бирюзовой водой. Старик сказал:

— Это за восемь верст от берега ветер прыгнул в море, как мяч. Ведь у природы, синьоры, как у человека, тоже свой нрав: когда природа очень сердится — она плюется огненной лавой Везувия, когда ей охота играть в футбол, она швыряет ветер через Позитано прямо в залив.

А дочка рыбака, которая несла, по здешнему обычаю, корзину с мандаринами на голове, прибавила свое:

— В Позитано, синьоры, приезжать надо весной, когда цветет желтый дрок. Он покрывает сплошь, как золотым покрывалом, все горы. И город выходит — в корзине цветов. А запах, я вам скажу...

Старик прервал:

— Запах самый прекрасный, ну, вроде баранины с чесноком.

Старик, как и мы, рассмеялся. Он отлично знал, что цветы дрока пахнут горьким миндалем, скорее как лакфиоль или крупная повилика на солнце. Он так сказал для остроумия и потому, что жирная баранина одно из любимейших здешних блюд.

Еще сказал старик:

— Нет здесь ни электричества, ни воды, хотя большой водопад не очень далеко. Обеднели мы после войны, а город не соберется никак провести, вот и перебиваемся кое-как в своих гнездах... Но обидно, обидно, синьоры. Какой бы знаменитый мог быть тут курорт, ведь Позитано на восемь градусов теплее Сорренто.

Мы не оглянулись, как уж из одного городка попали в другой: из Позитано в Праяно. Ну, этот еще необыкновенней: на высоком берегу глядится в море сторожевая сигнальная башня. Она здесь уцелела со времен сарацин. Под башней изящной линией, как змея, заползает море глубоко внутрь, образует узкую длинную бухту и выплескивается обратно к скалам.

Эта прелестная бухта с прошлого года зовется «бухта ужаса». Немного повыше вокруг нее лепилась недавно деревушка, а сейчас голые камни. Осенью шли непрерывные дожди: вверху горы пласт земли обратился в жидкую грязь. Грязь эта сорвалась и поехала вниз. По дороге к ней, как к снежному кому, налипало еще и еще, и на деревушку все это ринулось с силой лавины. Слизнуло домишки — хорошо, люди все выскочили, ни один не пропал. Сидят, как чайки,

на камнях, — где их дом? Нет дома. Спасибо, вся страна помогла — собрали немало, и люди в другом месте, выше в горы, отстроились. Но есть такие упрямые, что хотят обратно, на старое место. И почему бы нет? На будущие времена грязь уже без правила не пойдет, ишь какой ход ей назначили...

Старик указал на глубокую и широкую, вымощенную камнем, канаву. Она начиналась у самой бухты, уползала, как змей, и далеко терялась в горах.

Наш шофер размечтался: вот если б забраться на гору да хватить оттуда на велосипеде вниз... до моря. А по морю велосипед продолжал бы свой бег уже как гидроплан.

— Однако пора нам обратно в Неаполь, — спохватывается он, — уже в Амальфи не стоит, мы, оказывается, слишком много вылезали и смотрели, а луны сегодня нет.

Он где-то щелкнул — зажглись фонари, и, как гигантские щупальца, протянулись от них на дорогу лучи. Мы понеслись обратно, уже не различая подробностей.

Казалось, из самого жерла Везувия вдруг выбежали один за другим огоньки и, пробежав до половины горы, замерли — это алмазами засияла реклама подымающего на самый кратер фуникулера. Алмазам рекламы в ответ вспыхнули огни вокруг всего моря — в Кастелламаре, огни в Торре-дель-Греко, огни в Портичи. Мы подъезжали к Неаполю.

И вдруг неожиданность: в город въехать нельзя. Большая толпа, всадники, римские повозки, хвост из автомобилей — все остановлено. Но чем?

Несчастье? Пожар?

К автомобилю подходят двое полицейских в пелеринах и треугольных шляпах и с важностью говорят:

— Движение остановлено, потому что скоро по канату ходить будет фокусник. Если синьорам к спеху, то можно проехать кругом.

Канат натягивали минут десять, под канат столько же времени ладили во всю длину сетку, против несчастного случая, — и наконец над всеми головами, под трубный вой и барабаны, при вспышках бенгальских огней, прошел яркий, как попугай, фокусник. Потом канат отвели, и мы въехали в Неаполь.

ПОСЛЕДНЯЯ РОЗА

I

Поезд из Парижа в Шартр идет сегодня битком набитый. От этой тесноты, от раннего часа то и дело впадаешь в дремоту — вот и перемежается быт наш с бытом их.

Даже в проходах сидят чинно на складных стульях. Все едут на редчайший праздник Шартрского собора, который бывает раз в пятьдесят лет и к которому готовятся за целый год.

Когда все хорошо утряслись в вагоне, поднялся из множества аббатов молодой, самый высокий, и, вознесясь над старухами с плиянами и туристами, стал докладывать историю «дня покрывала».

Начал он от Адама, еще с X века: норманны осаждали город Шартр, епископ города заставил их отступить, вынеся ковчежец с покрывалом девы, которое, как уверял аббат, подарил городу еще Карл Лысый.

В годы Великой французской революции члены Конвента выколупали из ковчежца все драгоценные

камни, а само покрывало изорвали в клочья. В начале XIX века духовенство спохватилось, и началось «чудо» восстановления покрывала.

— Разве это не провиденциально, — заключал высокий аббат, — что самый большой кусок покрывала чудесно возвратился в Шартр в тысяча девятьсот девятнадцатом году, когда в большевистской России происходило безбожное изъятие ценностей?..

Что касается собора Шартра — это библия веков. Это «божественная комедия» Данте. Быть может, Реймсский собор богаче, Амьенский совершеннее, — собор Шартра единственный, неповторимый. Здесь национальный канон красоты, сюда надо прийти, чтобы понять французскую мысль. Это более Франция, чем Версаль... Великий век Франции — век соборов. Наш Перикл не Луи Четырнадцатый, а Людовик Святой... Запомните, мои дети, — молодой аббат обволок взором всех старушек на плиянах, — ковчежец с серебряными ангелами, где хранится святыня, поднесен благородными дамами Парижа в день тысячелетия собора. И сегодня он появится перед вами: длина куска, чудесно обретенного в девятнадцатом году, два метра восемь сантим...

— Остальные гуляют, — крикнул веселый малый.

— Ткутся в Лионе...

Смеялись, хотя только что слушали аббата со вниманием. Кроме старушек с четками, глухих и слепых к суете мира, публика ехала на редчайшее даровое зрелище в красивый город, где у всех были знакомые и кумовья.

— Подумаешь только, целый год девушки всего города делали к этому дню цветы. Сорта розданы были

по заслугам девиц: самые примерные работали над улицей роз, улицей лилий и глициний...

— Ах, мадам Каригу, огненный цвет гранаты идет тоже в первую голову: им будет украшена площадь Революции там, где мясная под вывеской: «Rosa mystica».

— Позвольте, но кто же так странно назвал мясную?

— Почему странно? Это очень хороший патрон для мясной — Rosa mystica. Уж третье поколение роз цветет под священной эмблемой. Старшая в роде в семье Граденап всегда называется в честь патронессы Роза, это самые почтенные мясники в городе.

— Скажите, мадам Каригу, были, а не есть — после истории с последней Розой половина покупателей отхлынула от Граденап.

— Однако мы можем отвечать за наших дочерей, только пока они не попали в Париж.

— К тому же маленькая Роза не дочь, а племянница мадам Граденап.

— Но поскольку она носит имя патронессы заведения — Розы, это ее обязывало сохранить хоть приличие.

— Будь она смиренница, ее бы город простил. Но господин аббат ужасался. Она о покаянии и слышать не хочет. Передо мной, кричит, все виноваты, и сам бог в придачу, коли он есть.

Мне было интересно, изучая быт французской провинции, узнать, чем именно маленькая Роза уронила мясную торговлю под любопытной эгидой своей тезки — «мистической» Розы, но шартрские кумушки уже заспорили на новую тему. К тому же под задре-

мавшей старушкой подломился плиян, вагон поднял хохот и суматоху.

Перед Шартром аббаты засыпали, как конфетами, афишками с изображением совершенно черной негритянской девы, обожаемой еще галлами. Она, по тексту, каким-то путем оказывалась все-таки белой, и притом девой Марией.

Собор Шартра действительно поражает, как никакой другой. Из-за него весь город делается сказочным, так удивительно несоответствие между его гигантскими размерами и окружающими обычного роста провинциальными двухэтажниками. Цвета слоновой кости, как Гулливер над лилипутами царит он, раздавливая все вокруг.

— Наш собор сам целый город, — говорит нам местный кондитер, добровольный гид по Шартру. — Мы зовем его передние башни «папа и мама», семья легких колонн — чем не дочки-красавицы? А вот и многочисленная родня — целые тучи скульптурных святых. Правду сказать, родня хоть свята, да большей частью без носа. Еще бы им уцелеть с таких древних времен. И все под прикрытием старой бабки — переливчатой черепицы. Вот не забудьте, поглядите-ка, что она вытворяет под лучами заката.

Девицы города, между которыми, по словам местных жителей, поделены были улицы, должны были действительно целый год заготовлять цветы, — они наткали чудес. Вот улица роз, там лиловой сирени, дальше нежно-персиковая, яблонный цвет. Есть сказка Кота Мурлыки, которая в детстве очень нравится, вот на попугайных островках там как раз такое убранство.

И, как в сказке, здесь сегодня, вместо обычных названий — рю Гамбетта, пляс Карно, — улицы зовутся именами цветов. Цветы же не только ниспадают гирляндами вокруг всех домов сверху донизу, они увивают столбы фонарей, водосточные трубы. Цветами завалены окна, балконы. Их вплетают в заборы, в гривы лошадей и ослов.

Под удары соборной колокольни вливаются в эту оргию цветов новые краски юбилейной процессии. Лиловые шелка епископских шлейфов, серебряные одежды их несущих детей-херувимов. За ними, в тяжелой парче, с горящими глазами инквизиторов, идут стремительно отцы, прибывшие из Испании.

Улыбаются на все стороны своей особой, одаряющей улыбкой итальянцы, прибывшие с нунцием. Семенят мелкие французские аббаты, едва поспевая за размашистым шагом испанцев. Драгоценный ковчежец с коленопреклоненными ангелами, про которых аббат возвестил в поезде, поплыл над головами. Его несли на носилках. Между стекол, на золотой перекладине, качалось чудесного палевого шелка покрывало девы, два метра восемь сантиметров...

На площади «красных гранат» произошло вдруг смятение, все повалили туда.

Под звон колоколов, высоко подымая носилки, почти в уровень с золотым ковчежцем, четверо парней вынесли навстречу процессии молодую, истощенную болезнью девушку. Отчаяние было у нее в глазах, и поражали на бледном лице болезненно изумленные черные брови. Как бы защищаясь от ударов, готовых на нее посыпаться, она, жалко подняв тонкие руки, заслонилась ими, по-детски топыря пальцы.

Пожилые женщины с искаженными гневом лицами трепетали кружевными чепцами:

— Вон ее! Гулящим не место в процессии...

И бранились оскорбительной французской бранью — chameau, по-нашему всего лишь только — верблюд.

— Мадам Граденап, уберите вашу Розу. Из-за нее всем порядочным не будет удачи.

— Больная она и уж довольно наказана, — сказал один из мужчин. — Ну и ведьмы наши наседки.

— Уберите гулящую... Идут «дети Марии».

— Домой, несите домой, — умоляла сама Роза растопыренными детскими ручками.

Четверо мужчин, ругая злых баб, свернули с пути, по которому шла процессия, и унесли носилки обратно к угловой лавке. Над лавкой, осеняя развороченные кровавые туши быков, мозги, похожие на облупленные грецкие орехи, и трогательные, как малолетки, тела ободранных кроликов, на синем фоне чудесных густых васильков белыми мелкими розами, как мозаикой, было выложено: «Rosa mystica».

Толстая женщина в кисейном плоеном чепчике, чванясь перед иностранцами редким праздником, свежестью своей убоины и обилием съехавшихся из всех католических стран монсиньоров, отпуская котлеты де воляй, верещала:

— Роза, Роза мистика — верный патрон нашего дома.

Было легко догадаться, что толстая дама в чепчике и есть та самая мадам Граденап, а девушка на носилках — маленькая Роза, каким-то своим поведением уронившая честь дома и славу своей одноименной патронессы.

Мадам Граденап, увидав возвращавшихся мужчин с носилками и рыдающей девушкой, багрово покраснела и еще издали гневно крикнула:

— Поставьте ее там — в палисаднике...

II

На торжественной программе «Fêtes Mariales» вперемежку с чудесами, совершенными покрывалом, возвещались объявления о гаражах, корсетных мастерских, кафе-ресторанах. У жителей считается благословенным для торговли напечататься на листке с соборным праздником. Желая уже непременно узнать историю маленькой Розы, я стала искать фамилию Каригу — как именовали вагонные спутники молодую женщину, говорившую про почтенный дом Граденап. Действительно, на обороте листка, для пущей рекламы — вкось, стояло: «Все обувайтесь у Жака Каригу — шик гарантирован».

На улице «абрикосовый цвет» я без труда нашла в этом веселом маленьком городке румяную и пышную, как спелый абрикос, самоё мадам Каригу.

Поздоровались как знакомые. Когда первый поток красноречия хозяйки местного шика истощился в восхвалениях праздника и процессии, я спросила ее, а за что так обидели бедную Розу.

— Конечно, это было грубо, но согласитесь, что и со стороны Розы бестактно соваться вперед в праздник девы, когда к тому же всем известно, что она неверующая. Все три дня ковчежец с покрывалом должны окружать одни лишь «дети Марии», чье целомудрие несомненно всему городу. Может быть, это суеверие, но

народ думает, что от этого удача торговле, урожаю и всем личным делам, если процессия не будет осквернена присутствием ни одной публичной женщины. А Роза... такая.

— Но отчего, как она стала такой?

— Ну хорошо, я вам про нее расскажу, я ведь ей была подругой. Одно время мы вместе служили в Париже. До вечерней службы добрый час, а торговли уже, видно, не будет. И мужа еще нет. Пройдемте в палисадник.

Здесь при каждом доме садик, гамак и неизбежная клумба рододендронов. Сели на скамью. Мадам Каригу глянула на меня своим здоровым, как свежая пышка, лицом.

— Вы издалека, понимаю, вам любопытно, как у нас тут живут. Ну, уедете, не расскажете, вам можно всю правду сказать: в молодости все погуливаем, вся штука, чтоб гулять с умом, не сорваться. И, скажу вам по совести, срываются не самые плохие, о нет! Те заводят сбережения и выходят замуж, и уж тогда, мадам, они уважаемые. А молодым в провинции тоска. К тому же Роза еще не родная Граденап, а приемыш — ей вдвойне было плохо. Хоть у тетки ее патронессой «Rosa mystica», а баба она прелютейшая. Шпыняла Розу с утра до вечера, все куском попрекала. Ни ей погулять, ни копейку себе заработать. А хороша была она — один художник портрет с нее рисовал, говорил тетке, чтó ваша «Rosa mystica» — роза у вас своя, живая, в цвету. В Париже цены бы ей не было!

Может, он-то Розу и сглазил, художник тот. Прикинула в уме хозяйка и говорит: «Поезжай-ка ты

в Париж, к крестной Жюли, не ровен час, попадешь в первые манекены и себе situation сделаешь с южным американцем. Многим куда тебя хуже лицом, а повезло. Здесь не цыплят тебе выводить. А без приданого в провинции замуж не выйти».

Заметьте, мадам, первый толчок был от самой тетки, а сейчас попреками так сыплет, все позабыла... Ну, приехала Роза в Париж, в наш мелкосортный maison, — прямо скажу, не дом мод, а кукольная буата. Заведение из двух комнат, без зала, и, смешно сказать, с одним всего-навсего манекеном, и то не слишком первого сорта. И эта несчастная буата туда же, как все, звалась «Maison Fripet».

— Я случайно знаю эту буату, я живу рядом — это напротив большого бара «Fantaisie» с биллиардами. Там на карнизах пять толстых женщин — пять частей света. Еще у африканки в носу кольцо...

— Да, да... И старый крупье Жерар объясняет посетителям: «Это эмблема, говорит, что жителям всех пяти частей света одинаково интересно бывать в нашем заведении». Нахал!

Ну вот, раз вы знаете, вам легче себе представить все дело: между «Африкой» и «Австралией» неизменно в часы обеденного перерыва выглядывал самый красивый крупье, мосье Эжен. А окна «Фантези» прямехонько в окна дома мод. Натурально, крупье пошел с Розой перемигиваться. Она так была хороша — ну, просто цвет нежно-розовой повилики. И с такой внешностью водить день-деньской утюгом по чужим нарядам!

Ну и пошло: Роза с Эженом дальше — больше. Он стал посылать раздушенные записочки с мальчишкой-

шассёром — может быть, вы заметили, эти мальчишки, они у нас при каждом отеле имеются: носят красный мундир и шапочку и, между прочим, на посылках, поверите, до двухсот тысяч франков в конце концов наживают и открывают уже свой дом...

И вот приносит такой шассёр Розе просьбу от ее крупье о решительном свидании. Она мне показывала: ах, какие этот подлец нашел слова и какие стихи! Уже много после, когда я хлопотала, нельзя ли по этой записочке получить с него что-либо, умные люди мне со смехом сказали, что стихи-то не его, а поэта Виктора Гюго... Ну да ведь тогда не знали мы, когда читали! И подпись не его, а придумана тоже откуда-то: «ты моя Роза, я твой соловей», или просто: «rossignol».[1] Ищи с этого соловья, мало их таких-то!

А ведь Розе все это впервые, будто для нее одной придумано, — она, конечно, пошла. Вернулась, на ногах не стоит, всех нас взбудоражила: «Ах, говорит, и как он умеет разнообразно целоваться...» Ведь это в Париже, мадам, целая наука, да какая, а мы знали пока одних наших парней... они чмокнут, как чавкнут, и все тут.

Однако Розу мы научили спросить, и она послушала. «Если, говорит, ты, Эжен, меня так разнообразно целуешь, ведь это значит, не правда ли, что ты хочешь именно на мне жениться? Иначе, говорит, мне будет стыдно и вспомнить».

Эжен засмеялся и сказал: «Ну конечно, хотел бы на тебе жениться, но вся беда, малютка, что я эту глупость уже сделал».

---

[1] Соловей *(франц.)*.

Много Роза плакала. Однако он ее уломал. Правду сказать, и мы, подружки, помогли. У всех у нас уже были кавалеры, и все женатые. Что поделаешь, мадам: после войны кавалеров ужасно мало, а франк так упал, что жениться они могут только на богатых. Самому едва хватает, а тут жена и ребенок, — и винить нельзя. Хорошо, если найдешь себе милого друга по вкусу: будет чем молодость вспомнить, а то ведь иные англичанки и за любовь деньги платят. Вот и говорим маленькой Розе: подвернулся красавец Эжен — не зевай. Молодость вот-вот отлетит, а тебе давно пора te déboucher. Извините, мадам, за выражение, это у нас в ателье так называлось, если перестать быть девицей.

Ну что — уломали Розу, все через этого мальчишку шассёра шло дело. Эжен занят, Роза занята — шассёр им и номер нашел в обеденный перерыв. Вечером жена Эжена выслеживает, а Розу хозяйка. Вот с этого дня и начались все огорчения бедной девочки. И ей и всей нашей мастерской ведь это было, скажу прямо, афронт, что в номер Эжен ее приглашает не ночью, а днем — вроде, знаете, неуважение к женщине. И потом гарсон номерной переусердствовал — вперед кинулся и кровать им открыл, а Роза как заплачет... Она нежная, знаете, мы ее повиликою звали.

«Обидно, говорит, до смерти стало. Вспомнила, как богатые в мэрии венчаются, все в белом, с fleurs d'orange, в карете. И с таким почтением их за ручку выводят — и поздравляют, и уважают».

А Эжен рассердился, что она плачет, и говорит: «Ты дура, с тобой не стоит и связываться, ты в сле-

зах меня утопишь. Чего, говорит, ревешь, номер уже заплачен, и белье, говорит, совершенно чистое...»

Она ему: «Не уважаешь ты меня».

«Если бы, говорит, не уважал я тебя, я бы не номер взял, а такси бы нанял на час — много дешевле стоит, — и большинство так и делают. Только я, говорит, джентльмен и считаю, что подвергать свою даму неудобствам мне неприлично. Вот я, говорит, выпью лимонаду, а ты приди в себя, времени терять нам нечего».

Он позвонил, гарсон подал лимонад. А Роза говорит, то ли ей в окошко кинуться, то ли горло ему перегрызть. Однако ничего она не сделала — окаменела, как кукла. А он выпил лимонад, и... все случилось.

Ну, принесла Роза в мастерскую пирожных — у нас, знаете, такой обычай: кто из девушек s'est débouchée, так после этого... вроде как свадебный торт сами себе и подругам.

С тех пор бегает Роза к Эжену, а вернется — не спит ночи, плачет, и смех пропал.

«Отчего ты невеселая, говорим, разве он — калоша?» Вот тут она про лимонад нам рассказала, а глаза так и горят, как у волчицы: «Ненавижу его, а ходить буду... из-за ребенка. Ребенка хочу иметь, а мужчину к черту!»

Тут мы все на нее: «Сумасшедшая, да неужто он мер не принимает?»

«Принимает, говорит, только я его перехитрю, а ребенка своего прокормить и сама сумею. Эжен меня такому парижскому шику обучает, сам говорит: „Цена тебе будет немалая“».

Тут, знаете, подруги от нее отдалились, охладели: кому завидно на ее смелость — сами втайне ребеночка

хотели, другие же злились на ее глупость — живет в Париже, а жизни не понимает. Но пуще всего боялись, что сердце не камень — помогать придется, а сами посудите — из чего? Жалованья и на жизнь не хватает, а у нас в ателье форма — черное шелковое платье, и чтоб от старости не блестело. Я дольше всех держалась около Розы...

Забеременела Роза. Собрали мы совет мастериц. Нашли гречанку за двести франков — доктор дешевле тысячи у нас не берет. Да мы уж привыкли к этой гречанке, хоть и долго повозится, однако только две от нее померли. Последнюю услугу, однако, я Розе сделала: пошла без ее ведома к этому Эжену в «Фантези», будто с заказом заблудилась. «Давайте, говорю, на аборт Розе денег». Он, правда, такой красивый, держит себя как маркиз, выбритый, надушенный. Цедит сквозь зубы: «Какая Роза? Я такой вовсе не знаю».

«Ах, не знаете! Хорошо, в таком случае мы, служащие дома Фрипе, вам публичный скандал сделаем, небось — узнаете. Придется вам тогда из вашей «Фантези» уходить».

Заскрипел зубами, однако обещал пятьсот франков.

«Не позже, — говорю ему, — чтоб сегодня вечером деньги были. Придем мы за ними, три мастерицы, к статуе Жорж Занд».

«Зачем, говорит, целых три, я вам одной верю. И вы мне гораздо больше Розы нравитесь. Та как veau mariné,[1] а вы боевая. С вами, уж конечно, подобного пассажа не произойдет».

---

[1] Маринованная телятина *(франц.)*.

«Уж конечно, — смеюсь, — от негодяев не стану родить. Отгуляю в Париже свое, а на родине выйду замуж и рожу наследника по закону и от хорошего человека».

«Молодец, говорит, вот вас я уважаю. Вы не плакса — руки не свяжете. Не угодно ли вам, говорит, пока срок гулянья вашего еще не истек, включить и меня в число ваших партнеров».

Ей-богу, так и сказал! Ах, скоты они, эти мужчины! Чтоб не куражились они над нами, хлыст надо в руках держать. Я вот сумела. Ха-ха...

— А как дальше с Розой?

— А Роза только в первый раз нас послушалась, а потом ее кто-то испортил. В такую тоску впала — обратно, говорит, ребеночка мне отдайте. И ведь не успокоилась, пока не забеременела снова, уж не от Эжена — он и смотреть на нее не хотел, — а так, сдуру влюбилась в кого-то проезжего. И отличный человек, жениться хотел и, вообразите, вдруг умер. Об аборте Роза и слышать не хотела, родила Роза замечательного мальчика — Диди. В деревню на выкормку отдала. Вот из-за него и попалась...

— То есть как попалась?

— А получила желтый билет... У нас полиция нравов до тех пор смотрит сквозь пальцы, пока девица, гуляя, имеет определенную службу. Ужели вы думаете, кто-нибудь не гуляет в Париже? На чулки и туфли приработывают — там плохих не наденешь. Что греха таить — из нас ведь в «Sourire» все печатались. Но, кроме Розы, ни у кого никаких следов... Надо поаккуратнее.

И что поделаешь, если захотела до смерти иметь своего Диди, — а прокормить? Я вас спрашиваю. Печаталась она пока в объявлениях, предлагая себя на длинный срок, на короткий и даже на один вечер. Но, как нарочно, через «Sourire» она все нападала на проезжих. Хуже такого нет; поживет две недельки и дальше. А на наслаждения жаден, подавай ему все самое распарижское, чего он у себя дома не видит. И духи-то он любит, и пудру, девушек дарит не деньгами — вещами, чтоб на его провинциалку-индюшку не была похожа. Ха-ха, они все своих жен зовут: цесарка, индюшка, гусыня — весь птичник переберут. Это они за собственное, за домашнее лицемерие мстят. Да, а денег такие ни за что не дадут. Розе же за маленького платить надо срочно. Стала она раздражительная, с мадам Фрипе то и дело не ладит. Еще к тому же болезнь подоспела — провалялась неделю, пришла в ателье — на ее месте уж новая. Ей бы тут подержаться построже, а она с горя запила и уж пошла с кем попало... Ночью какой-то скандал, обход, ее со всеми вместе забрали и зарегистрировали — песенка спета.

После этого, мадам, понимаете, конечно, и я с ней дружить не могла, — что делать, все на краю пропасти ходим, сорваться боимся. Скоро меня домой отозвали, и я вышла замуж.

А вы, мадам, если вправду врач, как мне сдается по внешности, навестите-ка Розу. Пилюли какие-нибудь там пропишите. Ее тетка хоть и приютила через силу — она смерти боится, грехов на ней много, — но от скупости лечить не желает. А вам, чем в отель идти переночевать, у нее будет даже дешевле. Пройти к ним через три квартала в четвертый. Проситесь у тетки прямо

к «маленькой Розе» — у нее мансарда большая. Так и скажите: по рекомендации бывшей подруги Розы — Лолот Каригу.

III

В соборе молодой епископ произнес проповедь оригинального названия: Литературные заслуги шартрской Notre Dame — обращение Гюисманса, Пеги и главным образом внука давнего, все еще ненавистного врага церкви, Ренана — поэта Псикари. Вторая часть проповеди посвящена была доказательствам того, как церковь идет навстречу потребностям дня. На убыль населения, которая пугает все государство, церковь отвечает благословляющей зачатие агитфильмой — «Лепестки розы». Присутствующим предлагалось сегодня же вечером посетить кино.

Мне предстояло провести в Шартре ночь, и, по рекомендации мадам Каригу, я пошла искать пристанища у хозяйки «Мистической розы». Мне было несколько неловко знакомиться с ее племянницей, как человеку, прочитавшему чужие интимные письма, с их хозяином. Над знакомой выставкой разносортного мяса, как утром, на слегка увядшем фоне синих васильков белели буквы: «Rosa mystica», и толстая мадам Граденап, в шелковом платье и жемчугах, продавала котлеты с завитушкой из белой бумаги на косточке.

Сначала она раздраженно ответила, что у нее не гостиница, но, сославшись на рекомендацию мадам Каригу, я сказала, что мне необходим только угол, чтобы положить свои вещи, на что в комнате мадемуазель Розы, наверное, есть место.

— В таком случае проходите в мансарду, но, прошу извинить, плата будет как за отдельную комнату... — И, фальшиво улыбаясь, мадам Граденап прибавила: — Надо вознаградить бедняжку каким-нибудь баловством за плохо проведенную ночь.

Комната, куда меня провели, была просто-напросто голубятней. В чердачные окна, раскрытые настежь, вливались луга и необъятные горизонты. Совсем вблизи, пробужденная к жизни закатом, всеми цветами спектра переливалась черепица собора — «бабушка», как рекомендовал ее нам гид. Над ней большая башня, «папаша», вонзала в легкое небо свою пламенеющую готику; другая башня, «мамаша», пониже, нежными тающими линиями своего конуса сливалась с жемчужными облаками. Потолок комнаты был сводчатый, на больших добротных столбах из красного кирпича. На белоснежных стенах фотографии в венках иммортелей. Все они изображали большеголового смеющегося младенца. «Диди», — подумала я, вспомнив рассказ подруги Розы, мадам Каригу.

— Это ваш маленький Диди, не правда ли? — сказала я, подходя к постели, где, сразу казалось, нет ничего, кроме облака белой кисеи.

Тонкая детская ручка раздвинула полог, и трогательное лицо молодой женщины с приподнятыми бровями, которое запомнилось мне утром, засияло улыбкой:

— Разве вы знали его?

— Мне о нем рассказала ваша подруга, мадам Каригу.

— А, Лолот, ну, эта верней прочих, только болтуха.

Она оперлась на локоть, вглядываясь в меня без той условной любезности, которую принимает невольно

каждое лицо при встрече с другим, совершенно незнакомым. У нее были умные, увеличенные болезнью прекрасные глаза. Она сказала печально:

— Лолот вам рассказала всю мою историю?

— Но я из очень дальней страны, и, кроме глубокого сочувствия, поверьте...

Роза досадливо повела рукой:

— Ничьего сочувствия мне уже не надо... но вы его назвали, — она показала на фотографию в иммортелях, — вы запомнили имя моего мальчика — это очень мило с вашей стороны...

— Вас не стеснит, если я расположусь эту ночь здесь на диване? Сейчас я пойду смотреть фильм «Лепестки розы», вернусь не поздно и уеду с первым поездом — постараюсь вас не разбудить.

— У меня совсем нету сна... но зато есть несомненная чахотка — вы не боитесь, как тетка? Она даже не входит, если что ей надо сказать, кричит на всю улицу в окно.

— Я не боюсь.

— Настоящий человек ничего не может бояться, не правда ли? Ну вот... — она пытливо впилась в меня, — если вы вправду настоящий человек, принесите-ка мне вина, ведь все равно уж... а выпить охота. И приходите скорей. Ночью мне легче дышать, а сегодня будет чудесная, лунная. Будем разговаривать. Я давно ни с кем не говорила: наши все или индюшки, или злючки. Они меня сегодня обругали перед самой процессией, идиотки. Я люблю красивое зрелище, а в чудеса я не верю. Это ребята из соседнего сада придумали: прогуляйся, говорят, над их головами, ты, даром что больна, и сейчас всех красивей... однако вам идти

на «Лепестки розы». Католическая фильма в защиту плодородия — ребята рассказывали. Ну и ловкачи наши аббаты: потрафляют церкви и государству. Туда же — родить поощряют. А вот куда деть, родив, это уж не их дело... И это, выходит, роскошь для нас, и это одним богатым... а нам в воспитательный, как щенка! Оттуда ведь не отдают. Ах, мерзавцы, все мерзавцы! Ну, вернитесь скорей, буду ждать.

Агитфильма «Лепестки розы» оказалась действительно фильмою прелукавой. С одной стороны, она соблазняла девиц в монастырь ореолом святости, с другой стороны, по лозунгу дня «убыль населения опасность стране» натаскивала на материнство.

Девица Жакелина любит женома, который уезжает в Америку. Но управляющий делами отца Жакелины любит ее миллионы. Он, воспользовавшись отсутствием жениха, ложно информирует отца о положении биржи: скупая его акции, делает его банкротом. Дочери же делает предложение, открывая по секрету, что разорение отца неизбежно и он его не разорит только в том случае, если станет ему зятем. Девица ради отца готова на жертву, но в то же время просит св. Терезу, чтобы избавила ее от злодея. Девица усердно читает жизнь этой святой, чтобы дать повод изобразить ее на экране — вплоть до театрального пожелания святой «покрыть весь мир лепестками роз», что в инсценировке удается очень эффектно. Кроме нее, не менее великолепна аудиенция у папы, торжество посвящения в монахини и процессии. Словом, девица Жакелина так зачарована сказочной жизнью порвавших с «миром» и почестями, которые им оказывают, что сама хочет в монастырь «по стопам св. Терезы», даже когда злодей, новый жених,

разоблачен первым, любимым, как полагается — миллионером, вернувшимся из Америки. Отец, мать, два аббата убеждают Жакелину идти замуж — она не хочет. Тогда статуя самой Терезы сходит с пьедестала и говорит, что Франции нужней всего сейчас не монахини, а хорошие жены и матери. Публика аплодирует статуе св. Терезы и, веселясь, что аббаты перехитрили сами себя, идет гурьбой глядеть на иллюминацию именинника-собора. А я, купив угощенье для маленькой Розы, иду к ней в мансарду.

Я открыла дверь очень тихо, но Роза тотчас же отозвалась:

— Это вы, ах, как прекрасно: вино, персики и даже розы. Я совсем забуду про свою болезнь. Смотрите в окно — луна, замок на горе, совсем как в сказке, я хочу все, все забыть... стать очень доброй и думать только о них.

— О ком, Роза?

— О женщинах, которые вступают в жизнь, о подростках, о всех, которые остаются жить, когда я умираю. Я только ведь и делаю теперь, что думаю, и мне кажется, в словах того, кто жизнью заплатил за свой опыт, больше правды, чем в тысяче книжек, написанных из головы. Но мы выпьем, не правда ли?

У вас женщина свободнее, чем у нас, я слыхала. Она имеет все права... Когда еще у нас будет? У нас замужем теряют даже собственное имя. Если б Эжен на мне женился, я была бы не Роза Дрильяк, а мадам Эжен Дрильяк. Однако я спрошу вас — счастливы ваши женщины? Я, знаете, думаю, что никакое внешнее, даже экономическое освобождение, в сущности, не сделает женщину счастливее, пока она сама не

освободится внутренно. Я говорю про самое интимное, о чем и себе не всегда скажешь...

Вы уедете далеко, я не увижу вас больше, я даже не хочу запомнить черт вашего лица — пожалуйста, не будем зажигать огня... Пусть вы тот, кто примет мою исповедь, мое заветное. Пока от вина у меня нежданные силы, вы слушайте меня, не перебивайте, не противопоставляйте меня ходячей морали, дослушайте просто, прошу вас. Ведь это же редкость — когда человек говорит окончательно искренно, это можно только перед смертью.

Знаете, в чем самое главное, — в том, что женщины лицемерят: они вовсе не хотят быть матерями, они хотят быть только любовницами, конечно если они не верблюды, ха! ха! Верблюдов больше, чем кажется, — это принимают обычно за добродетель и невинность, — но они только верблюды. Но здоровые и привлекательные женщины, понимающие любовь, — они хотят быть матерями только после того, как тайно или явно обожгутся как любовницы.

Вам эта болтуха Лолот Каригу, конечно, рассказала и про «лимонад». Так вот, когда он пил этот свой лимонад перед раскрытой гарсоном постелью, куда ему в тысячный раз, а мне в самый, самый первый, — во мне любовница сменилась яростной матерью... Ах, поверьте, у каждой женщины есть такой или иной свой лимонад.

И все-таки ведь женщины еще нет, еще она не знает себя совершенно, пока она не родила и не выкормила.

Вот, мадам, когда вы опять будете у себя, скажите вашим новым, чтобы они подняли вопрос о «Доме для первенца». Ах, не смейтесь надо мной... Надо, чтобы это был замечательный, великолепный дом и, главное,

чтобы считалось почетным — слышите меня, именно *почетным* — родить в первый раз. Не скрепя сердце, а от любимого... Родить прекрасно — есть самое важное во всем женском вопросе, потому, сколько вы с мужчинами нас ни равняйте, это уж неотъемлемо, это исключительно наше.

Чудесный «Дом первенца», и чтобы обеспечена была жизнь со дня беременности до окончания кормления. Со вторым и третьим пускай как хочет — она все уже знает сама, она окрепнет, найдет свое место в жизни, она поборется.

Но первенцы, мадам! Первенцам пусть само государство будет восприемником, это в его же расчетах: они самые удачные, они по любви, от избытка жизни, с разбегу...

Мадам, сколько бы мужчины ни ратовали за признание гражданского равноправия, только когда государство будет особенно почитать женщин, родивших и вскормивших первенца, они действительно дадут ей права. Ведь только подчеркнув уважение к материнству женщины, вы ее сделаете настоящей второй половиной, восполняющей то, что зовут — человек.

Не будем лицемерить, мадам, все существа неплодные, полные женских болезней, забот об аборте, на каком бы деле они ни стояли, они тайно сосредоточены на своих половых делах, потому что жадно хотят быть только любовницами. И сказать, что это они полноправные, что это они люди, — нет, нет.

Я сейчас кончу, мадам, только палейте еще. Какое счастье не чувствовать этого ужасного озноба. Ах, как чудесно согревает вино, будто вернулось здоровье. Я больше не буду браниться, я буду только мечтать

вслух о «Доме первенца». Сколько тайных мыслей о нем, когда, голодная, одинокая, я носила своего Диди...

Это было в субботу, я торопилась на работу. По утрам так сильно кружилась голова. Я прислонилась к подъезду мэрии: подъехало большое авто, все в букетах, из него, как козочки, запутавшись в цветущей черемухе, прыгнули белоснежные, нарядные, с огромными букетами девушки. Благородный отец, знаете, le père noble, тот, что в «Травиате», в цилиндре, с моноклем, с шелковой сединой, за руку вывел невесту, ту самую... ну да, бессмертную глупышку дочку, ради которой загублена жизнь милой Травиаты.

Мадам, пусть старший доктор в «Доме первенца» будет всем как этот père noble. Ах, приветствуйте, обласкайте первородящих. Женщина не опустится до проституции, если ей помогут выкормить ее первенца.

Тут у Розы начался бред...

ЛУРДСКИЕ ЧУДЕСА

УТРАТА ПРЕДПОСЫЛОК

Если человек с годами не обленился, а живет, — он перестает жизни предписывать — он растерял предпосылки.

И как не растерять: глаз видит, чувство мобилизовано, ум подвел категорию, и вдруг бац... дважды два совершенно не четыре.

Последний случай, быть может не самый значительный, но для памяти сейчас самый крепкий, был во Флоренции.

Необычайная Флоренция, притом в пять утра. Поезд влетел с севера и стал, как конь. Все факины [1] и витурины [2] еще спали. Сдав вещи на хранение, предстояло бродить по городу до света.

И до света Флоренция чаровала: над колокольней Santa Maria в глубоком сумраке горел тонкий турец-

---

[1] Факино — грузчик, носильщик (итал. facchino).
[2] Витурино — извозчик (итал. vetturino).

кий месяц, с ним рядом зорко мигала звезда. Улицы оделись историей, потому что заметней вывесок стали глубокие ниши с лампадами перед мадонной. Купол Брунелески казался такой нечаянной легкости, что собственным телом можно было почувствовать, как затихший собор отдыхает под ним от утомившей его дневной пестроты.

На площади перед палаццо Веккио лев Марзукко смешно важничал, вызывая в своей древней памяти, как земляки-флорентинцы заставляли побежденных целовать ему хвост.

Нептун, огромно белый под светом месяца, был мягкотел, а Давид, напротив того, стоял весь подобранный, с белками негра и очень заметной пращой.

Оттого что статуи не были, как у нас, на недосягаемых пьедесталах, а белели до странности близко к земле, казалось, им легко сдвинуться и прошествовать к нише Уффиций, где, миловидно-порочный, как паж, ухмыляется Макиавелли. А лев Марзукко из сказки Андерсена, быть может, иноходцем двинется дальше по мосту над Арно, к тяжелой, как мамонт, горе.

Все кругом было бездумно, доверчиво и прелестно. И вдруг эта вывеска...

Она ярко освещена фонарем мадонны, и ошибки быть не могло:

«Jesu et C⁰ — дровяная торговля».

— Странная профессия для подобного коллектива, к тому же родственно освещаемого светом мадонны, — говорит спутник по вагону, сухой, как тарань, итальянец с синими небритыми щеками. — А ведь у нас в Риме для подобного коллектива есть соответствующий банк Святого духа «San Spirito». Подумайте только:

«Jesu et C⁰» там, быть может, имеют свой онкольный счет! И еще знаю я в Риме сапожника с громким именем Данте. Да ведь и я тоже... Впрочем, прочтите сами.

Он порылся в бумажнике и, подавая визитную карточку, из-под насупленных кустистых бровей стрельнул лукаво глазами:

— A rivedercі...[1] если могу чем быть в Риме полезен — на карточке мой телефон.

В лиловой мгле итальянец исчез со своим чемоданом. Под толстым круглым светом лампады можно прочесть: «Сильвио Кальдерон, сифилидолог».

«Иисус и К⁰», сапожник Данте, сифилидолог Кальдерон... Но, может быть, здесь так только ночью, а днем не будет ничего смещено.

Днем рыжий Арно, сердито пенясь, ударил о камни, небо стало северным и, плача дождем, смыло все краски. Флоренция оказалась просто старой желтой гравюрой.

Два англичанина, прямо из Лондона, сели в трамвай и поехали на Фьезоле смотреть несравненную панораму, хотя ее сейчас нельзя было увидеть. Там, на горе, они в будке выпили много пива и вернулись обратно. Англичане сказали:

— Мы не видели ровно ничего. Но мы все-таки были на Фьезоле.

— Останьтесь до завтра, — говорили им, — ведь если сегодня в Италии дождь, то завтра, наверное, будет погода.

— В Италии, как всюду, дождь может быть сегодня и завтра, — отвечали англичане, уже утратившие дове-

---

[1] До свидания... *(итал.)*

рие к предпосылкам, — раз мы побывали на Фьезоле, нам надо дальше.

И мне надо было дальше, в монастырь Сен Марко, в келью знаменитого монаха-республиканца — Савонаролы. Путь туда мимо прекрасного в пропорциях «Приюта невинных» — Hospedale dei Innocenti, по-нашему — грубо — подкидышей. Он весь в медальонах Луки делла Роббиа: пеленашки на лазурном фоне. Тут же монастырь, в нем келья.

Идя по коридорам, глядишь в окно, чтобы запомнить все, что мог видеть он, когда шел в последний раз из этой кельи на суд священной инквизиции. Шел и чуял свой костер на пьяцца Синьория.

В окно глядит столетний кедр, под ним колодец, черепичные крыши противоположного корпуса, колоннада четырехугольного дворика.

Ударил колокол с протяжной жалобой — таким мог быть звук того колокола «плакальщиков» — «la piagnore» Св. Марка, под звуки которого шло бурное бесчинство его проповедей.

Келья из двух клеточек: в одной распятье, деревянное ложе, зарешеченное, как у преступника, окно. В решетку впаян черный черт, невелик, но нарочито мерзостен, с рогами и скрученным хвостом.

— Il suo diabolo,[1] — сказал монах.

— У каждого свой или только у него?

Монах презрел или просто хотел скорее обедать. Он указал на аналойчик с библией:

— Конспект последней проповеди фра Джироламо.

Amen... это где-то снизу, от колодца. В окне за

---

[1] Его дьявол *(итал.)*.

«дьяболо» флорентийское легчайшее небо — дождя уже нет.

Это неверно показалось из спальни, что проповедь лежит на аналое, подойти ближе — письменный стол со скошенной верхней доской. У Гоголя была такая конторка. На столе библия, прокопченная свечками, распухшая от лет. На ней тонкий желтенький лист с обширными полями. И что-то очень мелкое, строчками — конспект последней проповеди, потом костер на пьяцца Синьория.

Невольное волнение... если бы буквы этого последнего конспекта налились кровью, как в книге схимника из «Страшной мести», если б оказался иной знак жизни и присутствия нечеловеческого темперамента, воли, ярости этого монаха с профилем самого дьявола... все, что угодно, только не то, что на самом деле. Буквы мушиными лапками, как козявки, налезают одна на другую, большие поля...

— Il suo diabolo...

Это новым посетителям все тот же гид-монах. А они, как и мы:

— Его собственный черт, или такой есть у каждого?

И опять ничего: монах хочет скорее обедать.

ШАРЛЬ И КОБЕЛЕК

Шарль, студент Сорбонны, сосед мой по номеру, дал маленькой Сюзет на аборт денег и очень грубо заявил, что если она не умеет устраиваться дешевле, пусть себе ищет более богатого друга.

Сюзет, вытирая пыль в моей комнате, со слезами поведала свое горе. Я удивился, что обидчиком был именно Шарль, по виду корректный, очень культурный француз. Мы с ним ежедневно возвращались вместе из библиотеки св. Женевьевы. Сейчас мне как раз предстояло идти туда, и встреча с Шарлем была неприятна после откровенности Сюзет.

Я прокрался окольными переулками, вошел один в прекраснейшее здание покровительницы города, столь прославленной кистью Шаванна, и попросил «cordon» в отдел манускриптов. Тотчас толстый консьерж, на лоб вздернув очки (он, конечно, читал свой «Petit Parisien»), нажал соответствующую кнопку и, одаряя меня благоволительной улыбкой, сказал неизбежное «S'il vous plaît!»

Противоположная дверь в конце вестибюля зевнула без шума и впустила меня на мягчайший ковер. Меня обдало свежим духом лаванды и другого неизвестного зелья, которым здесь предохраняют драгоценные манускрипты от злого библиотечного червя. Со стен надменными взорами меня сопровождали портреты Людовиков, вплоть до самой последней комнаты. Там завсегдатаи, уже недвижно зарывшиеся в книги, казались инсценировкой восковых кукол музея Гревен, изображающих читателей.

Едва я сдал заявление, из-за одного из фолиантов вдруг закивал мне голубыми деловыми глазами сосед по моей комнате — Шарль.

Занявшись своим делом, я о нем совсем позабыл и, не сообразив уйти, как пришел, по необычной дороге, на улице Суффло оказался с ним рядом.

Каждый раз после Женевьевы мы с ним ходили вдоль больших бульваров и поочередно просвещали друг друга: то Шарль вскрывал мне подробности распри иезуитов и знаменитого Пор Рояля, то я обучал его русским стихам.

— Свьез-да и ко-ро-вод, — повторял Шарль, — эти любимые слова русского поэта стали уже мои собственные любимые слова: свьезда, ко-ро-вод.

Ну как было не сокаянничать над себя уважающим Шарлем, обидчиком маленькой Сюзет:

— Звезда и хоровод... в таком случае, учите раннего Блока:

И несется звездой на коне
В хороводе других амазонок...

— О, сегодня учиться мне «пустяк», — хвалит Шарль, — это от знакомых слов, разумеется.

И он просит еще и еще, так что становится вроде как стыдно.

— А если, Шарль, это вовсе не Блок, если я...

— Э, полноте, — грозит пальцем Шарль, — у меня «ухо», вы меня не собьете с толку...

— Ну так черт с вами, учите еще:

Улыбается с лошади мне
А...ристократический ребенок.

Вечером Сюзет, делая постель, повернула свое посеревшее кругленькое лицо, похожее на большой мячик, и сказала:

— Ах, не подумайте плохо про моего мосье Шарля! Les hommes sont comme les hommes — все мужчины как мужчины, он еще из лучших, он прибавил мне денег и был очень ласков. И потом, ему надо все простить — он едет на днях с «pèlerinage national» в Лурд. Поду-

майте только, он три недели будет братом-носильщиком, он обещал из-за любви ко мне выбрать себе самую злую старуху.

А Шарль, возвращаясь из Женевьевы, с укором спросил:

— За что вы надо мной посмеялись? Тот русский, который рассказал про deshonneur[1] ваших мужчин, когда я похвастался ему ранним Блоком, рассмеялся и сказал, что это очень плохие стихи одного известного, пропившегося после последней войны капитана — un certain capitaine Lebiadkine. О нем писал сам Достоевский, когда капитан еще этого заслуживал и еще не опускался. Однако я на вас обижаться не должен, я еду в Лурд. Впрочем, вы уже это знаете от Сюзет, она вам рассказывает — она покаялась. Я догадался: это из-за нее вы ко мне изменились. Но, право же, это совершенно несправедливо: я cochon[2] не более, чем мои товарищи. И я не виноват, что женщины так безответственны. Я ведь не обещал Сюзет жениться, но я ее обеспечил у самого лучшего врача. Я ей отдал все, ma foi,[3] и я еду в Лурд не на свой счет, а с национальным пелеринажем, как brancardier — брат-носильщик.

— Но зачем, Шарль, вообще вам Лурд? Разве вы верующий?

— Неверующему съездить туда еще полезней. К тому же у нас в семье это традиция: отец мой ездил и дед. Три недели среди изумительной природы, полный отказ от себя ради помощи другому человеку,

---

[1] Бесчестье *(франц.)*.

[2] Свинья *(франц.)*.

[3] Честное слово *(франц.)*.

среди условий, которых там не бывший вовек себе не представит, — о, это такая гигиена. Mais vraiment ça purge l'âme.[1]

Я позавидовал нашим беспризорным, которые умеют, вставив два пальца в рот, без всяких комментарий глушить дьявольским свистом, и, налившись яростью, с виду невинно сказал:

— Вот послушайте, Шарль, иллюстрацию к вашим словам. Недавно, на фуар Сен-Жермен, на прилавке, у стены, стоял жирненький кобелек. Он деликатно обрывал из подвешенного на гвозде снопика осоки травинки. Но только я захотел его погладить, как хозяйка подняла крик: «Не развлекайте мне собаку. Она пюржируется. Il se purge!»

Шарль рассмеялся:

— Это вы недурно припомнили.

— Еще не все, Шарль. Не без уважения к порядкам дома хозяйка прибавила: «Он у меня так чистится каждую субботу». Черному кобельку раз в субботу, вам раз в год — и все тут, вся разница.

— Не совсем, — сказал Шарль, — кобельку это надо, чтобы хорошо бегать на своих четырех, а мне как раз наоборот, чтобы окончательно не стать на четвереньки. Даже самый великий человек с какой-нибудь стороны cochon — это надо за собой знать. И всякому свинству надо уметь дать отпор, его упорядочить физически и морально. Словом, от времени до времени необходимо... пюржироваться.

— О мудрый Шарль, — воскликнул я в восторге, — да вы стилист! Вы продолжатель Флобера, который

---

[1] Это действительно очищает душу *(франц.)*.

учил, сокращая до предела определение характера предмета, давать его в одном слове. Поздравляю: для современной характеристики вашего быта вы это слово нашли: *пюргатив*.

Сколько француженок уже мне поведали день, когда они пюржируются. Сколько французов, склоняя пробор, вместе с гарсоном выбирая по карточке «пля», сплошь и рядом отклоняют любимое «gigot», и по тем же причинам: «Я только что пюржировался». Это у вас священнодействие. Но, избрав для души Лурд, — вы, Шарль, побили все рекорды... И не притворяйтесь, наконец, что вы цените «Dostoevsky»!

Шарль был все-таки умней, чем казался, он, помолчав, сказал:

— Достоевского, вы угадали, мы, конечно, по-настоящему ценить не только не можем, — мы не хотим. Причина — разница психологий. Мы ненавидим совмещать противоположные состояния: у нас даже рабочий, когда работает, не пьет. А у вас знаменитая «Дубинушка» и кое-как засунутое бревно, с которым потом новая возня и новая «Дубинушка»...

У нас если любовник ревнует, то не бежит, как в романе Достоевского, кидаться на шею счастливому сопернику, чтобы затопить в слезах себя, его и ее. У нас если очень ревнуют, то женщину убивают. Иногда даже режут в куски, солят и малой скоростью отправляют в Америку. Или же совсем наоборот; отлично, без малейшей трагедии устраивают ménage en trois. [1] Нет, мы не совмещаем! Мы как быки: у нас шея не гнется, мы просто всем телом должны повернуться в другую сторону.

---

[1] Супружество втроем *(франц.)*.

Вот и я, покончив с маленькой Сюзет, всем существом сейчас — рыцарь Notre Dame de Lourdes.

И предлагаю вам себя в чичероне. Полюбопытствуйте! Коли вышел у нас с вами настоящий разговор, доведем до конца откровенность. Видите ли, до борьбы с вами... — он поправился, боясь быть нелюбезным, — до борьбы с восточной опасностью во Франции никому нет дела, кроме католиков. Зато эти мо-би-ли-зо-ва-ны. И так действуют, что вам бы не грех у них поучиться.

Я покажу вам, как налажены у них диспуты с коммунистами, я поведу вас в агитфильмы, я покажу вам пять — десять тысяч человек — докторов, адвокатов, служащих и торгующих, в обычное время не верящих ни в чертову бабушку и всю ночь салютующих факелом статуе Notre Dame. Вы — наивные восточные варвары, у вас все еще «что на уме, то на языке» и, бог мой, каким слогом,— я ведь выучил наизусть: «лорда́м по морда́м...», а у нас реверанс, у нас хвала — великое сердце де Ленин... Иначе аббаты не выражаются. Я хожу на диспуты аббатов с коммунистами, ей-богу, как на скачки.

Только бросьте наивный камертон Золя, забудьте пламенную мистику Гюисманса! Чтобы увидать кое-что новое, надо смотреть без предпосылок.

— Еду, — вскричал я, — мои предпосылки остались во Флоренции.

В ЛИМОЖЕ

Дорогой в вагоне подобрались уже юные французы. Они острили так ловко, что нельзя было не смеяться.

В группе педагогов один рассказывал, что на экзамене в Сорбонне провинциала до того заторкали, что он

на вопрос: «На сколько лет избирается президент?» ответил: «На десять лет, причем возобновляется по третям».

Другой педагог, желчного вида, попробовал было завести повсюду одинаково скучную волынку о малых окладах, о забастовке профессоров — его пресекли новыми анекдотами. Все были здоровы, благодушны, хорошо пообедали и хотели спокойно обед переваривать: bien digérer, для чего полезен был смех.

Смеялись над правительством, смеялись над собственным пристрастием к suffrage universel.[1] Один усатый божился, что до самого последнего времени помнил фамилию профессора, который спорный вопрос в открытии Пастера предлагал, без шуток, решить посредством всеобщего голосования.

— Для нас, — сказал Шарль, — это «всеобщее» просто мистический авторитет. Даже при убеждении, что большинство, его составляющее, ослы. — Он подмигнул с выражением, которое, предполагал он, должно, без сомнения, выделять его из этого большинства.

Французы вышучивали пресловутую практичность француженок, умудрялись одновременно ею же и гордиться — вот она, наша семья, вот они, наши женщины!

— ...К моей жене приезжала на время войны ее мать, — говорит усатый, — и начинает она, эта моя теща, преоригинально на меня нажимать, черт возьми, через жену, конфиденциальными разговорами: «Непременно, дескать, сделайте себе Альфреда! Довольно вам тратить попусту силы, зачинайте — не то как бы война не окончилась. Мужчин, говорит, в этом году

[1] Всеобщему избирательному праву *(франц.)*.

осталось мало, поэтому вам очень выгодно себе сделать Альфреда».

— Позвольте, но это не ясно, почему именно...

— То-то, что не ясно мужчине, а женщина, вот подите же, додумалась. Во-первых, она уверовала в статистику, которая гласит, что во время войны всегда родятся мальчики. Во-вторых, через двадцать лет, когда этому военному мальчику придет время поступить в высшую школу, у него будет мало конкурентов. Потому что все приличные семьи во время войны, неурожая и прочих стихийных бедствий от зачатий должны удерживаться. Но случай столь соблазнителен, что простительно ради него стать на время — семьей неприличной.

— Ну и что же, — вступилась дама, — извините за нескромность, вы вашу тещу послушали?

— Parbleu![1] У нас уже есть девочка Адель. Прибавлять к Адели еще и Луизу — потому что статистика нас, конечно бы, подвела — слуга покорный.

Усатый захохотал первый, за ним пискнула дама, громыхнули жирным, возбуждающим аппетит хохотом провинциальные аббаты. Но аббаты парижские держались обособленно. Прекрасным литературным языком, с плавными жестами один толстый, выбритый до глянца, рассказывал как забавную свежую новость другому, похудей, с нависшим попугайным носом, о некоем эрудите Лонэ, который еще по приказу Людовика XIV разоблачал придуманность жизнеописаний многих святых.

Усатый весельчак, поглотивший немало абсента, прервал аббатов:

---

[1] Черт возьми! *(франц.)*

— Прошу извинить, у вашего класса слабость к канонизации замечается и теперь, только с разбегу после войны к вооруженным святым.

Аббаты только улыбнулись, ничуть не заступаясь за Жанну д'Арк. Толстый, как любезный хозяин, сказал:

— Выбирайте себе, мосье, святого по вкусу — наша церковь богата разнообразием.

Схожий с попугаем аббат повернулся к своему спутнику:

— Я вас слушаю.

Толстый схватил прерванную нить рассказа и продолжал:

— Итак, когда эрудиту Лонэ старый кюре церкви Сент Есташ чрезмерно стал низко кланяться, подчеркивая свою радость от встречи, тот как-то не выдержал и сказал: «Вероятно, вы меня принимаете за кого-нибудь другого, потому что сомневаюсь, чтобы вы так почтительно и любезно кланялись, если б знали, что я сам Лонэ...» Аббат ответил: «Именно, мосье, потому что я знаю, кто вы, я так низко кланяюсь. Я стараюсь заслужить перед вами, чтобы вы пощадили моего святого».

— Хорошо сказано, — смеялся усач, — молодец Луи Четырнадцатый; словно конюшню, вам вычистили святцы.

Аббаты улыбались, как нянюшка шалуну, и молчали. Они вышли, не доезжая Лиможа.

— Однако вы испытывали их терпение, — сказал я.

— О, мосье, эти всегда возьмут свое. Сходите-ка посмотреть их агитфильмы или проповеди женщинам о неповиновении мужьям. Двадцать веков гвоздили о почитании «главы», а когда сейчас на носу закон о женском равноправии, они, не мигнув, выворачивают

мозги нашим курам. На сцену вытащили жен-христианок против мужей-язычников. Неповиновение жен «главе» им сейчас на руку. Полюбопытствуйте сами, до чего ловко обернулись черные сутаны. Что до меня — я сочувствую Республике Советов, messieurs.

В знаменитом эмалями Лиможе меня прежде всего поразила пустота на улицах.

— Что поделать, — сказал Шарль, — все города к югу от Парижа вымирают. После войны никак не оправятся, а наши женщины при малом доходе мужей родить не хотят.

На прекрасных больших площадях было так малолюдно, как в Киеве в годы смены правительств перед ожиданием нового. Как нарочно, чтобы подчеркнуть это сходство, вдруг из одного кафе послышалось на чистейшем на московском: «Соловей, соловей — пташеч-ка...»

Вошли с Шарлем, спросили кофе. Ну конечно, это он — по родимому пятну спелой малиной у самого уха я сейчас же узнал его. Ни фамилия, ни кто он — мне неизвестно, но я навеки запомнил, как, стоя на пустом ящике на Сенном базаре, за неделю до прихода поляков, час в час по вечерам он выкрикивал речи против поляков.

Однако, едва пришли и вскоре же стали уходить поляки, человек с родинкой тоже исчез. И нужно же было встретить этого «неизвестного» именно тут, на площади Дениса Дюссуба.

— Пестра жизнь, — сказал я, кончая вслух свои мысли.

— О да, — согласился Шарль, — что ни город, то свой обычай. — И уже в масштабах собственного опыта он пояснил:

— Вот если я сейчас спрошу кофе так, как в Париже, то есть «крем» или «натюр» — для черного, меня никто не поймет. Здесь лепить надо фразу без сокращений и подразумеваний — провинция...

Шарль прервал речь, вдруг кинулся к дверям обниматься с входившим элегантным молодым человеком, который был черен, как мулат. Оказывается, в собственном автомобиле этот маркиз К. приехал только сейчас из Италии. Шарль нас познакомил. Маркиз расшаркался, завертелся и, как митральеза, стал сыпать накопленными впечатлениями. Он полон был итальянских сплетен и восторгов перед славой диктатора. Эта слава создала ироническую поговорку по отношению к королю, которого министр совершенно затмил: «Obscur comme le roi d'Italie».[1]

— Забил он его своей квадратной фигурой. Забил короля... — хохотал Шарль. — У нас острят, что он его держит на случай стихийного бедствия! В Сицилии землетрясение — король едет утешать... Еще бы, по традиции, как представитель бога на земле, он ответственен за своего хозяина — пусть распинается!

— А я его хвалю, — прервал маркиз, — этот король тактичнейший из королей. Он понял свое положение — он для страны стал декорацией. Для себя ушел в нумизматику, предоставив власть диктатору. Но, однако, и у «самого» есть соперник, с которым он не на шутку считается — представьте, с принцем де Монте, бывшим д'Аннунцио, да, да... они не поделили Франциска Ассизского! Д'Аннунцио поставил у себя его статую в фашистских доспехах, как единомышленника,

---

[1] Темный, как итальянский король *(франц.)*.

а Муссолини напечатался сам с ним рядом, как с своей аналогией. Перехватил. Двойной же портрет святого Франческо-Муссолини — во всех витринах с анонсом, что книжка — есть аналогия между жизнью и трудами министра и житием святого, «обрученного бедности». И вообще новый принц иначе его не зовет, как «тот, который меня плохо цитирует»! Он говорит: «Все его речи потому мои, что взяты из моих книг. *Это через меня* он входит в историю!» Каково?

— Но что за история вышла в Риме с Идой Рубинштейн — слыхали?

— Премилая история. Ведь это для нее, как известно, написан «Святой Себастьян». Ида приехала играть его в Риме, а папа прислал к ней обольстительного кардинала с воззванием пощадить религиозные нравы, отказаться от кощунственного изображения столь славного святого. Иде польстила просьба святейшего, и она отказалась играть. Принц Монте пришел в ярость, рвал и метал, и в ответ на вопрос бедной Иды: что же ей делать? — кричал: «Convertissez la pape!» [1]

— Мой друг, — сказал, вставая, Шарль, — я знаю, что ваши речи — остроумное вранье. Но итальянцы у окна уже насупились. Пойдем шляться по городу, тем более что русский должен увидеть знаменитые наши эмали.

— Город Лимож происходит от древнего племени Limovia, — наконец, любезно заметив мое присутствие, сказал маркиз, — он выстроен на террасах правого берега реки Вьенн. Там, где был римский город, сейчас только предместье святого Марциала. Нашествие вар-

---

[1] Обратите папу! *(франц.)*

варов заставило жителей укреплять природные террасы, возводить ограды и так далее... Словом, все это есть в географии.

Маркиз, как при появлении, расшаркался, завертелся и исчез. Мы с Шарлем углубились в Лимож.

Общее впечатление от города Лиможа особенное, незабываемое. Это кубический город. Город полон «пособий» начертательной геометрии. Дома массивны, без украшений, зеркала в отелях строго прямоугольны, рисунок паркета — ромб. Все добротно, очень просто и твердых линий. Квадраты, квадратики. Тяжелые фонтаны — как глыбы пелазгов, отчего струйки воды, серебряной и змеистой, выигрывают в легкости и изяществе. У кубов-жилищ окна не углублены, а идут вровень со стенами. Стены же совершенно слепые. Окна, как ве́ками, закрыты серыми, цвета стены, из подвижных дощечек ставнями. Кубы длинными улицами то толпятся вниз к реке, то взбираются на холмы. Город по цвету серо-голубой, дали сизы, как голуби.

Здесь трамвай несерьезен. Одноколеен. Игрушка-трамвай. Кондуктор его останавливает криком, как лошадь. Прохожий машет рукой — кондуктор крикнет вагоновожатому — тот застопорит. Два вагончика икнут друг на друга, и стоп. Кондуктор впустит пассажира, или возьмет пакет передать туда-то, или просто поговорит минут пять, и опять тарахтенье с гор на горы.

На улицах рекламы: красная корова с серьгой в ухе — ухмыляется во весь рот, хваля сыр le gruyère, известный больше под кличкой la vache qui rit.[1] Или

---

[1] Корова, которая смеется *(франц.)*.

Сензано — аперитив. Идиот распростертыми руками держит объявление одного из любимейших сейчас напитков. Он глупо запоминается от Парижа до границ Испании, где возникает, пугая не раз на крутом повороте своей неожиданной бессмыслицей, подчеркнутой к тому же фоном вечных снегов.

— Смотрите, как четко различаются оба города — старый и новый, — показал Шарль на холмы. — На первых выступах террасы, вокруг собора древние тихие улицы. Вон площадь с памятником физику Гей-Люссаку. Знаете, в Париже на улице его имени продаются превкусные миндальные тортики. Увы, это вкусовое впечатление затмевает совершенно первоначальное знание о нем еще с ученических времен как о знаменитом ученом. Это вода на вашу мельницу — «Утраты предпосылок», — засмеялся Шарль. — Как же: площадь Aine, знаменитейший человек, и вывод, не включающий содержания первой посылки, — вывод: миндальный торт за пять франков.

Церковь огромного коллежа на горе, древняя и пустая, самая гоголевская, похоже — инсценировка к Вию, где вся нечисть, оставив Хому Брута, под петушиный крик застряла в окнах. Красного выветренного кирпича стены, стекла окон, битые до отказа, — очевидная мишень для глазомера мальчишек (еще похоже на здание нашего окружного суда в февральские дни). Но тут же вблизи опять прекрасный фонтан, опять площадь перед пестрым «Отель де Виль». Очень крепкие, блестя твердыми листьями, мелкорослые магнолии держат прямо свои белые чашки цветов, одуряюще пахучих. Под ними, в удивительном наряде, в высокой прическе, украшенной кружевами, вяжут чулки молодые лиму-

зинки. Они приехали на рынок и остались до вечера. Мы с Шарлем разогнались смотреть эмали, но эмали оказались закрытыми. Обратились за разрешением к мэру. Мэр — южного города, пообедал марсельскими блюдами. От него за версту так несло чесноком, хоть нос зажимай. Мэр к тому же отказал наотрез: если музей закрыт, то закрыт без всяких исключений. Сказал уже с твердым южным прононсом, будто после буквы «н» у него твердый знак. У нас в провинции русский язык не так искажен, здесь же то, что мы знаем как французский, на улицах можно услышать только в Париже.

— Если Данте — не «Божественная комедия», а сапожник, а Кальдерон — не Лопе де Вега, а сифилидолог, то логично, чтобы Лимож, патентованный город эмалей, закрыл свои эмали единственный раз, когда вы можете их увидеть, — сказал Шарль, довольный своим остроумием. — Для дальнейшего стиля я прибавлю вам соответствующих впечатлений: я вам покажу докторов медицины, атеистов и миракулистов, которые едут в Лурд за «чудом». Идем в настоящий ресторан дю Миди. Там обратите внимание на гарсона, и хотя ему за пятьдесят, не вздумайте назвать его, как мой неопытный русский, «мосье». Он обидится и вас осмеет.

ПРЕДДВЕРИЕ

Гарсон Антуан оказался из типа тех толстяков, которые до смерти сохраняют детообразное лицо новорожденного, совмещая его с бычьим лысым затылком. Для почтенности он отрастил себе последнюю длин-

ную прядь волос и переплеснул ее через всю лысину низко на лоб замысловатым скрипичным ключом. Глазки от мышки, нос от попугая, усы с портрета Генриха IV, распушенные, седые у губ и черные на кончике. Спина и живот сферических линий, и на белом широком пластроне, как лазурный цветок, шелковый галстук.

Антуан — автор изумительных блюд и проявляет профессиональный экстаз пропорционально гурманству заказчика. К нам он подвез на колесиках огромное серебряное животное, вроде черепахи на прямых ногах, и поднял крышку. Боже мой, что за запахи...

— Это «пля де жур», это честь дома, его запивают бутылочкой Марр'а. У нас старый бургонский Марр, мосье...

Глазки прищурены, причмокивание, кулинарный восторг.

— На юге в моде — режионализм, — сказал Шарль. — Идея его та, что департаменты, искусственность, насилие Наполеона над страной надо заменить делением естественным, по областям. Соответственно всем régions Франции здесь меню. В воскресенье — блюда Нормандии, потом Иль-де-Франс, Овернь. В среду Фландрия...

— А в четверг, Антуан?

Гарсон певуче сказал:

— В четверг, мосье, попадают в страну Сирано де Бержерака — телячья головка, соус Грибиш. Сегодня четверг, и я сочту за честь сейчас вам это подать! Завтра, в пятницу, у нас блюда Прованса, в субботу — Жиронды. Если мосье посетят нас всю неделю, то они будут знать, что и как кушает целая Франция.

В этом ресторане обедали клерки, нотариусы, педагоги, врачи.

— Врачей здесь больше всего, и притом двух враждебных лагерей, — зашептал Шарль, — миракулисты, признающие чудом исцеление больных после их погружения в источник Девы, и врачи-атеисты, которые, разумеется, чудо отрицают, признавая само исцеление, в силу особого, еще не вполне определенного наукой фактора. Понаблюдайте за ними — они в вражде, как черные и светлые скорпионы.

Но сейчас врачи не ссорились. Напротив того, они дружно налегали на блюда, цитируя недавно вышедшую книгу одного хирурга: «Лурд в свете медицинской критики».

В книге собраны те случаи исцеления больных, где история болезни была проверена, как советовал в свое время Золя, многими врачами до поездки больного в Лурд, немедленно после внезапного исцеления, а дальше — еженедельно и ежемесячно.

Один только врач-миракулист, небольшой черный жук в очках, выпадал из общего настроения. Он то и дело переставал жевать телячью голову — блюдо «Сирано» — и с волнением спрашивал:

— Но почему медлили так долго с исследованием? Почему обвиняли нас в легковерии и в несерьезности? Ведь факты, факты за нас...

Доктор-атеист, не расположенный во время еды к волнению, неохотно отвечал:

— Исцеление в Лурде долго компрометировали истерички и вся обстановка. Но сейчас, когда усилилась врачебная инспекция, это дело начинает принимать совсем иной оборот. Благодарите Эмиля Золя за

отличную его книгу, которая толкнула на более серьезное изучение нервных болезней, — книгу, которую ваш Рим подвел под index.

— Но мы вовсе не регистрируем нервных болезней! — воскликнул миракулист. — Пора знать, что, согласно правилу ученого папы Бенедикта, у нас регистрируются только случаи непостижимых исцелений самых тяжких форм заболеваний органических: туберкулез позвоночника, раковые опухоли, язвы желудка, энцефалит, перелом костей... идите проверяйте: все всем открыто. Триста пятьдесят врачей давно подписали заявление, что, не понимая этих исцелений, они реальность их признают. Между ними есть профессора факультетов, члены Медицинской академии...

— Успокойтесь, мосье Арриго, не поднимайте старой истории, ведь сейчас наш с вами спор лежит совсем не в той плоскости.

Ловко вскинув, как в игре бильбоке, на свой круглый нос пенсне, врач-атеист, тоже не крупный и плотный, с хорошо вылепленным профилем человек, взял книгу из рук первого врача, все еще сидевшего над телячьей головкой, и, еще не разворачивая ее, уже начал говорить, особенно ясно подпевая на последнем слоге, как, вероятно, привык читать свои лекции.

— Я присоединяюсь вполне к мнению коллег, утверждающих, что в лурдских исцелениях действует некоторый, еще мало исследованный, но, уж конечно, естественный, а не сверхъестественный фактор. Движущими силами его могут быть: внушение или самовнушение. Вы же, врачи-миракулисты, как бабы, сразу кричите о чуде, чем кладете науке только палки в колеса. Мы веровать не можем. Мы, уважая одну только

истину, желаем *знать*. Я лично занимаюсь изучением факторов исцеления уже в послевоенное время, в наши дни. Я работаю с больными, которых прекрасно изучили и мои коллеги и я сам. У многих из них, как, например, у Селестины Брэн, целое приданое из радиоскопии и анализов. Ее, как всем известно, исследовали шестнадцать врачей, и действительно, ее выздоровление — удивительный случай. Кто же его отрицает...

Я попросил Шарля рассказать мне подробно про исцеление Селестины Брэн. Доктор с профилем услыхал и — протянул мне книгу.

Я прочел действительно необыкновенную вещь: молодая девушка, у которой налицо был туберкулезный энцефалит, положение которой было объявлено уже безнадежным, через час после погружения в источник Лурда выздоровела совершенно.

Тут врачи, атеисты и миракулисты, крупно заспорили и перешли на сплошные латинские выражения. Нам же с Шарлем было время идти в агиткино.

Площадь Дюссуба, маленькая, уютная, все лепится друг к другу, вроде декораций к «Мейстерзингерам». Столики на улице, где пьют разноцветные аперитивы, выбежали далеко на середину.

Консьержка, держа в обеих руках увесистый колокол, трясла им на совесть и, как коров, загоняла публику в кино. Она анонсировала католический агитцикл, серию первую: «Снег-примиритель».

В кино толпились во множестве черные сутаны: это молодежь с еще не пробритой тонзурой, ученики духовного коллежа. Им интересно вдвойне: действующие лица — их начальники. Приор монастыря Сен-Бернара и монахини все подлинные, с мест.

Содержание отлично снятого фильма оказалось такое: сухой делец-муж отвергает жену за то, что она не только в переносном, но и в буквальном смысле заблудилась «с другом» в Альпах, с ним же сверглась в пропасть. Жена, слабое невинное создание, оказывается, до смерти хотела видеть Alpenglühen,[1] с чем в течение долгих лет приставала к мужу, на это муж всякий раз по-французски отвечал: «Пустяки!» Он делец, ему некогда. Он, в сущности, сам сплавляет ее для спорта, прогулок и Alpenglühen к неизбежному у французской дамы «другу детства». Друг с удовольствием обучает ее по «Книге песен» Гейне «нюхать розы вдвоем», после чего они, так как агитфильм монашеский, необыкновенно скромно целуются в снегах, не прерывая при этом своего бега на лыжах. Для опасного спуска «друг детства» привязывает жену сухого дельца к себе веревкой, и немедленно они свергаются в пропасть. Друг, разбитый вдребезги, умирает. Женщина остается израненной, но живой, прикованной к трупу. Она не может слабыми руками развязать узел веревки.

Ее длительный и разнообразный ужас от соседства изменяющегося с каждым часом трупа, показанный с чисто монашеским католическим садизмом, просто отвратителен. Полное и коленопреклоненное покаяние дамы, под которое консьержки ревут в голос, сморкаются и всхлипывают. Аббаты сдержанно торжествуют, «исправляя нравы».

Когда грешная жена почти погребена под отлично падающим снегом, ее под аплодисменты всего зала

[1] Сияние горных вершин *(нем.)*.

находят добрые монахи с собаками. Монахи отвязывают ее от трупа аманта и увозят к себе в монастырь. Там они ее лечат альпийскими травами. Труп же мужчины, оставаясь лежать в пропасти, от времени до времени своим страшным оскалом исторгает в публике восклицания ужаса. Несмотря на травы, жена дельца собирается умирать и просит вызвать ее мужа с дочерью.

Оскорбленный муж ничуть не тронут телеграммой приора, но, повинуясь чувству долга, берет девочку с гувернанткой и едет по изумительно красивой дороге в большой Сен-Бернар.

Альпы, собаки, свора прелестных щенков и старые, заслужившие медаль за спасение погибающих, умные сенбернары. Приор встречает мужа с радостной, по его мнению, вестью, что жена его поправляется, на что муж, как «сухой делец», кричит крупными буквами текста: «Если она выздоравливает, я не могу ее простить».

Вся зала в ответ ему: «O, le cruel!»,[1] а приор, взяв за руку, ведет его как-то молниеносно на самые вершины Альп, к месту, где его жена с другом молодости сорвалась в пропасть. Муж и публика видят замерзший труп аманта, приор проповедует, подняв руки вверх, милосердие к грехам ближнего. Альпы делают свой Alpenglühen, сенбернары всей сворой ласкаются к сухому мужу-дельцу. Приор собакам делает знак, все отходят, остается самая мохнатая. Она дельцу лижет руки. Приор рекомендует:

— Это та самая собака, которая нашла вашу раскаявшуюся жену.

---

[1] О, жестокий! *(франц.)*

Зал рукоплещет собаке. Собака кланяется залу. Муж тронут, он трясет собаке лапу и прощает свою жену. Он входит к ней в монастырскую келью, и приор соединяет их руки.

Но доверить воспитание своей дочери все же преступной матери — муж не хочет. Он увозит дочку с гувернанткой домой уже по другой, не менее прекрасной альпийской дороге. Муж-делец с головой уходит в свои дела. Жена проводит дни свои, кормя щенков сенбернаров и ухаживая, ну конечно, за могилой матери, которая оказывается похороненной где-то вблизи монастыря. Дочь сухого отца тоскует по грешной, но милой матери. Приор пишет дельцу письмо с картинкой «Христос и блудница». В увеличенном виде картинка предстает дельцу наяву и во сне и в конторе и в клубе, когда он играет в шахматы... Муж картинкою потрясен, он немедленно берет дочь и едет вторично в Сен-Бернар по новым альпийским путям. Он находит свою жену на могиле матери, расчищающей падающий снег. Окончательное примирение. Снег падает небывалыми хлопьями.

Насчет снега пояснение: «белый покров, покрывающий грех и жестокость».

Публика в восторге читает анонс, что следующий фильм, еще необыкновенней в смысле образования ума и сердца и защиты от «дьявола», уже уехал в Лурд. Зовется он «Трагедия в Лурде» и является предупреждением против идущей с Востока *опасности самого антихриста.*

Конечно, скоро этот фильм можно будет видеть во всех городах, но действие его на душу несомненно бла-

годатней на святой земле под защитой св. девы. Потрясенные «снегом-примирителем», лиможские консьержки долго утирают фартуком слезы, загоняя с площади на нашест своих петухов: «Viens, coco!»

— Какой нездоровый дурман, принудительный и противный, — говорю я Шарлю, лавируя между столиками площади.

— Что же скажете, посмотрев трагедию Лурда... Однако по-своему наши экклезиастики молодцы, умеют прибрать женщин к рукам. И так это выходит удобно для мужей, что, вообразите, у нас многие атеисты ничего не имеют против брака в церкви. Если жена будет бояться хоть ада, дома, знаете ли, всегда больше порядка и домашний очаг попрочней. Вы, génie slave,[1] одержимы вечным терзанием привести себя к тому или иному единству. А мы, знаете, хотим тихой гавани, противоречия нас не смущают — мы хорошо знаем, что если не лицемерить, то их никогда не избыть. Наша культура вашей — прабабушка, а с нас, знаете ли, хватит...

— Словом, по выражению Жана Жироду, французы желают прожить «ограниченно и прекрасно». — Я думал, что съязвил, но Шарль не на шутку обрадовался.

— Чудесная формулировка, как это я мог позабыть... ну да. Жироду национальный писатель!

— Какого же черта тогда вам от нас «защищать»?...

— А цивилизация?

— Purgatif?

— Хотя бы и так, — повеселел Шарль, — за два-

---

[1] Представители славянского духа *(франц.)*.

дцать веков человек себе заработал скромное право — пюржироваться, когда он хочет, и тем именно, что ему на потребу. Без этого права он превратится в машину или в cochon, и вам же первым некого будет впускать в грядущий ваш рай!

Мне Шарль необыкновенно вдруг надоел:

— Я напишу про вас книгу и назову ее «Пюргатив». Гербом будет на первой странице излюбленный Мольером клистир старого образца...

— Только валяйте веселей, mon petit, и ваш пюргатив пойдет во благо нашему пищеварению. Но что касается нас, мы против восточной опасности. И в первую голову, конечно, против вас предпочтем мобилизацию с оружием, не столь невинным, как Мольерово. Au revoir до Лурда. Я должен ехать дальше уже со своим национальным паломничеством.

Я пошел бродить один по Лиможу, как люблю в новом городе — без всякого плана. Так лучше застанешь неизвестный город врасплох, подсмотришь его настоящую интимную жизнь. Идти же по гиду — он, хитрец, непременно подтянется и тебя обойдет.

Вот на повороте, поперек улицы, из-за горки предстала мне старая церковь, совсем гигант-человек: голова — купол, два ската крыши — покатые плечи. В голове, она же колокольня, кувыркаются небольшие колокола. Звук приятно надтреснутый, нежный. Колокола спугнули тучу ласточек. Они на фоне голубой синевы вычертились, как на гравюрах японцев, между разлапых ветвей сухой черной ели. Безмолвно, безлюдно. По высоким стенам заборов несущейся в гору крутой улицы кудрявится ей следом зеленой мохнатой овчиною плющ. Недалеко от церкви беседка, увитая

старой виноградной лозой: висят тяжко спелые грозди, вызывая память о Тике, «Голубом цветке» Новалиса, немецком романтизме. Но размечтаться нельзя — вдруг шибанул ужасающий смрад.

«Утрата предпосылок» опять подстерегла на пути. Старушка, разогревшаяся на скамеечке, кротко мне говорит:

— В виноградной беседке у нас помойная яма — c'est bon pour la vigne! [1]

Старуха, в шляпе кибиточкой, в старинных перчатках без пальцев, которые делают ее подвижные ручки похожими на лапки крота, роющего землю, перебирала в своем фартуке несметные фотографии из Лурда. Оказывается, она ждет свою внучку, которая придет ей читать историю Бернадетты вот тут, под колоколами старой церкви Валерии. Через неделю они едут в Лурд, им надо подготовиться.

— Можно мне слушать? — прошу я старушку, хваля мысленно свой способ бродить в новом городе на авось. — Одному читать гид мне страшная лень!

Старушка рада, у нее плохие глаза, внучка скоро читать устает, я же могу ее заменить. Пришла девочка с двумя косицами, сделала книксен, как делали полвека назад, и мы трое углубились в историю возникновения всей лурдской кутерьмы.

После первой канонизации, прославившей пастушку Бернадетту блаженной, аббаты стараются обработать все сложней и одухотвореннєй ее туповатое лицо, так что на последних фотографиях, которые старушка держала в кротовых лапах, — это просто мадонна

---

[1] Это хорошо для винограда! *(франц.)*

Мурильо. Но подробный гид по Лурду давал ее раннее изображение еще в полосатом платке с посохом пастушки, и, конечно, оно больше соответствовало правде: тяжелый тупой взор и что-то коровье в нижней части лица.

Бернадетта родилась в Лурде на мельнице в очень бедной семье, всю жизнь она страдала астмой, и, быть может, потому развитие ее так было задержано, что и к четырнадцати годам она не могла усвоить самых элементарных вещей, которые полагалось знать всем подросткам, так что кюре не допустил ее до первого причастия.

Она росла спокойная, правдивая, без всякой экзальтации, пишет подробный гид по Лурду, и всем было неожиданно, что видения посетили именно ее, семьдесят лет тому назад, около сейчас прославленного грота. Бернадетта собирала хворост, подняла голову и совершенно неожиданно в нише, образуемой старой скалой, увидала прекрасную даму, обличьем похожую на те изображения мадонн, которые она видела в церквах.

Старушка прервала внучку, чтобы подробно и длительно рассказать малосодержательные разговоры Бернадетты с «дамой». Мне надоело слушать, и, взяв подробный гид, я стал читать сам про дальнейшую судьбу Бернадетты.

Несмотря на огромные толпы народа, вслед за Бернадеттой посещавшие грот, местный кюре долго не доверял чудесному видению. Наконец, призвав пастушку, он потребовал, чтобы она у своей «дамы» в знак удостоверения ее небесной личности попросила бы «чуда». Дальше картинки, те самые, что в Париже еще намозолили глаза, изображенные не только в церквах, но на

тортах в кондитерских, на одеколоне парфюмерного магазина. Это — так называемое «Чудо источника». «Дама» указует перстом, Бернадетта, сидя на корточках, роет землю руками, вода бьет фонтаном.

После этого «открытия источника» видения прекратились навсегда. Три года шел процесс о том, признавать ли явление источника чудесным или нет, и решен, конечно, положительно: место уже стало народной святыней и приносило немалый доход.

После «явлений», о которых Бернадетта повторяла упорно одни и те же слова, отказываясь от всяких объяснений и по-прежнему проявляя необыкновенную тупость к наукам, она поступила в конгрегацию сестер города Невера. Когда духовенство устроило торжественное открытие Грота, на котором она присутствовала, ей было всего двадцать два года, но казалось на вид сорок, говорит очевидец. Все восторги, которыми ее встретили земляки и толпа, нисколько ее не смутили, она просто не поняла, что это относится к ней. Для рекламы она, очевидно, совсем не годилась. Дальнейшая судьба ее такова: она постриглась под именем сестры Марии, исполняя в монастыре скромнейшие должности — кухарки и больничной сиделки. Астма ее продолжала сильно мучить, на колене образовалась огромная опухоль. Быть может, во избежание соблазна, что открывшая источник сама от него не исцеляется, епископ и спихнул Бернадетту в монастырь. А деве одного из ее видений спешно приписаны были слова: «Ты счастье свое получишь не на земле». И действительно, «награды» начались в день ее смерти...

Захлебываясь от восторга, старушка перечисляла все знаки почета, которыми Рим благодарил бедную

пастушку-повариху за ее буквально «бесценные» дары церкви.

Хоронила нашу блаженную целая сотня аббатов, епископ неверский, сам папский нунций.

У девочки от зависти горели глаза, потому что очень пышным похоронам, как известно, девицы завидуют не меньше, чем пышным свадьбам. Она в нетерпении забегала вперед:

— А исцеление на гробе блаженной? А ее процесс в Риме, который ее, конечно, скоро объявит святой, — ах, бабушка, какая слава, какая слава!

Старушка, войдя в роль церемониймейстера при Бернадетте, наслаждалась тоже вовсю:

— Святейший престол назначил комиссию для рассмотрения жизни блаженной, на ее гроб сам епископ наложил свою печать в знак того, что это тело должно оставаться нетленным.

Я с изумлением услышал, что церемония беатификации Бернадетты была совершена уже совсем в наши дни, в 1925 году, в присутствии стотысячной толпы, кардиналов, епископов.

— Еще бы им не благодарить Бернадетту, — сказала невинно старушка, — за сорок лет в Лурде было четыре с половиной миллиона паломников.

Я простился со старухой и девочкой, оставив им на память свой русский перочинный ножичек из ЛСПО. Они думали, что у нас вроде как каменный век, и девочка спросила, умею ли я делать стрелы, чтобы защищаться от волков, которые у нас в неурожайные годы съели на улицах столько детей?

Я прошел в старый великолепный архиерейский сад. У него при входе, на клумбе, пренелепое украшение —

огромный шар из зеленой жести, пустой внутри и безобразного вида; вокруг него георгины. Оказывается, этот шар упал с колокольни соседней церкви, и лимузинки не дают его трогать, опасаясь стихийного бедствия. Городу оставалось одно — разбить вокруг клумбу. Епископский сад, как и все здесь, — террасами. Вокруг много детей. Пониже розарий, где садовники в белых воротничках и широких бархатных панталонах возятся с розами; еще ниже идут огороды с кочнами бело-зеленой капусты и огненным маком, за ними синеет река, за рекой холмы. Это те самые холмы, прославившие лиможские фарфоры и эмали на весь мир, которые я так и не видел.

Все вместе: собор, клумбы, огороды, река, идя этажами одни под другими грандиознейшим амфитеатром, дают оригинальное впечатление нарочного, искусственного города. Город вроде былых панорам Плевны и Карса, где лишь первый план был лепной, а дальше шла декорация с воздушной перспективой. Такой декорацией здесь служат фарфоровые холмы, голубая вода реки Вьенн и старинные мосты, которые шагают через реку как-то шире, чем надо.

К моему изумлению, у клумбы с шаром я натолкнулся на Шарля, который, оказывается, должен ехать немного поздней. Немедленно я проверил показания старухи — неужели правда, что всего только два года назад могли набрать сто тысяч французов, чтобы беатифицировать Бернадетту?

— Вы всё не хотите понять... — поморщился Шарль, — нам ведь совершенно неважно — веровать или не веровать. Мы просто вовремя спохватились... События на Востоке нас заставили спешным порядком

вернуться к своим старым латинским пенатам, и сейчас национальные паломничества — ну как вам сказать — это крепкая вещь, это держит страну.

В ГОСТЯХ У ДЕВЫ

Владения девы состояли из горы Голгофы, той самой, где, по остроумному наблюдению Гюисманса, богомолки прикладываются не к Христу, а к Пилату за то, что он дородней телом и лучше одет. Рядом с горой грот и длинная площадь — «эспланада», окаймленная аллеями чудесных платанов. Их стволы — окаменевшие змеи. Они меняют кожу. Сквозь трещины старой, побуревшей, молодая ярко зеленеет. Фантастичность пейзажа дополняют толпы монахов, худых и черных, с горбатыми носами и горящими взорами, — молодые испанцы, приехавшие из Гренады.

На огромной эспланаде ослепительной чистоты, где происходят процессии, архангел Михаил поражает дракона, а Рафаил, покровитель и любимец паломников, держит в руке ветхозаветную рыбу, исцелившую слепоту Товия своей желчью. За спиной у него современный рюкзак.

Едва вступишь на эту, залитую солнцем, белую бесконечную площадь, с противоположного конца гигантский собор вытягивает два отлогие ската, как приветственные объятия. Старушка, продающая при входе белые лилии, получив за букет лишнее су, принялась уверять меня, что хорошим людям собор, кроме того, что протягивает объятия, еще и кивает приветственно головой. Но мне собор не кивнул, быть может раздраженный неприязненной критикой, которую не может

не вызвать ужасная скульптура Лурда, возмутившая даже обратившегося уже Гюисманса. Она внушила ему хитроумное предположение, что в этом деле замешан сам черт. Из ненависти к деве он-де изловчился нагадить даже в искусстве, ей посвященном: «car le Beau est identique au Dieu même»[1] — кончает он сам увлечением в чисто «языческий» срыв.

Кроме статуй деве, неприятна клиническая группа: Христос показывает свое тяжелое анатомическое сердце монахине Маргарите.

В память коронации мадонны Грота — стоит на эспланаде огромная сахарная белая статуя, окруженная электрическими лампочками. Ночью они огненным созвездием отделяют статую от пьедестала. Дева маячит белым призраком в звездах, ее обступают паломники со свечой длиной в метр и поют ей, как рыцари даме, серенаду — «Ave Maria!»

Хотя торжество коронации было больше полвека тому назад, листки с подробным описанием его продают и сейчас, и паломницы восклицают в экстазе: «Тридцать пять кардиналов! Три тысячи аббатов, сто тысяч паломников — ах, это видеть и умереть!»

На берегу необыкновенно быстрой горной реки, бегущей из вечных льдов пиренейских вершин, — большое убежище для больных. Всюду мраморные доски с датой посещения епископов болонского и миланского — впоследствии папы Бенедикта и папы Пия. Часовня унизана ex-vote военных, белыми султанами учеников Сен-Сира и какими-то неприятными эполетами из шерстяных красных червей.

---

[1] «Ибо Красота подобна Богу» *(франц.)*.

Здесь со времени Золя все потемнело. Сахарная белизна статуй, все так же ужасных по безвкусию, облагорожена рыжими и зелеными узорами сырости.

Базилика, из трех одна на другую поставленных церквей, совсем наше кустарное изображение «лавры». Ее объятиями раскрытые лестницы подбегают вверху к высокой колокольне, на сто метров взлетевшей над синей рекой. Старичок сторож, как про внучат, рассказывает про колокола: кто крестил их, каких чинов и кровей восприемники. Его любимая внучка — Жанна-Альфонсина, почтенного веса в две тысячи кило. Восприемник у нее Альфонсо XII Бурбон.

Между базиликой и гротом большие аркады, направо бюро «медицинских подтверждений» — Bureau des constatations médicales. Хотя учреждение это открыло свои двери и врачам-атеистам, над его главной залой стоит покровителем статуя апостола Луки.

Зала исследований — настоящая «клиника чудес». Около тысячи врачей всех национальностей, профессора факультетов, заведующие клиниками, специалисты по всевозможным болезням здесь сменяются ежегодно. Бюро публикует procès verbaux[1] исцелений. Здесь врачи допрашивают больных долго, терпеливо и бесстрастно. Сейчас каждого исследуют многие, и его папка хранит их имена, свидетельства и диагнозы. В случае исцеления исследования идут обратным порядком, начиная с Лурда и кончая врачами, которые ставили диагноз на местах.

От работ последних лет в недалеком будущем ожидаются интереснейшие научные выводы.

---

[1] Протоколы *(франц.)*.

Вся зала увешана сверху донизу фотографиями — каждое лицо в двух видах. Это трофеи грота — исцеленные. Вот женщина с огромным полусъеденным болезнью языком, который уже не помещается во рту и свисает ниже подбородка. Рядом то же лицо, но после исцеления. Как гордость своей деревни, женщина немедленно вышла замуж и снялась в подвенечном платье. Но впечатление, производимое этой расфранченной фигурой с лукаво скошенными глазами, пожалуй, страшнее, чем на первой фотографии. Хотя на голове флердоранжи, язык, как и раньше, наружу. Теперь уже для удостоверения «чуда». Он нормального размера, с двумя малозаметными рубцами.

На другой фотографии какой-то скелет, фанфаронисто подняв юбки, обнаруживает искривленные болезнью ноги, обтянутые одной только кожей, без всякого признака мускулов. Через три месяца после купанья в лурдской воде этот скелет чудесно отъелся и стал женщиной в теле.

Вот Элиза Рукэ, описанная у Золя: слева — она с лицом, съеденным волчанкой, так называемая «волчья пасть». Справа подальше — она же без всяких признаков болезни, с кучей благополучно рожденных ею ребят.

Еще одна исцелившаяся по роману Золя — Гризет, здоровенная женщина, и кто же разберет, та ли самая, которая слева умирает в чахотке, или другая. Перемены просто волшебны. Под одной фотографией с обидой подписано, что Золя ложно уморил героиню в своем романе — она живехонька, благоденствует и славит деву Марию.

Из залы трофеев открыта дверь в комнату, где стоит большой стол с сукном, на нем графин, длинные

форменные книги, чернильницы и перья — скучные атрибуты обыкновенного заседания.

Вокруг люди, толстые и худые, в пиджаках, то ли они в приемной дантиста, то ли чем-то сконфужены. Они не говорят друг с другом и не курят.

— Кто эти странные люди? — спросил я консьержку.

— Это доктора, мосье, доктора, которые ждут чудес.

Взглянув пристальней, я действительно узнал тех докторов, миракулистов и атеистов, с которыми обедал в ресторане Лиможа. Пред ними графины, они не курят — они ждут чудес. Ну и положение для врачей!

Я прошел по отлогому скату наверх, к церкви Розера, где все было видно с птичьего полета. Едва я уплотнился среди двух южанок, как к моему уху прилипли губы соседки и защекотал ее громкий шепот:

— Мосье, хотя это запрещено раньше срока... но знайте, на днях, когда был португальский епископ, произошло чудо: исцелилась одна монахиня, а в поезде «национального пелеринажа» были взысканы благодатью шестеро.

— Как, исцелились?

— Нет, умерли. Это, конечно, не то что выздоровление, но все-таки благодать. Подумайте, какая разница: умирать грязно и медленно или сразу, под пение псалмов!

В процессии первыми двигались дети Марии и престарелые виержи[1] приходов, чья девственность несомненна для местных властей и аббата.

Им вслед нечестивцы из публики говорили достаточно громко, что в своем целомудрии эти виержи

---

[1] Виержи — девы (франц. vierges).

охранены были лучшим из щитов — собственным безобразием. Хороши среди них были старушки в желтых промытых морщинах, похожие на тщательные портреты Деннера, все в голубых лентах и белых вуалях в честь девы. Они пели разбитыми голосами «Hosanna filio David». За девами черною тучей, как саранча, шли пиджачники.

Оказавшийся вблизи Шарль мне приветливо сделал рукой.

— Шарль, кто же эти мужчины?

— Это Франция, — сказал Шарль, — адвокаты, торговцы из Миди, нотариусы. Это большинство. — И смеясь: — Это все те, кто хочет защиты Запада от Востока, то есть от вас. Au revoir вечером в ресторане «Иисус-Мария». Не покупайте к чаю хлеба, я уже купил пряников «на воде Лурда».

За пиджачниками шли клерикалы всех наций, орденов и покроев одежды. Бородатые миссионеры из Канады, курносые из Бретани, белые францисканцы с вервием на чреслах. Монахи римские, португальские, итальянские окружали эвека[1] под золотым балдахином. Эвек был лиловый, кружевной, золотой. Процессия обогнула крыло базилики, я сбежал вниз вслед за ней, позабыв наверху черный зонт.

Уже колясочки с больными, как толстые пауки, потянулись одна за другой под платаны. Брат-носильщик, впряженный лошадью, казался издали головкой этого паука, а колясочка с человеком — кружок потолще — туловищем.

---

[1] Эвек — епископ (франц. évêque).

Ловко управляемые своими рослыми молодцами, выстроились овалом вокруг эспланады больные, как вдруг хватил крупный теплый дождь, и я вмиг вспомнил про зонтик.

— Вы, конечно, приметили место, пойдем испытать счастья, — сказал Шарль, — на то мы в Лурде, чтобы случались «миракли» большие и малые.

Всходим по скату наверх: голова к голове под зонтами, как войско грибное; тут всем «мираклям» впору ногу сломать. Потоптались, посмеялись, и назад... вдруг снизу через все головы ручкой вперед в меня сам стреляет мой зонт. Сразу не видный за толпой, держит его за верхушку старичок аббат из провинции. Он говорит мне забавные вещи:

— Я был совершенно уверен, мосье, что хозяин зонта придет, я только чуть-чуть заждался и спустился присесть. Уже добрых полчаса, как нашел я ваш зонт и стал просить святую деву дать дождь. Ведь мы у девы в гостях, и, как добрую хозяйку, я просил ее сделать маленький, ну совсем маленький «миракль». «Пошлите дождь, прекрасная дама, — просил я, — тогда владелец зонтика хватится его непременно».

И вот не я, почему-то сам Шарль, сказал:

— Не мудрено, господин аббат, что идет дождь, если на небе туча.

У аббата глаза распахнуты, молодые, детская улыбка. Лицо приятно розово-белой здоровой старостью. Он возразил с укоризненной лаской:

— Прекрасная дама прислала мне тучу...

— Наш глупенький аббат из провинции все же культурен, — заметил Шарль, — он вам отдал зонтик,

он проживет благодаря своей вере лет сто. Поздравьте меня, тот больной «athée»,[1] которого я в свой прошлогодний приезд провозил три недели в колясочке, приехав домой, исцелился и обратился. Сам епископ меня с ним поздравил.

— На кой черт вам подобное поздравление, когда сами-то вы атеист?

— Но прежде всего я француз. А дело Лурда сейчас наше национальное дело. Но я вижу, вы еще это не начали понимать... Но пойдемте к гроту. Раз приехали, надо все посмотреть.

Неприятная черная решетка отгораживает статую девы от грота. Почему? И сторож — не отгороди, растащат реликвии — тоже знакомое.

Дева белая, пояс очень голубой, донизу. Художник Фабиш, который делал лурдскую статую, долго выспрашивал Бернадетту о сходстве; она сказала, что та, которая ей явилась, была много получше. И не мудрено: дева Фабиша — большая невыразительная кукла с глазами, устремленными в небо, с молитвенно сомкнутыми руками и длинными четками. Над головой нимб, на нем слова на пиренейском патуа: «Я — непорочное зачатие». Большой плащ спускается до ног, на туфельках золотые розы.

Сзади девы в нише — четырехугольный камень; по местной легенде — для жертвоприношений в честь древней Венеры.

Впереди, ближе к решетке, железное ветвистое дерево, усеянное подсвечниками, в них свечи в метр вышиной — целый пожар свечей... елка для детей великанов.

---

[1] Атеист *(франц.)*.

Первый огонь был зажжен перед девой в 1858 году спутницей Бернадетты, которая пришла со священной свечой, чтобы попытать, сатанинское ли это наваждение или видение божественное. С тех пор уже семьдесят лет здесь свечи неугасимы.

В ногах у девы, в скале, углубление и загородка с балкончиком — туда кладут ей письма: «ящик писем души».

— Шарль, сколько надо времени деве, чтобы прочесть всю эту корреспонденцию?

И Шарль, к удивлению, совершенно серьезно:

— Два дня. Потом письма нераспечатанными сжигаются, и «ящик писем души» заполняется доверху наново. Это опять-таки не так смешно, как вам кажется сразу: паломникам настойчиво рекомендуется не писать что попало, а собраться внутренно, как перед смертью, пересмотреть свою жизнь, отбросив все мелкое, эгоистичное и вздорное. Если надо принять какое-нибудь решение, то излагать обстоятельства дела, как перед строжайшим судьей. Все это необыкновенно воспитательно, и «чудеса» измененной к лучшему жизни после «письма к деве» — частое явление. Многие именно здесь, может быть, впервые попробовали критически отнестись к себе самим и к жизни...

Все, что видишь тут, уже знакомо по книге Золя — идешь и проверяешь. К удивлению, есть и новое в этом же роде: вот лестница наподобие той, что в Риме. Рядом с первой ступенькой висит благословение святого престола следующего содержания: «Четыре раза в году — день предоставляется собственному выбору — те верующие, которые на коленях подымутся по этой

лестнице на самый верх, с каждой ступенькой получат по одной индульгенции на девять лет».

— Шарль, неужели еще есть охотники ползать по ступенькам во спасение души? Покажите мне этих физкультурников.

— Вы неудачно попали сюда, — сказал Шарль, — Лурд стилизован сейчас: паломничества подбираются однородные. Разве вы не заметили, что крестьян вовсе нет? Поезда с ними придут через несколько дней. Тогда бретонцы, как муравьи, унижут все эти ступеньки. Потом они пойдут на Голгофу, чтобы тереть свои четки для крепости и плодородия о дюжую ногу римского центуриона из группы «Допрос у Пилата». О sancta simplicitas!

— Здесь и образованные паломники мало чем уступают. Я, вообразите, пробовал вчера пособлазнять «Лурдом» Золя братьев-носильщиков, а они мне с невинностью: «Мы не понимаем, мосье, о чем вы? Эта книга поставлена под индекс, и мы ее не читали». Один «брат» — медик, другой из Политехнической школы. Шарль, зачем они врут?

— Что они врут — это без сомнения, — улыбнулся Шарль. — Но если бы мы с вами были меньше знакомы и вы бы меня спросили о том же, вы получили бы аналогичный ответ. И будьте уверены, эти «братья» вас мысленно обругали варваром и, может быть, хуже за «отсутствие стиля». Если бы они не верили ни в черта, ни в бога, как, я предполагаю, и есть на самом деле, раз они приехали в Лурд «братьями-носильщиками», они уже ничем не испортят себе поездки, они даже пред собой ни в чем не нарушат устава...

— Быть может, они напишут «письмо деве»?..

Вместо прямого ответа Шарль с сожалением на меня посмотрел и с достоинством вымолвил:

— Я уже написал, сегодняшний день его дева читает...

Я молчал, потрясенный. Шарль нашел нужным объясниться:

— Разумеется, француз по природе «безбожник» — так аттестуют нас и старинные прописи. «Париж стоит обедни» — это глубоко национальное. И сейчас мужчины даже в провинции таковы. Но во время процессии мы все понесем знамена приходов, адвокаты, студенты из Лилля, врачи, мы для своих домашних наполним бутылки «святой лурдской водой», накупим тортов и пряников, замешенных на лурдской воде. Наша культура стара, мы ни во что не верим, мы только знаем. И всему мы отвели свое место. Больше беспокоиться не хотим. Массис про нас, верно, сказал: «Латинская мысль должна быть расчленена, замкнута, как река, в вековые логические дисциплины». И, знаете, лучше идти до какого угодно абсурда в ее пленении, нежели взрывать цивилизацию, добытую такой дорогой ценой.

Ночное зеленое небо сменило небо синее, знойное. Перед гротом бурливая горная речка, несущая свои волны, пену и камни с высот вечно снежного Гаварни, и во сне непрестанно ворчала. Сейчас эспланада пуста и бела, как налитое известковое озеро, но у девы в гроте пламя — неопалимая купина горит, не сгорает, и в черной нише ее ослепительно белая статуя стоит ночью розовато-телесная от огней внизу.

У решетки тачка. В нее через жерди паломники кладут после процессии на эспланаде свои свечи в бумажных тюльпанах, чтобы не закапаться стекающим

воском. Кое-кто опоздавший, заявив о своем опоздании сторожу, докладывает в «ящик писем души» и свое в белом конверте с голубым ободком. На нем адрес: «A Notre Dame de Lourdes».

Служитель при гроте выбирает неслышно груду «прочитанных» девой писем и несет их на аутодафе. Освобождается балкончик под ступнями девы, украшенными розами. Туда завтра новые люди принесут пуды своей боли и тайной мечты...

Тихо, непрерывно, с кроткой настойчивостью капает воск с сотен, с тысяч пламенных свечей. Уже семьдесят лет неугасимо пылают здесь они, наполняя пещеру запахом меда, легким потрескиванием, чувством непрерывного, наивно-детского праздника. Два ромбика, вделанные в каменную площадку перед гротом, обозначают места, где стояла Бернадетта во время своих видений и где прежде проходила река. Около грота стоит кафедра из лурдского мрамора для проповедей. За решеткой полянка доверху завалена букетами из толстых волосатых цветов.

Ночью особенно неприятны — очень черная ниша, в ней очень белая статуя. Скала вокруг и выше голая, чуть-чуть плющ и трепетная травка. Все вычернил дым неугасимых свечей. На черной скале вокруг снежной девы — тучей гигантских стрекоз костыли. Это ex-voto исцеленных паралитиков, страдавших от ран и исцелившихся у источника. Эти костыли похожи сейчас на стрекоз, потому что у них длиннейшее туловище и глазастая кожаная голова. Крыльев не видно, но и у живых стрекоз ведь они не видны — так прозрачны и неуловимы от вечного трепета. Ex-voto трепещут на ветре, как стрекозы. Скала, в которой грот, зовется на

пиренейском патуа Массабиель — старая скала. Здесь дева показалась Бернадетте восемнадцать раз. Статуя девы из мрамора Каррары — дар девицы Шалемель Лакур из Лиона, работы скульптора Фабиша.

Люди приходят сюда с вечера и стоят за своих больных до утра, до первой мессы, всю ночь. Стояли разные: очень заметен совсем молодой, совершенно седой, красивый монах на коленях, на том самом месте, где ромб и надпись, что именно тут была Бернадетта в первое появление святой девы. Монах развел руки с четками и окаменел. У него по носу ползла муха, забежала в ноздрю, вылезла — монах не чихнул.

Камень под ногами высоко вознесшейся девы был жирен от поцелуев, живой... Какая-то черная говядина — не камень. Как на теле человека, на нем мускулы и жилы. Несметны перед гротом простертые на камнях старухи, девушки, молодые гуляки из Парижа, приехавшие, как братья-носильщики, на две-три недели «очищаться». Высоко над всеми черной бездной зияющий грот, в нем белейшая дева, попирающая ногами в позолоченных розах трепетные травы, колеблемые ветром и черные от копоти свечей.

АГИТКИНО

Давали последнюю серию религиозно-нравственных фильмов, анонсированную еще в Лиможе: «Трагедия в Лурде».

На экране изображен был некий мировой ученый — оплот материализма. Несмотря на то, что католики

взяли свой реванш, вернув в лоно церкви родного внука Ренана, поэта Psicari, который чуть ли не печатно винился за ереси деда, сам Ренан останется у них спицей в глазу — и в агитфильме материалист, который в последнем действии посрамлен, изображается с гримом Ренана. По тексту — вследствие атеизма этого ученого дом его полон особой ядовитой атмосферой. Жена чахнет от неизвестной болезни и умирает. Выросший без влияния церкви сын оказался балбесом и кутилой. Дочь — в отца. Успевает в материалистических науках и отличается в Сорбонне.

Между тем где-то на Востоке люди, похожие на наших давних тургеневских нигилистов — волосатые пиджачники, образуют антирелигиозную «сатанинскую» секту. Они заседают в круглой комнате, где пол расчерчен радиусами, в центре стоит алтарь, из алтаря фонтаном бьет пламя.

Председатель секты анонсируется текстом как «предтеча» антихриста. Он объявляет, что секте дана миссия начать разрушение святынь Лурда. Русские нигилисты, «des Soviets», — так пояснил старичок-сосед — образуют цепь вокруг жертвенника. Они проклинают бога и топают ногами, символизируя попирание святынь человечества. Пламя стреляет в самый потолок. В публике ужасанье консьержек.

Предтеча (le precurseur) в Париже. Он является с поклоном к гриму Ренана, знакомится с его дочерью и, конечно, ее очаровывает, так как она не защищена «святыми эманациями». Дочь Ренана поступает в кружок, где «он» проповедует религию без бога, которая только является продолжением учения ее отца. Но у дочери есть охрана — жених, правоверный католик. Он

приносит католический журнал с портретом «предтечи» и с потрясающим текстом, озаглавленным: «Антихрист ли он?» Крупным шрифтом перечислены признаки, среди прихожан волнение. Аббаты торжествуют.

К отцу приходит друг — ученый из Сорбонны, он пугает «материалиста в мировом масштабе» тем, что дочь его скомпрометирована председателем таинственной секты. Видя их всегда вместе, многие — о ужас! — злословят.

Отец Ренан, несмотря на свою материалистическую мысль, пугается сплетен про дочь, вызывает ее клерикального жениха и предлагает ему свадьбу ускорить. Жених отказывается жениться без церковного брака и, поднимая руку к небу, как пионеры, кричит, кричит крупными буквами: «Моя вера мне дороже моей любви!» Публика из прихожан аплодирует. Отец Ренан делает дочери скандал, требуя разрыва с «предтечей». Дочь без шляпы убегает из дому, чем тотчас же вызывает снег и град с куриное яйцо. Она падает на землю без движения, ее хватил нервный паралич. Отец призывает всех знаменитых врачей, они с глупейшими лицами один за другим говорят: «Неизлечима». Жених требует, чтобы повезли девицу в Лурд на предмет исцеления чудесного. Отец в отчаянии и теперь согласен на все.

Но, узнав про решение мирового ученого, «антихристов предтеча» на аэроплане летит тоже в Лурд. На нем черная разлетайка, которая от ветра топорщится, как дьявольские крылья. В удивительно красивой местности, среди бурного потока, он, встав на скалу, трубой созывает своих черных приспешников. Они в мягких шляпах, переходят поток, озабоченно переступают с камня на камень и глядят себе под ноги,

боясь промочиться. Наконец все перешли и окружают скалу, с вершины которой «предтеча» в черной разлетайке дает им адскую директиву: сорвать сегодня на эспланаде процессию и не дать чудесам совершиться! Все клянутся, подняв уже не правую, а левую — дьявольскую — руку вверх. «Предтеча» прямо со скалы стремглав бежит на Голгофу, чтобы погровить Христу кулаком. Там его встречает материалист-ученый, который, напротив того, кается.

Наконец, в последней картине «предтеча» с приспешниками тщетно пытается взволновать лурдскую толпу. Все напрасно, они посрамлены. Процессия шествует во всем великолепии; справа и слева происходят чудеса. Когда все падают ниц на землю, дочь материалиста встает, внезапно исцеленная. Отец с гримом Ренана движется к рампе до отказа и осеняет себя демонстративным крестным знамением. Восторженные аплодисменты прихожан.

И вдруг кто-то из глуши громко и ясно сказал:

— Берегитесь, ситуайены, все эти наседки через год-два будут вотировать. Подумать только: куда они загонят нашу республику?

И голоса:

— Прямехонько под черные сутаны!

Смех заглушил зычным голосом толстый аббат в пелериночке, возникший вдруг перед рампой. Румяный — добрейший пастор с картинок Фортуни. Впрочем, едва он опытным взором приметил среди своих ручных прихожан каких-то подозрительных блузников, его умные глазки стали колючими.

Сказав несколько слов в похвалу фильму, он как-то ловко перешел к осуждению проповедников пацифизма

и, косясь на неизвестную группу, осторожно стал прятаться за мифо-исторический авангард своей речи. То цитировал Иоанна-крестителя и солдат, то каких-то авторов «до Константина».

— Если страны, наиболее проникнутые духом милосердия, не будут защищать свои границы против варваров, тем самым они осудят себя на исчезновение, а вместе с собой и всю высшую цивилизацию.

Люди в блузах сидели смирно. Аббат осмелел, несмотря на грузную фигуру поднялся на цыпочки и, как-то зазмеившись над кафедрой, выкрикнул:

— Ваш же любезный Жорес в своем предвоенном диспуте с Густавом Эрвье...

Из кучки неизвестных бросили:

— Сейчас мы слушаем не Жореса...

Аббат вмиг утратил колкость тона и перестроился на доброго отца, которому наконец есть досуг ответить своим детям.

— О мои неизвестные враги, я прекрасно понимаю, сколь многих может соблазнить и увлечь мистика коммунизма — le mysticisme du communisme...

Аббат овладел положением, он подсчитал силы, врагов было мало, — аббат пошел в атаку.

— Дайте мне кончить мысль, а потом хоть побивайте камнями. — Он похлопал себя по почтенному животу и состроил на потребу галерки: — Что, неплохая мишень? — И, вдруг повысив голос, который оказался громадным, им заполнил всю залу. По бокам аббата, как архангелы, стали две черных сутаны, подчеркивая значительность того, что сейчас будет сказано.

— Разница между нами и вами, дорогие друзья, или, вернее, дорогие враги, в том, что мы предлагаем

идти миру к золотому веку на земле путем не революционным, а путем эволюции этической. A propos: вся этическая часть московского учения висит в воздухе, потому что, мои друзья, если вы отнимете у этики ее иррациональное происхождение, она не обоснована, она не убеждает. Les moscovites признают Фейербаха, но он весь из Гегеля, а Гегель, ха-ха, уже подлежит у них остракизму! Где логика? И вместе с тем, друзья дорогие, не признавая иррациональных корней этики, les moscovites ее требуют от своих в таких гиперболических дозах, каких мир, как стоит, не видал. Allons, mes enfants![1] Если воздаяний за зло и добро нет никаких, ни бессмертия, то спрашивается, pour quels beaux yeux...[2] если я полон низких инстинктов, какая ничем не обоснованная сила заставит меня им изменить?

— Та сила, что человек благороднее, лучше, чем о нем думаете вы, черные вороны...

— Сила общественного чувства, enfin, культура... — сказали аббату уже не из беспокойной кучки, а откуда-то сбоку.

— А, радикалы... — усмехнулся аббат, как шалунам, от которых можно ждать одних только милых шалостей. — Но ведь вам, как и мне, прекрасно известно, что этика и культура могут совершенно не встречаться... Философ Бекон брал взятки, как мелкий таможенный чиновник...

— А ваши папы брали, как крупные...

Хохотала вся зала. Аббат без смущения потряс перед публикой модной католической книгой Анри

---

[1] Итак, дети мои! *(франц.)*.

[2] Ради каких прекрасных глаз... *(франц.)*.

Массиса «Защита Запада». И с декларацией актера высокой французской школы кричал:

— Эта книга — защита от угрозы порядку, отчетливости, единству и кларизму латинского духа. Словом, защита Запада от Востока. Автор мыслит не только ту или иную страну или форму ее правления — он имеет в виду самый дух... опаснейший пафос всего génie slave.

Из кучки врагов крикнули:

— Скажите лучше — вас пугает Советский Союз.

— О, напротив, — растекся медом аббат, — мы любим эту страну, овеянную вьюгами. Не мы ли приветствовали недавнее пробуждение ее юной культуры, когда Россия была авангардом Европы в Азию? Но сейчас, как в эпоху великих ханов, Массис утверждает, эта несчастная страна превращена в авангард Азии в Европу, то есть совершенно наоборот, и это крайне опасно... Эти русские опрокинули все вверх дном. — Последние слова аббат прокричал уже в ярости, он забыл всю свою выучку. — Русские вернулись к своим азиатским истокам. Каждая идея, попав в этот варварский мозг, из абстракции переходит в конкретность, а наша латинская мысль, расчлененная, замкнутая, как река в гранит, в вековые логические дисциплины... Неужто допустим мы варваров с ней расправиться, как им свойственно, топором? Мы, латинская раса, не желаем разночинства цветов спектра! Наша эволюция да протечет под охраной одного белого луча, символизирующего цветом святейшего облачения — couleur de la vêture du Pape. Увы нам! Род человеческий накануне погибели. Вы только что видели в фильме «предтечу». За этим «предтечей» появится «сам»... Спасайтесь,

братья, спасайтесь, как во времена святого Людовика и королей, объединяйтесь под священной тиарой!..

— Ну, довольно вранья, — сказал у выхода какой-то крепыш, — кто у нас не знает, что империя и папство грызлись, как псы?

Он взмахнул платком — аббату почудился флаг, за флагом могла быть и бомба — аббат отпрыгнул, как мячик, назад. К нему со всех сторон махнули в защиту сутаны. Крепыш развернул большой платок и громко высморкался. Подражая уличным гаменам, голоса выкрикнули:

— Покушение на аббата не удалось!

Зал грохнул смехом и аплодисментами.

ЧУДЕСА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЛЬ

Три павильона против Гава, по той линии, где грот девы. Задней стеной павильоны прислонены к горе, далеко вперед окружены легкой железной решеткой. За эту решетку вносят больных, ожидающих погружения в источник. Сюда доступ только им и их сопровождающим. Над бассейном надпись из показаний Бернадетты о приказе, данном девой: «Идите пить из фонтана и омыться».

Перед каждым из трех бассейнов на площади и посреди ее по возглашающему аббату, которого через десять минут сменяет новый. Вокруг решеток несметная толпа. В день успения она была в пятьдесят тысяч.

К бассейнам в колясочках без счета подвозят больных. Какие лица, какие глаза! В этих глазах в последнем, предсмертном напряжении одна воля — жить!

Два отделения для женщин, одно для мужчин. Там в ледяную воду бассейнов опускают больных. Здесь же сидячая ванна и, для исцеления глаз, ушей и носа, детские клистирчики, в которые набирается святая вода.

В бассейн сходят, в честь святой троицы, по трем ступеням. Вода бежит из двух кранов, символизируя для верующих два естества Иисуса Христа, и еще потому, что воды из святого источника не хватает и он пополняется водой из бассейна, устроенного под церковью Rosaire. В ногах больного статуя девы — копия той, что в гроте.

Ванна длится одну минуту — время, чтобы произнести молитву деве, вырезанную золотом на мраморе на всех романо-германских языках. Поражает надпись на дощечке при входе в бассейн (ее, конечно, во время Золя не было): «Il est défendu de se baigner sans linge» [1] и еще: «Больные, у которых заразные раны или болезни, опасные для других, должны быть опущены последними. Вода после них немедленно заменяется свежей».

Один из пунктов глубочайшей веры оказывается сейчас вытеснен соображениями характера гигиенического (не начало ли это приоритета в Лурде врачей?). Еще Гюисманс видел, как плавала грязная вата и как, погружаясь в кроваво-гнойную воду, люди верили, что под покровом девы заразы быть не может.

Бельгия, Италия, Голландия привозят своих brancardiers («братьев-носильщиков»). Диосезы [2] последовали их примеру: есть «молодые с Юры», есть «кадеты Нормандии».

---

[1] Запрещается погружаться в воду без белья *(франц.)*.

[2] Диосезы — епархии (франц. diocèses).

Перед погружением в ванны бассейна происходит так называемая общая молитва. Для объективного наблюдателя-психолога это, конечно, самое замечательное в Лурде, как для врачей экспериментаторов «Bureau de constatations médicales».

Бельгийцы, англичане — косая сажень в плечах, румянец во всю щеку от поглощаемых ростбифов и футбола, в костюме гольф, увлеченные новым спортом — с готовностью втаскивают одну за другой колясочки и носилки с убогими.

Больные — старики, молодые, дети, многие лишены движения ног. Крепкие, пригвожденные к месту отцы, деды, сыновья и внуки. И неотступно у всех поражают глаза. Недвижны тела, руки — плети, ноги скрючены, одни глаза полны страшной, нечеловеческой жизни. По глазам видно, как все, решительно все, чем мы живем, когда мы здоровы, — съесть может боль. Неотпускающая, она вытравляет любовь к близким и дальним, все надежды, все богатство ума и страстей. Остается в блестящем пустом взоре лишь один страх смерти и нечто страшнее его: непостижимая в таких последних условиях жажда жить во что бы то ни стало.

Про иных шепчутся, их называют. Это уже завсегдатаи, это те, кто сюда тщетно ездит из года в год за «чудом исцеления».

Про большого телом, сломанного в позвоночнике, посеревшего от мук человека, сказали: «Это атеист из нашего города. Он приехал, уступая мольбам матери». Атеист закрыл глаза малиновыми веками; на них, как две черные бабочки, непрерывно дрожали ресницы. За спиной его колясочки была мать. Сухая, необыкновенно миловидная старуха; она странно вытянулась на цы-

ночках, будто балерина на пуантах, и замерла. Быть может, так казалось ей хоть немного ближе к небу и кому-то ее там слышней. Но через минуту, глядя на мать, забывалась балерина и вставал иной образ: так в струнку лежал, попав под трамвай, один неизвестный, когда голова его уже была смолота беспощадным колесом.

Солнце было раннее, легкое, на чистейшем, безгранично пустом небе. От коленопреклоненных аббатов на белые ровные камни площадей упали голубые, повторяющие их очертания тени. Аббаты подняли головы, начали шевелить губами. И толпа сразу заговорила с огромным напряжением людей, которые во что бы то ни стало должны быть услышаны. Это не были известные слова, охлажденные веками, утратившие жизнь молитв; казалось, слова эти рождены были только сейчас в первый раз, от невозможности тысячи здоровым дольше молчать, видя столько страданий. Это были очень простые, всем внятные слова: «Пусть наши слепые увидят! Пусть наши глухие услышат!»

Две тысячи за решеткой стали одна воля: «Наши больные пусть исцелятся!»

Дальше больше, гуще растет могучий волевой напор. Пятьдесят тысяч человек открывают рты, чтобы в тот же миг сказать те же слова: «Пусть наши страдающие исцелятся!» Какая сила!

Здесь дело не в аббате, он здесь менее важен, чем запевало. Он — камертон, вся сила в хоре. К тому же он скоро устает, его лицо не запоминается, один сменяет другого, а толпа все так же — как врытые. Это в ней развивается, в ней копится и выбрасывается огромная и внезапная, как электрическая энергия, сила.

Вспомнилась легенда о том, как создались когда-то пелазгические нагромождения без соответствующих машин. Все племя вот так собиралось, вот так застывало, впиваясь глазами в гигантскую глыбу, которая через какой-то промежуток времени взрывалась.

Толпа собрана, мужественна. Она слитый круг, как волны поднявшихся воль. Толпа одержима мужской утверждающей силой.

«Пусть исцелятся наши больные!»

Больные, разные по возрасту и болезни, сидели в креслах, были распростерты, как надгробия, на носилках или в каменных панцирях из гипса принесены на легких матрацах четырьмя рослыми бранкардье. Малейшее движение причиняло им адские боли, и толпа без принуждений широко расступалась, чтобы их пропустить. Были, судя по нежным белым рукам, очень молодые девушки с лицами, закрытыми густой кисеей. Лица съедены lupus'ом,[1] а девушки все еще надеются стать снова прекрасными. У них на коленях лежат альбомы с фотографиями чудесных исцелений.

Вначале ближайшие женщины пытались держать глаза к небу, пытались шевелить губами, но едва хлынул на них из толпы бурей растущий волевой поток, он сбил, смял, опрокинул их слабые силы. И вдруг все больные — те раньше, эти позже — стали просто какие-то тряпки, вроде «вербной тещи», из которой выпущен воздух. Мускулы лица осели, взоры потухли в идиотском отсутствии, тела съехали, съежились, — последняя воля раздроблена, сдунута вихрем. Они если не умерли, то отдали дух.

---

[1] Волчанкой *(лат.)*.

И сказали тысячи здоровых одной грудью, одним вздохом. Сказали просто и окончательно — прямо в пустое, легчайшее небо:

— Мы ждем. Мы ждем исцелений. Мы целуем землю.

Все пятьдесят тысяч рухнули на колени. Стало тихо. Люди лежали, прижавшись лицом и губами к земле.

И вот я, объективный зритель, не вовлеченный в действие, стал наблюдать реальный переход избытка энергии здоровых людей за чертой в этих обреченных, не имеющих своих сил. Это давание взаймы здоровых больному было несомненно.

Когда здоровые замерли, приникнув к земле, больные, напротив того, вскинулись вверх. Кто поднял руки, кто голову, кто вот-вот встанет и пойдет. Девочка-подросток залилась ярче всех огнем под тонкой кожей, голубеющей жилками. Она встрепенулась, она как бы ринулась вон из себя, вне себя.

Кто знает, какая еще неизвестная восстанавливающая сила, какое могучее воздействие в таком слитии устремлений? Больные, как в клетке токов д'Арсонваля, окружены этим поясом магнетизма пятидесяти тысяч людей. Кто скажет, какой восстанавливающий силы заряд живительной энергии могут принять они в свои пассивные, сраженные болью тела?

И вдруг понятно чувству (ум еще не знает, хотя, конечно, в свое время будет знать и он), что еще чуть сильней напор масс, воли, силы, всего гипнотизирующего слитого кольца — и все может быть. Где сегодня только трепет, завтра движение.

— Вот тут-то и начинается у нас с вами расхождение, любезный коллега, — тихо сказал сзади меня уже

знакомый мне врач-атеист.— Вопрос Лурда больше не в *признании* фактов выздоровления, а только в их *истолковании.* И, простите меня, мы не только вам здесь не уступим, а, напротив того, направим все силы, чтобы вырвать «чудеса Лурда» из рук церкви и всецело передать в руки врачей. Но вот с точки зрения вас, верующих, как не признать, что здесь как раз происходит все, чтобы утратить навек веру либо в мудрость, либо в милосердие вашего старого бога? Подумать только — из нескольких тысяч больных встает только один, остальные остаются лежать. Мы же хотим добиться того, чтобы встали все.

ПЬЕСЫ

ЛЕКТОР-ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Шутка в одном акте

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Лектор.
Коперник.
Монах.
Старуха служанка.
1-й ученик.
2-й ученик.
Ретикус.
Черт — он же Славный Малый.
Заведующий театром.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Лектор *(в пелерине, с откинутым назад капюшоном, входит, запыхавшись).* Извиняюсь, товарищи, опоздал... Пятое выступление... Кляча заводская, а не лектор. Но что бишь у нас? *(Вынимает записную книжку.)* Популярно-научная: Николай Коперник, вращение земли. Старые дрожжи. По совести, граждане, и вас и меня дело это, за давностью лет, до чрезвычайности мало касается. А почтенный глобус, практический результат всего открытия, давно включен в учебные пособия — огромнейших размеров для группы школяров и, не угодно ли, как у меня, брелоком при часах. Обзаведитесь.

Я, признаюсь, поклонник великих открытий, когда они... хе-хе... делаются портативны... как брелок.

Но от лектора, для стажа, требуется двухчасовая длительность и польза. Польза... чтоб умудриться в открытии Коперника открыть еще одно полезнейшее назидание. Но, граждане, рассказывать — язык распух. Пятая... пятая лекция. Разрешите мне показывать. А назидание — само собой, в конце. Предлагаю малень-

кое усилие: в придачу ко всему, что у нас аннулировано, аннулируйте-ка сами предрассудок времени. Поверьте, время — фикция. Отпечатки мировых событий хранятся в мировой памяти. Взнуздаем машину времени и сыграем назад... алле гоп! Очинно даже свободно проходит сердце, легкое и часть печени... так обычно говорит гражданин, глотающий шпагу. Но к делу... *(Заклинательные движения.)*

Машина времени, играй обратно
И в средние века нас унеси.
Последний день Коперника. Чуть-чуть
Истории в ущерб, но в назиданье
Аудитории сгуститесь, тени.
А я, усталый лектор, подбодрюсь —
Монахом грозным стану, речь возвышу
Хоть плохоньким, да пятистопным ямбом.
Не обессудьте, нынче лектор я.
А лектор кто — известно, самородок...
Машина времени, обратно... Гоп!

Тьма.

КАРТИНА ВТОРАЯ

В глубине сцены, как бы в огромной раме, комната Коперника. Окно во всю высоту, между полом и скатом крыши. Книги, измерительные приборы, карты. Коперник в кресле. Он глубоко задумался. Его правая рука перевязана. Он ее сильно повредил, спасая город от наводнения. Сзади Монах. У очага Старуха служанка.

Монах

Я предлагаю выслушать серьезно
И больше вас не стану убеждать.

Коперник

Я слушаю, скажите...

Монах

Для сожженья
Давно уж ваше чучело хранится
В подвале инквизиции святой,
На нем есть надпись: «Еретик Коперник».
Приказано взять ваше отреченье
От ереси, волнующей умы.

(Пауза.)

За чучелом последует и тело...

Старуха

Они не шутят. Доктор, отрекись!

Монах

Старик, раскайся в ереси ужасной:
То, что стоять благословил сам бог,
Не обрекай движенью безрассудно,
Как Птоломей и Аристотель учат,
А наша церковь и отцы блюдут.
Тебя послушать и подумать страшно:
Выходит — воскресение Христово
Произошло не в центре мирозданья,
А на каком-то мелком и неважном
Комке навоза... Кто же станет верить?
И будь хоть истина твое ученье,
Святая церковь корень богохульства
Проклясть обязана...

Коперник

Монах, послушай,
Закон вас учит воскресенью плоти,
Но вы, хитро усвоив букву текста,
Или не смыслите, или боитесь
Всей глубины свободного ученья.
Да, точно: тот воскрес, кто претворяет
Все узы рабства в творческую волю —
И с огненным мечом, как серафим,
Стоит на страже вольного познанья.
Кто весь огонь, тот не гниет, монахи;
Лишь то, что неподвижно, каменеет...
Вы жалки, сторожа хламиды божьей,
Живого бога палачи!

Ученик *(вбегая)*

Учитель,
Тебе со мной шлет Ретикус письмо.

Коперник

Мой верный Ретикус. Но где ж он сам?

Ученик

Сам Ретикус твою спасает книгу...
Великому труду грозит пожар,
Жечь типографию идет толпа.
Ее науськали вот эти люди.

(Указывает на монаха.)

Коперник *(читает вслух)*. Народ, возбужденный монахами, тебя проклинает. Академия требует твоего

изгнания. Университет постановил сломать станки, твой труд сжечь, пепел развеять. Я с учениками буду охранять, пока хватит сил. Посреди площади на костре твое изображение...

Монах

За чучелом и ваш черед, поверьте.

Старуха

Послушайтесь, они шутить не любят.

Коперник

Чему гореть положено, то пусть
Горит и, как земля, пусть станет прахом...
Себя нашедший дух живет в веках.

2-й ученик *(вбегает)*

Тебе оседлан конь. Стоит при входе.
Тебя я крепко охвачу рукой.
Дойдем мы скоро. Силы собери...

1-й ученик

Учитель наш...

2-й ученик

Толпа учует сердцем,
Чего умом ей темным не понять!

1-й ученик

Спасителя, врача в тебе почтит!

2-й ученик

Огонь не ждет. Как подожгут, сейчас же
Бумага вспыхнет... А земля недвижной

Стоять останется, как церковь учит,
И свод на ней стеклянный неразбитым.

Коперник

Я снял с земли недвижности оковы,
Но участь не моя — их снять с людей.
Ученый прост. Его негромко слово
И скромен вид... Но что сожжет их ярость,
Сжигая книгу — лишь значки и буквы,
Живую мысль убить никто не властен,
Раз, воплощённая, она живет.

1-й ученик

Но труд великий...

Коперник

Что ж? Он изречен.
Как пыль цветка, развеянная ветром,
Пусть новых завязей рождает чудо.
Открыть закон великого движенья
Настало время. И его познают...
Своя судьба у книги.

Монах

Доктор, помни:
В последний раз я предлагаю выбор —
От ереси отказ иль на костер...

Коперник

Что подпись для веков? Пустое слово.
Освобожденный путы не наденет,
Порабощенному не снять оков

Монах

Ну, так гори! Иду к святейшим судьям.

(Идет к двери, возвращается, кладет на стол бумагу.)

Пергамент здесь. Надеюсь, ты подпишешь.
С ударом колокольным я вернусь.

(Уходя, выжидающе смотрит на Коперника. Тот молчит.)

1-й ученик *(второму)*

Идем скорей, великий труд погибнет.

Уходят. Картина меркнет. Монах на авансцене лектором.

Лектор. Граждане, как видите, старик из крепких. Но, хоть головой силен, сердцем слаб, как все великие люди. Проверим-ка на нем еще разочек «пытку сердцем». При вашем соучастии, граждане. Да, да, хоть вы и с мест не двинетесь.

Оставаясь на сцене, лектор делает разные фокусные движения. Картина проясняется. Те же. Стук в дверь.

Старуха

К тебе пришли и матери и жены
Твоих учеников.

Коперник

Так пусть войдут.

Входят матери и жены.

Жены

Первая

Пришли просить тебя, почтенный доктор,
Мужьям грозит опасность. Ты виной...

Вторая

Земля вращается — вы их учили.

Третья

Так разуверьте, а не то сожгут
Всех их сейчас же вслед за вами, доктор.

Четвертая *(с гневом)*

Пусть веруют, как приказала церковь,
Вас слушать им теперь совсем не дело.

Пятая

Они семью забросили и дом.

Коперник

Но, женщины, мужья ведь прежде люди,
Потом мужья. Пусть выбирают сами.
Мы призваны не только размножаться.

Первая

Нет, кто женат, тот больше не свободен.

Вторая

Долг мужа — всю любовь отдать жене.

Третья

И дом создать не хуже, чем у прочих.

Четвертая

С тобой погибнет Франц...

Пятая

И Карл!

Первая

И Фридрих...

Лектор

Граждане, не правда ли, совсем как ваши жены?

Коперник

Недаром сказано, что человеку
Домашние его всегда враги.

Жены *(все)*

Клянем твою науку! Отрекись
От ереси своей богопротивной!

Матери *(на коленях, протягивая руки)*

Мы не клянем, мы матери, мы молим.
Верни же небу наших сыновей.
Геенны жар ужасен. Не губи.
Для вида отрекись, чтоб и другие
Посмели безнаказанно отречься.
Их расколдуй, заклятье с них сними.
Помилуй нас, мы не клянем тебя, мы умоляем,
Мы умоляем...

Коперник *(закрывает лицо рукою)*

О, матери...

Дети *(вбегают)*

Не разбивайте голубого неба,
И пусть земля стоит, как нас учили.

Стук в дверь.

Коперник

Кто там? Войди!

Входят рабочие.

1-й рабочий

Нас выбрали сейчас
Просить тебя бумагу подписать.

2-й рабочий

Твое изображенье на костре
С ударом колокола загорится.

1-й рабочий

Нам нужен врач. Сгоришь — кто нас излечит?

2-й рабочий

Без вас кто нам водопровод починит?

3-й рабочий

И впредь земля пускай себе стоит,
Хотя б и двигалась! Сытей не будем.

Удар колокола.

Все

Скорее отрекись...

Коперник стоит в безмолвии.

Лектор. Что, граждане, по совести, тут есть ваш мед.

Удар колокола.

Не пора ли кончать?

(Лектор накидывает капюшон и стучится монахом в дверь.)

Монах

В последний раз совет святейших судей
Вам выбор ставит: подпись иль костер?

Коперник молчит.

Рабочие уходят.

Жены

Первая

Мы чучело зажжем...

Вторая

И вспыхнет надпись...

Третья

Коперник — богохульный еретик.

(Уходят.)

Матери

Мы будем только плакать и молиться.

Третий удар колокола. За окном вспыхивает костер с чучелом Коперника.

Дети

Ой, страшно...

(Убегают.)

Старуха

Грешно мне быть с еретиком. Прощайте.

(Уходит.)

Монах и Коперник остаются одни.

Монах

Мы здесь одни. Я вам открою тайну:
Ценя ваш ум и ваш могучий дух,
Решили мы спасти вас от огня.

(Осматривается, подходит ближе.)

В одном монастыре уединенном
Никто работы вашей не стеснит,
Там ваша мысль себе найдет, поверьте,
Ценителей достойных в мудрых членах
Святого ордена. Пишите книгу
И веруйте, как вам угодно будет.
Земля недвижна, иль она в движенье,
Намеки есть за много лет до нас...
Платон в своем Тимее... Пифагор...
Но для *толпы* нам нужно отреченье,
Для них земля стоит, пока не знаем
Мы формы примирить науку с верой.

Коперник молчит. Шум падающего здания.

Монах

Пылает здание. Великий труд погиб!

За окном звуки похоронной службы.

Сгорело чучело. Его хоронят.
Вы этот хор услышите прощальный
Еще раз на *своем* костре.
Но *(протягивая бумагу)* можно избежать —
земля недвижна,
Лишь *втайне* движется она для нас.

Коперник

Все истины для всех...

Монах

Тебе ж — огонь!

Монах выходит на авансцену лектором. Картина тускнеет. Тьма.

Лектор. Граждане, научно-популярная демонстрация «Николай Коперник» окончена. Старика назавтра не сожгли только лишь потому, что он догадался сам внезапно умереть от разрыва сердца, как обыкновенный смертный. Единственный экземпляр его книги «О вращении земли» удалось спасти его ученику Ретикусу. Он принес его уже мертвому Копернику. Конечно, перед смертью старик, как водится у мудрецов, поговорил, но предсмертные минуты я приказал машине времени отставить. Так называемое величие души нет-нет, а заразительно. А доходов с него никаких... Я же обещал вам пользу и назидание. Из необъятного берите то, что портативно... Брелоки, граждане, брелоки! А идеалы — щебень. Их сыпьте великому движенью под колеса — отличный тормоз, хе-хе-хе... Что ж до ге-

роев, граждане, вы их не распинайте, не сжигайте — вульгаризируйте! Идейка вас встревожит — пустяки. Гоните океан в канаву...

(Поет, дирижируя невидимому хору.)

Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать земли вращенье...

Со всех сторон его окружают подвыпившие граждане с бутылками, они подхватывают:

Дурак, зачем он не напился,
Тогда бы не было сомненья...

Сзади лектора бенгальский огонь. Коперник возникает на заколдованной черте.

Лектор *(испуганно)*. Это в лекцию не входит. Я говорю — конец. Машина времени, отставить. Коперник умер.

Коперник

Себя нашедший дух, он будет жить.

Лектор *(падает, защищаясь рукой)*. Призраки запрещены... *(Исчезает.)*

1-й ученик

Бежим скорей!

2-й ученик

Тебя возьмут в тюрьму.

1-й ученик

Не слышит он.

2-й ученик

Лицо его сияет.

Коперник

Ты мой отец, Великое Движенье,
Я был тебе не раб, но верный сын.
Весь мир и все миры мне были храмы,
Кадилом — пламень духа, звезды неба
К престолу Вечного Движенья привели.
Из склепа вышел, вывесть захотел людей,
Людей, моих плененных тьмою братьев...
Учителя коварные, вы малодушных
Цепями оковали, ослепили...
О, горе вам, вы *путь* назвали *целью*.

Коперник пошатнулся, ему дурно. Ученики подхватывают его и опускают на кресло. Коперник приходит в себя и говорит как бы себе одному.

Один... Врагом всей церкви, всей науки!
Один, один... И верный страж — безумье.

Пауза.

Меня хранил, как шлем хранит бойца,
Тройной закон: хотеть, дерзнуть, познать...

(Встает.)

Познал тебя, Великое Движенье.

(В предсмертном восторге поднимает благословляющие руки.)

Удел дерзающих благословен
В веках прошедших и в веках грядущих...

(Опускается на руки учеников. Умирая, говорит тихо, но внятно.)

Ты мой отец, Великое Движенье...

Ретикус *(стремительно входит, у него в руке спасенный экземпляр труда Коперника «О вращении земли»).*

Учитель, твой великий труд спасен...

Музыка.

Ученик

Слишком поздно.

Ретикус становится на колени, кладет книгу на руки мертвого Коперника.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Мгла. Музыка. Вдруг она обрывается. Красный бенгальский огонь. Та же комната. На кресле Коперника средневековый черт, с рогами и хвостом.

Черт

Коперника я вызвал вам из гроба,
Хитрец меня надул и ожил.
Что делать? Сам я принужден для стиля
Из лектора стать чертом. Отрастил
Хвост и рога. Стеснительно: чужды мне
Уже давно средневековья нравы.

Там надо было человека мучить,
Чтобы унять его душевный пыл, —
Сейчас нам дан приказ совсем обратный —
Ничтожнейшие искры раздувать,
Чтоб раньше срока души не потухли.
Тащить вас в ад, как тащат головешки
Вон из печи, когда в них жару нет,
Плохая прибыль аду... не расчет...
А вы вот-вот остынете. Открыли
Приплоды из пробирок и прививку,
Дающую, как Фаусту, прыть в любви.
Чем черт не шутит — если я шучу —
Того гляди, откроют воскрешенье;
Уж слухи есть: сегодня съеден кролик,
А завтра снова бегает живой,
И кто-то бабушку то в гроб положит,
То, спохватясь, поставит печь блины.
Друзья, в час добрый! Благо догадались.
Но помните, скажу вам по секрету:
Едва своруете из райских складов
Вы яблоко бессмертия, тотчас
Герой исчезнет, как исчезли зубры.
Большие-то не дураки, смекнули:
Я — человек, все люди смертны, ergo
Смерть от холеры иль от тифа гаже,
Чем смерть от добродетели своей.
Не прогадал Сократ с своей цикутой!
А мною вызванный старик нахвастал:
«Себя нашедший дух живет навеки».
А если разум ненароком сыщет
Для вас неумирающее тело,
Что будет с вашим духом? Ха-ха-ха!

Заведующий театром. Товарищ лектор, прекратите! *(Поднимается по лесенке на авансцену.)* Мистификации с упраздненными предрассудками запрещены. Извольте немедленно снять рога и хвост и кончайте лекцию, как начали, в вашем обыкновенном виде.

Черт. Товарищ заведующий, хотя мы с вами говорим через толщу пяти веков, но, обладая машиной времени, я немедленно могу вернуться в современность и понять ваше требование. Вы же, обладая лишь карманными часами, конечно, не поверите, что мне невозможно снять то, что мне дано самой природой. *(Поворачивает хвост.)*

Заведующий *(дергает)*. Извольте отвязать.

Черт. Ой-ой, он не привязан... Отвяжитесь сами!

Заведующий. Я доложу про вашу лекцию. Вас надо исключить из списка лекторов за воздействие на граждан по программе черносотенных инсценировок. Милиционеры, отвяжите хвост!

Милиционеры *(поднимаются по лестнице, трогают хвост и рога, говорят в голос, без удивления)*. У этого товарища хвост и рога свои.

Черт *(сам срывает хвост и рога. Оказывается не лектором, а неизвестным «Славным Малым»)*. Товарищи, а ведь хорош синдетикон. Двум милицейским не осилить. Обзаведитесь, граждане — необходимость в домашнем быту. А изобретатель — я. *(Многократный поклон во все стороны.)*

Аудитория свистит в ключи. Крики: «Жулик! Рвач! Загримировался нашим лектором! Вон его!»

Славный Малый. Граждане, зачем шумите, сейчас все разъясню. Тсс... *(Слушатели умолкают.)*

Я с труппой, граждане, не жулики, а инициативный драмкружок. И все мы — драматурги, чьи пьесы «не берет театр». Войдите в положение — ведь где-нибудь, а надо нам сыграть. Ваш лектор заболел. Я им загримировался. По бедности в конце пустил рекламку, однако же чуть-чуть. Культуртрегерства гораздо больше. Так будьте ж справедливы, граждане, и не свистите. Признайтесь: и мыслей и культурных впечатлений от лектора-заместителя вы получили больше, чем получаете порой от лектора штатного.

Занавес.

ПРИЧАЛЬНАЯ МАЧТА

Пьеса в четырех актах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ермилов — начальник экспедиции.
Анна Федоровна — его невеста.
Древс — капитан «Победы».
Ремешков — штурман.
Петрик — стюард.
Ока — молодая ненка.
Товкач, Кашлатый, Падеркин, Выкин, Доков — матросы.
Дарья Логовна — завхоз станции «Причальная мачта».
Илья Капитоныч — кок.
Крон — радист.

АКТ I

За полярным кругом, у Новой Земли. Слева — небольшое судно «Победа», вмерзшее в льды. Справа, на ледяной полянке, матросы Падеркин и Кашлатый оканчивают снаряжать каяки для научной экспедиции Ермилова. Стюард Петрик им помогает.

Кашлатый. Ну, теперь в точку! Днище выстлано спальным мешком — вроде как у птицы гаги в гнезде; вторым этажом продовольствие: сухари да пеммикан — по-нашему, мураши толченые. Аккурат с картинки! Теперь понапрем, засупоним... и с самим Ермиловым двинемся к норду! *(Орет.)* К но-о-рду!..

Падеркин. Заткнись, Кашлатый. Эк развезло тебя от прощального обеда. Рассупонь каяк-то. Медикамент забыл? Индивидуальный пакет Анна Федоровна принесет. Его, што ль, в зубы, как пудель?

Кашлатый *(развязывает)*. Что дело, то дело. Без медицины на полюсах — дело бамбук.

Кок *(подходит)*. Снарядились, научэкспедиторы? Наше вам с кисточкой! *(Подает банки консервов.)* Вот вам. Ложите гостинец куда поспорчей. Эх, Кашлатый, с кем без тебя гагарок бить стану?

Падеркин. Чего, кок, причитать вздумал? К лету как раз и будем назад. Дойдем с Ермиловым до его градуса, и обратно.

Кок. А хочешь на плавучую льдину без всяких градусов? К самой к полярной матушке? На полюсе, брат, декретов не пропишешь. Вот вмерзли мы тут — и никаких гвоздей, пока лед сам не сдвинется. Уж лучше на месте сидеть, чем по чужому делу замерзнуть.

Кашлатый. Хорошо чужое! По научное открытие идем! Во всесоюзном масштабе.

Кок. Во всесоюзном, да не в твоем, деревня! Ну-ка, скажи, коль знаешь, чего ради охотником вызвался?

Кашлатый. А вот и скажу! По целым двум пунктам вызвался. Пункт первый — для ради лозунга дня, именно революция на культурном фронте. Пункт второй — по сознательному мечтанию иду: на Землю Франца-Есифа желательно мне попасть.

Петрик. Эк куда хватил! Путь научэкспедиции совсем не в ту сторону. Ермилову необходимо сделать промеры вблизи мыса Медвежьего.

Кашлатый. И хорош стрелок, а когда попадет, когда спуделяет. Бывает: целишь в ворону, а попадешь в корову... Снится она мне, эта Земля.

Кок. Ну и что ж? Особо как хороша?

Кашлатый. Хороша. Пу-устым-пустая земля. И белая!.. До того, мамоньки, она белая — ну, совершенно холсты, один к одному. В Смоленской губернии у нас вот так бабы холсты белить на солнце кладут. Побелены несметны холсты — Франца-Есифа Земля. И с чего-то, ребятки, до того мне выходит родная — не увидевши, не помру.

Кок. Ну и Кашлатый! Клоун-эксцентрик. Чего, спросить, здесь-то другого видал, кроме белого пустыря? Что до меня, товарищи, я на полюсе жить согласен не иначе, как когда там какую «Асторию» разведут. В кают-компании слыхал: проектируют «Дворец на полюсе» — циклоны обслуживать. А где люди, там прейскурант вин, там старший полярный кок — во всесоюзном и вполне интернациональном масштабе. Хе-хе! Стаж невредный! «Товарищ старший полярный кок, а какое такое, — спросят, — сегодня пля де жур?» — «Суп пармезан а ля рен, провансаль на тюленьем жиру...» Белого Мишку пломбир крутить приспособим... Хо-хо!

На судне бьют склянки.

Падеркин. Скоро Товкач с ревизией грянет.

Кок. Да у вас все готово. Еще в камбуз на минутку поспеете. Для вас, други, есть экономишка от обеда. Напоследки такого сливанского вам закачу!.. Что пред ним спотыкач!..

Падеркин. А ты, Петрик, при каяках побудь. Не ровен час, медикаменты принесут: принять надо.

Кашлатый. Мы, браток, живым манером. Посошок в путь-дорожку и назад. На твою долю, Петрик, мы обязательно... обязательно...

Петрик. Ладно, катитесь. Подожду.

Все, кроме Петрика, уходят.

(Вынимает бумажку и читает.)

Стоит ей своим дыханьем
Только раз на землю дунуть —
Зацветут цветы в долинах,
Запоют, заплещут реки.

Это, собственно, поэт про весну, а я списал и думаю про Анну Федоровну. Пожалуй, довольно я ее подготовил за последние дни. Как придет, сейчас ставлю вопрос — я или он. Ясно, что Ермилову наука ее определенно выключает из сознания.

Входят капитан Древс, штурман Ремешков; Петрик прячется за ледяные торосы.

Капитан *(с сильно немецким акцентом)*. Верьте мне, Ремешков, вы не имей причина мучить ваша совесть. Наша разумная Idee не есть состав преступления. Я вам буду еще один раз повторять: я брал на мое судно научэкспедиция Ермилов одним случаем. Он просил в последний момент, когда делался больной капитэн зафрахтованной для его дела шхуны. Я делал уговор возить его до бухты Крестовой. Он уверял — там будет ждать его одно замешательны открытие. Nun, он брал высоту, делал промер и разны учены манипуляции, aber keine Spur.[1] Он гнал нас в этажи выше — очень хорошо; я брал еще градусы — опять ни одного знака открытия. Штурман Ремешков, я не есть мештательны голова из породы тех, кто хочет садить первый на Северны Pol, я есть капитэн коммерчески судно, я имею своя карьера в высококультурны страны, и к ученому из Страна Совет я хочу быть только лоялен. Повторяю, Ремешков, я и есть лоялен. Наша фамилия Древс — все абсолют лояльны люди. А ученый из Страна Совет сам не знает, что хотеть от страна вечный лед. Он, может быть, Ремешков, имеет щупать пальцем весь океан, чтобы находить seinen meteoro-

---

[1] Но никаких следов *(нем.)*.

logischen Punctum.[1] Но мне за ним не очень надо прыгать. Совсем напротив! Как это, Ремешков, у вас говорят: кто скоро прыгай, тот плохо попадай домой.

Ремешков. Вы, верно, капитан, хотели: тише едешь — дальше будешь.

Капитан. Jawohl, Ремешков. Я люблю ваш русски язык.

Ремешков. А все бы лучше, капитан, сказать на совесть Ермилову, что динамиту малая толика у нас есть. После первой хорошей бури, едва лед надтреснет, мы его взбодрим — и фьюить в чистую воду. Мы, дескать, хотим домой в Архангельск, а вы себе как хотите. Поверьте слову, он все равно уйдет. Ученому коль втемяшилась какая комариная пятка, уж он не усидит на месте, пока ее не найдет. Право, капитан Древс, лучше нам все честь честью, лучше сказать про динамит.

Капитан *(в волнении)*. Нет! В этом нет ничего возможного, Ремешков. Не кладите под мое колесо ваша палка. Мы должны громко повторять Ермилов, что мы не имеем совсем динамит, что наш бедный боцман его совершенно выбрасывал за борт. Я экипажу объяснял: боцман имеет одну манию, что Ермилов уведет нас всех на Северный Pol, и когда лед охватил судно, он обрадовал и утопил динамит. Это крепко придумано, Ремешков. Kol-los-sal!

Ремешков. Но, кроме Ледовитого океана, есть еще суша, капитан. Как мы на суше оправдаем наш уход?

---

[1] Свой метеорологический пункт *(нем.)*.

Капитан. О, штурман Ремешков, вы не есть Шерлок Холмс! Какое есть ваше мнение: долго ли может протягивать свою жизнь наш бедный боцман?

Ремешков. Да, сдрейфил бедняга, что говорить.

Капитан. Есть, Ремешков. Отдавайте ваш ответ дальше. Может быть, что боцман перед смертью приходил в себя из тихо безумного состояния и делать еще одно признавание, что динамит им не выброшен, а, напротив того, есть спрятан. Он даже может указывать место. Перед смертью человек всегда должен иметь свою совесть. Слушайте, Ремешков, наш экипаж давно в цинге лежит на койках. Запасы брали на месяц, а живем здесь три. Конечно, я приказывал делать экономия, я в секрете умел сохранять провиант. И все-таки, не считая больных, у нас должен оставать минимум экипажа: только четыре человека мы можем без голода доставлять на земля. И этот минимум, Ремешков, есть: я, вы, стюард Петер, чтобы лазить на мачта, и кок, чтобы делать кухня. И сверх комплект, как один счастливый выигрыш, — прекрасная Анна Федоровна. *(Поет.)*

Ach, Annchen war ihr Name,
Sie war die shönste Dame,
Die Dame zum Plaisir. [1]

Ремешков. Но все-таки как выполнить дело с уходом, капитан?

Капитан. Это вы будете смотреть в назначенный час, Ремешков. Придя в Архангельск, я буду давать подробный отчет, и я первый буду радовать, когда за

[1] Ах, Анхен было ее имя, она была самая красивая дама, дама для утех *(нем.)*.

ученого из Страна Совет Ермилов будет ходить одна шхуна тоже из Страна Совет. Но прыгать в его след, как одна блоха, — bitte schön![1] А вы, штурман Ремешков, вернетесь в ваш дом к самая ранняя весна. Вы будете копать ваш маленький сад. О, я знай, вы есть любимый садовый фруктовод! *(Хлопает по животу Ремешкова.)* А, Ремешков, антоновски яблочко! О, я тоже есть любитель на один свежий яблочко! *(Поет.)*

Ach, Annchen war ihr Name...

Петрик. Негодяй! Предупрежу Анну Федоровну... *(Убегает.)*

Ремешков. Последнее слово, капитан Древс, — вы, значит, все это дело берете на себя? Только на себя? Я знать ничего не знаю?

Капитан. Когда с вами ваш капитан, ваше дело, Ремешков, слушать и... *(палец к губам)* молчать. А теперь идите давать распоряжения. Проводы экспедиции имеют быть на палуба.

Ремешков. Есть, капитан. *(Уходит.)*

От судна к каякам с индивидуальными пакетами для экспедиции идет Анна.

Капитан *(преграждает ей путь)*. Очень хороший вечер, фрейлейн Анна.

Анна *(кланяется мимоходом, хочет пройти. Древс ей ловко целует руку)*. Я тороплюсь. Надо передать экспедиции...

Капитан. Матросы ein bischen[2] выпивают с коком, и я рад быть с вами одна минута глаз на глаз.

---

[1] Благодарю покорно *(нем.)*.
[2] Немного *(нем.)*.

Ах, Анна Федоровна, отчего вы совсем не хотите вспоминать, как мы с вами три года назад были очень хорошо знакомы? Вы с экскурсантами приезжали в наш город, вы смотрели мое судно... мы немножко с вами крутил. Ха-ха! Нас немножко стрелял из лука бог Амур, der lustige Kerl.[1] И голосок у вас был как у одной ласточки: и вы всё пели куплет из Жирофле-Жирофля. *(Напевает без слов.)*

Анна *(смеется)*. Вы безбожно детонируете, капитан. *(Поет немного, вдруг спохватывается.)* Но я совершенно изменилась с тех пор, капитан Древс. Я — невеста Ермилова, и, право, нехорошо, что вы всякий раз при встрече пытаетесь вызвать в моей памяти те случайные дни безответственной ранней юности.

Капитан. О, die süße Zeit![2] Незабывающие дни! Фрейлейн Анна, я вас так потом искал, я справлялся, но вы, как говорят, капнули в воду. И вдруг так необыкновенно мы встречаемся, и опять на этом моем корабле. О, это судьба! S'ist fatal! *(Подходит близко.)* У меня в каюте есть пианино, мы будем вспоминать.

Анна. Повторяю в последний раз и окончательно, капитан Древс, я невеста Ермилова и совершенно новый, иной человек.

Капитан. Прошу извинять, Анна Федоровна, но ваш жених не торопит жениться. Он торопит уходить от вас. Секстан и другие измерительные приборы ему есть более нужны, чем вы. О, не сердитесь, фрейлейн Анна! Я возьму терпение, я буду ждать, когда вы

---

[1] Веселый парень *(нем.)*.

[2] О, сладостное время! *(нем.)*

делаетесь опять любезны. *(Берет под козырек и уходит, видя, что от кока идут к каякам Падеркин и Кашлатый.)*

Анна. Падеркин, Кашлатый, вот вам индивидуальные пакеты. Здесь все необходимейшие лекарства. Осторожнее — и очки тут. Имейте в виду, их надо надевать много раньше, чем разыграется снежная слепота. Ведь это очень мучительная болезнь.

Падеркин. Премного благодарны, Анна Федоровна. Всю вашу лекцию упомнили.

Анна. Вазелином мажьте носы пожирней, и тоже — пока не хватило морозом.

Кашлатый. Ишь как она, мамочка, на нас разоряется, ровно б наседка на цыпок.

Анна. Скорее на утят — выросли и уплыли, а я сиди на берегу да квохчи. С какой бы радостью я с вами пошла!

Падеркин. Нельзя, Анна Федоровна. На первом перегоне ножки протянете.

Петрик *(вбегает в крайнем волнении)*. Анна Федоровна, я вас ждал, вы не шли. Всюду вас искал... Крайне важное сообщение! Уделите десять минут.

Анна. Вчера битый час говорили про свободное чувство, и сегодня и завтра про то же. Наперед знаю. Думаю, можно отложить, когда экспедиция уйдет.

Петрик. Нет, пока не ушла. Немедленно! Все надо бросить и слушать.

Анна. Вы просто в аффекте. Я этого не выношу. И это, знаете, бестактно: до отхода экспедиции остается какой-нибудь час, и все минуты я желаю посвятить только ей. Каяк Ермилова еще не готов, а вы тут...

Петрик. А, так!.. Действительно, мне нечего хлопотать. Только помните, я предупреждал. Я хотел по-хорошему. Я хотел... А впрочем, плюю на романтику!.. *(Убегает.)*

Кашлатый. Чисто жеребок, коли ему шкипидару под хвост...

Падеркин. Молодо-зелено. Однако правильно старики говорят: баба на корабле — пропасть кораблю. Извиняйте, Анна Федоровна, это из-за вас парень не в себе.

Анна. Довольно ерундить. Кашлатый, что за рассеянность! Топор на очки положил. Стекло разобьете — кто вам тут вставит? Разве белый медведь...

Кок *(выглядывает из-за тороса)*. Товкач налетел. Говорит: торопи, чтоб камни носили. Да вот он и сам.

Товкач *(коку)*. Тебя, кок, треба посылать одну смерть шукати. *(Кашлатому и Падеркину.)* Эй, братва, тащи заготовку. В честь экспедиции воздвигать будем гурий. Отчего проволочка?

Кашлатый. Каяки уминали, товарищ Товкач.

Товкач. И за ворот заливали. Це дило. Ну, таке ваше щасте, что прощальный, как говорится, час. А не то и тебе б, кок, влетело. В наказание таскай, толстопуз, с нами камни. Ну, швидче, веселей!

Кашлатый. Товарищ Товкач, а томно чего-то самому себе на памятник эти камни таскать. У нас, в Смоленской губернии, такая примета: кто при жизни крест закажет, тотчас помрет.

Товкач. Дураки у вас в Смоленской губернии. Раньше своей смерти никто не помрет. К тому же гурий ни трошки не крест, а окончательно научное обозначение из конусообразно сложенных камней. Посре-

дине сохраняют железную коробку с документом для ознакомления последующих экспедиций. Всюду, ребята, нам смена идет: на суше, как и на море. В Ледовитом же океане, товарищи, после «Красина» держись как в комсомоле перед чисткой — хоть дóхни, а нагрузку выноси.

Падеркин. Небось и мы не лыком шиты — знаем: благодаря того гурия узнают местонахождение погибшей экспедиции и то, как она в общем и целом использовывала науку.

Товкач. А коль знаешь, шевелись! Веселей! Я ж произведу инспекцию каякам.

Падеркин, Кашлатый и кок носят камни, складывают в конусообразную кучу, что-то поют. На первом плане Товкач с Анной по переписи осматривают каяки.

(Перечисляет по реестру.) Один ходомер... компасов аж три... Секстан.

Анна. Есть, товарищ Товкач.

Ермилов *(входит)*. Анечка, вот где ты. А я... везде тебя ищу. Наконец свободная минута выпала.

Анна. Пакеты у всех есть и очки. Твой каяк приведен в исправность.

Ермилов. Постучи, Анечка, пальцем. Не каяк — барабан. Это работа ненок. Они обтягивают остов сырой тюленьей шкурой. Отличный народ ненцы. Надеюсь, ничего лишнего в каяках? *(Пробует увязку.)* Слабо. Подтянуть. Увязано должно быть так, чтобы перевернуть и не выпало. Все дело в том, что...

Анна *(беря его за руку)*. Да уж Товкач научит. Платон, у нас тобой счетом минуты. *(Уходят в сторону.)* Посмотри, какое небо. Вот наши звезды. Ведь

это про них сказано: «Блещет алмазной подковой полярный венец»?

Ермилов. Да, да... северный венец. Буду на него смотреть и тебя вспоминать. Сентиментально... как немецкие молодожены. *(Обнимает Анну.)* Вот вернусь через месяц, и уж надолго. Женимся, Аня.

Анна. Знаешь, капитан Древс мне только что сказал, что тебе секстан и компас нужнее меня. И так противно смеялся.

Ермилов. Однако... смеяться хочется и мне, Анечка. К кому приревновала. Компас и секстан! Конечно, они мне всего нужнее, когда я должен делать вычисления.

Анна. Платон, не знаю, мне почему-то так страшно, что ты уходишь.

Ермилов. Но, Анечка, дорогая, ведь через два месяца мы встретимся снова. Двинемся в Архангельск и назад домой. У тебя здесь столько работы. Время пролетит, и не заметишь.

Анна. Платон, слушай, неужели нельзя меня взять? Я не буду обузой. Я здорова, сильна. Я столько мечтала, что вольюсь в твою работу и вместо обычного взаимного непонимания у нас окажется такая богатая, такая необыкновенная жизнь.

Ермилов. Дорогая, с меня довольно, что ты веришь в мое дело. Это множит мои силы. Но, Анечка, если б я взял тебя с нами, я бы не мог отдаться совершенно работе.

Анна. Правда? Ты бы помнил, что я где-то тут?

Ермилов *(смеется)*. Опять ревность к секстану. Слушай, Анечка, серьезно. У нашего Союза шестнадцать тысяч километров береговой линии за полярным

кругом населено поморами. Быть может, именно мне выпадет на долю перевести их из нищеты в благоденствие. Анна, верь в мое дело. Большего мне и не надо.

Анна. Но мне, Платон, мне надо больше. Мне бы хотелось самой в этом деле участвовать. А то кто я при тебе? Прежняя мужняя жена. Ах, как еще много нас таких — хотим по-новому, а живем по-старому.

Ермилов. Зачем тебе непременно мое дело? Ты себе, Анечка, *свое* найди. У каждого свое, а вместе — отдых, — вот оно и выйдет новый союз...

Анна *(прерывает)*. Прости, Платон, об этом не время. Ты сейчас уйдешь. Ну вот... обещай надеть вовремя очки! От снежной слепоты одно спасение. Глаза у тебя такие слабые. Ах, я стала бы твоими глазами, если бы ты заболел.

Ермилов. Милая. *(Целует ее.)* Не заболею. Буду помнить наказ. Смотри, Аня, смотри, что на небе...

Северное сияние во всей силе.

Анна. Изумительно. Голубое... зеленое. А вон там совсем аметисты.

Ермилов. Нансен прав, что сравнить это можно только с далекой симфонией на немых трубах.

Товкач, за ним Падеркин и Кашлатый.

Товкач. Глядите-ка, товарищ Ермилов, хороши хлопцы! Жестянок слямзили.

Падеркин. Это, товарищ Ермилов, еще гостинец от проводов.

Кашлатый. Тетеньки надавали.

Товкач. А вы да чтоб не слопали? Вали коку обратно в общий котел. А прочее все у них в каяках, товарищ Ермилов, как говорится, без последствий. По-

клажа распределена. Хай берегут каяки, як очи. Назвались, братва, груздем, лезь аж в кузов.

Ермилов. Теперь, товарищи, кончайте гурий. А мне из лаборатории надо еще кой-чего набрать из приборов. А там проводы — и к норду! Идем, Анна.

Уходят. Товкач, Падеркин и Кашлатый остаются.

Товкач. Не хотел вас, товарищи, перед начальником дюже ремизить. Ан за дело бы. До жестянок ли? Ведь вы, собачьи дети, теперь вроде научэкспедиторы, пионеры аж самого Ледовитого океану. Пора, товарищи, сознательно. Подумайте, под какой наукой пойдем? Под самой матерологией! Эта наука, товарищи, она погодами заправляет, вроде заведует полюсом. По-советски называться ей впору *завпол.* Через эту науку, товарищи, мы все погоды в кулак зажмем. А как зажмем, то и разрешим эти наши наболевшие *рабоче-крестьянские ножницы.*

Кок. Здорово, Товкач! Крой полюсы!

Товкач. Скажу вам, товарищи, еще более научно. Дуют на этом океанском полюсе циклоны просто и антициклоны. Вот советские наши ученые и надумали изловчиться — вроде их в капкан поймать. Матерологических станций настроим. Точки выищем. Точки тоже матерологические. И вот товарищ Ермилов такое исчисление сделал, что самая главная для нашего Союза точка должна объявиться неподалеку от мыса Медвежьего.

Кашлатый. А что будет, товарищ Товкач, когда мы подобную точку ухватим?

Товкач. Научно выражаясь, ты хочешь сказать, товарищ Кашлатый, какие воспоследуют отсюда прак-

тические результаты? Определенно следующие: мы этих, говорю, стервей циклонов в кулак зажмем, и не то что Пулковская обсерватория — раз угадала, два соврала, мы всем по радии: обсевайтесь, граждане, сенокосьте альбо еще що сельскохозяйственно робите, бо одни добрые погоды дадим вам в препорции. А дрянные погоды катись к полярной к матери!

Все. Даешь полюс!

Подошедший Ремешков вместе с другими аплодирует Товкачу. На «Победе» вспыхивают огни, бьют склянки.

Ремешков. Товарищи, капитан просит всех на палубу. Нашарили в складе три забытых бутылочки шампанского.

Товкач. Что ловко, то ловко. На подобной широте бокал шампанского! Не замедлим, товарищ штурман. Не замедлим. Тильки трошки коло гурия кончать будем. Ставь, ребята, лампионы для освещения. Так. Ну, гни гопака. Гопаком аж на палубу.

Вприсядку облетают вокруг гурия и исчезают по направлению к судну.

Петрик *(порядком выпивший, идет, пошатываясь, по внешней лестничке парохода)*. Кок! Где научэкспедиция?

Кок. Ишь назюкался! В хорошем виде на проводы идешь. Дай хоть башку холодной водой окачу. *(Прыщет водой.)* Ну, лезь на палубу.

Петрик. Кок, товарищ кок! Посочувствуй! Катастрофическое положение! Она меня и слушать не хочет, а ему я и сам говорить не хочу. Кок, товарищ кок, посочувствуй.

Кок. Он ей... она... ему... Тьфу! Баба на корабле — пропасть кораблю. Проманежился бы ты с научэкспедицией, Петра, опять человеком бы стал. Из вуза ты вылетел, к нам прикомандировался и у нас не дело делаешь, а разлагаешься. Ведь не скроешь, почему остался? На Анну Федоровну моржом сопеть.

Петрик. По делу службы остался. Ты, что ли, с пузом на мачты полезешь?

Кок. Ну, лезь, лезь пока хоть на лестницу.

Капитан *(на палубе, подняв бокал)*. Поднимаем бокал в честь научной экспедиции и известный ученый Ермилов и говорим ей не «прощай», а «один новый свиданье». Если бы мы имели некоторые взрывчатые вещества, мы бы следовали за этой отважной группой вдоль берега, но мы имеем один черный порох, который подходит на ракеты или чтобы пробивать тюленю небольшой дыра, где он хотел выставлять свой голова. Но зато, по-русски пословица, мы будем одно сердце из другого выдавать весточка. Ура!

Все. Ур-ра!

С факелами спускаются вниз к гурию. Впереди бегут кок и Кашлатый, суетясь, зажигают вокруг гурия шкалики. Появляются Ермилов и Анна.

Ермилов *(с жестяной коробкой становится у гурия)*. Товарищи, права народов СССР на арктическую область, лежащую в секторе нашего Союза вплоть до полюса, бесспорны. По нашим полярным водам идет... сказать... великий северный путь на Дальний Восток. Состояние техники не давало до сих пор возможности использовать этот путь, чтобы дать выход во внешний

мир северным областям Сибири. Необходимо изыскание *точек* для устройства метеорологических радиостанций, которые могут корректировать движение судов среди ледяных течений. Не менее важна... сказать... сигнализация о зарождении циклонов. Экономических выгод, которые отсюда могут последовать, сами понимаете, — просто не учесть. Мы, с своей стороны, приложим все усилия, чтобы двинуть это общее дело. У меня есть одна теория... впрочем, о ней сейчас не время. Сейчас, товарищи, по примеру, сказать, предшествующих исследователей... уходя, сказать, в неизвестную даль, мы опускаем в этот гурий жестянку с документами о цели нашей... сказать... экспедиции. Отправляемся в путь с верой в высокую задачу науки, которая одна добьется окончательного и совершенного раскрепощения человека.

Петрик *(с отчаянным видом протискивается к Ермилову)*. Товарищ Ермилов, отложите уход. Барометр внезапно упал. Товарищ Ермилов, будет страшная буря.

Ермилов. Ну так что ж? Это только означает, что мы с первых же шагов получим полярное крещение. В нашем деле ураганов не миновать.

Капитан. Браво, товарищ Ермилов. Не надо прогуливай в лесу, если не любить одного волка.

Ремешков. Есть, капитан. Волков бояться — в лес не ходить.

Голоса. Товкачу слово. Товкач скажет.

Товкача подхватывают и ставят высоко на камень.

Товкач. Товарищи, недалеко время, як дрались мы на всих фронтах. Жарко дрались, аж клочья ле-

тели. А сейчас, товарищи, как скоро на повистку дня згромоздилась революция аж на фронту культурном, будем и до сей лепиться всими думками. Бо, товарищи, що есть культурна революция? Це — кооператив аж в мировом масштабе. И каждый, по мере сил, ложи в нее свой пай.

И вот, товарищи, селедка. Селедка — она, товарищи, насыщает всего северного жителя, помора, аж на целый год. Или, товарищи, она вовсе его не насыщает, бо той селедки к берегу ни трошечки не прет. И той помор бегае совсим с пустым брюхом. Товарищи, вже наукой досконале дознано, селедка до берегов прет альбо не прет в полной зависимости от циклонов. Действия вышеупомянутых циклонов, выражаясь научно, применены могут быть в соответственном масштабе к произволу бывших империалистских генерал-губернаторов. Потому, товарищи, захотять те окаянные циклоны — задуюіть, а не захотять — не дують, и гуляет сволочная сельдь без последствий. Товарищи, войдить в положение — ведь это ж для поморов совсем разница: то весь год они сыты, а то весь год им подведено брюхо! И вот, товарищи, мы с товарищем Ермиловым идем нащупывать таку точку, которая б на все сто процентов снесла самодержавие циклонов к самой к полярной матери. А селедку и треску погоним к берегам уж сами через подшефный нам циклон. И хай себе едят, товарищи, поморы той селедки, пока не облопаются. Вот вам, товарищи, в кратко популярных и вполне научных словах изложение нашей экспедиции. Даешь циклоны! Даешь полюс!

Все. Даешь циклоны! Даешь полюс!

Ермилов и Анна в стороне от всех.

Ермилов. Я вернусь, Анна, и уже надолго. Мы не расстанемся, Анна.

Анна. Не высидишь.

Ермилов. Пеняй на себя, что выбрала такого непоседу. Однако за полгода... ну, за три месяца... нет, уж лучше за месяц. Да, за месяц я ручаюсь.

Анна. Спасибо и на том. Ах, Платон, ты незаменим. Только если б поверил, что и меня надо брать с собой. В какую помощь тебе буду!

Ермилов. Что ты, Анечка, тебя подвергать риску! Такую прелестную, хрупкую. *(Целует.)* Анечка, ведь наша экспедиция — ежеминутный риск. Опасность так и сторожит. Медведи, полыньи... где лед, чуть прикрытый снегом, не выдержит и легких каяков, жестокий холод, голод...

Анна. Да что ты все о гибели? В последнюю минуту...

Ермилов. Анюточка, ведь я чтобы тебя утешить. Будь за меня спокойна. Что бы ни случилось, я не перестану делать записи до последнего вздоха. И еще, Аня, знай, бывают случаи... Словом, если нам будет угрожать людоедство, знай, Аня, я... я никого не съем. *(Обнимаются, смех, слезы.)*

Анна. Платон, ты единственный. Другого такого нет. Чем вздумал утешать? Людоедством! Слушай, я хочу проводить тебя.

Капитан. Анна Федоровна, я должен вас просить оставаться на судно. Наш бедный боцман будет умирать каждая минута. Он очень слаб.

Ермилов. Ну, иди, Анечка. До скорого, до скорого!.. *(Обнимаются.)*

Капитан. Дальни проводы — ближни слезы.

Товкач. Все в препорции, товарищ Ермилов. Можно выступать.

Ермилов. Выступаем...

Товкач. Кашлатый, труби.

Кашлатый трубит, поднимают флаг.

Капитан. В честь научной экспедиции поднимается флаг. Салют!

Салют. Трубы. Экспедиция выходит.
Анна поднимается на лестничку, долго смотрит вслед экспедиции, пока не заглохла труба.

Фрейлин Анна... *(Анна вздрагивает, приходит в себя.)* Фрейлейн Анна, вы будете навещать наш бедный боцман после меня. Я, впрочем, буду за вами посылать. Подождите немного здесь. Я иду вперед, чтобы брать у боцмана передачу документов его жене. Еще хочет мне бедный боцман делать одно признавание. Он сказал штурману: у него лежит один камень на сердце. Я сейчас буду посылать за вами, фрейлейн Анна. *(Проходит по лесенке мимо нее, на минуту останавливается.)*. А вечером, фрейлейн Анна, вы будете навещать мою каюту, und wir wollen musizieren! [1] Один бог на облака — один капитэн на корабля. Но если я есть капитэн нашего судна, вы, фрейлейн Анна, есть капитэн моего сердца. *(Неожиданно целует руку Анны, идет быстро и легко, напевая.)* Ach, Annchen war ihr Name...

Анна стоит неподвижно, глядя вслед экспедиции.

---

[1] И мы будем музицировать! *(нем.)*

Кок *(тушит лампионы вокруг гурия).* Ушли! Не посмотрел ученый на барометр. А бурища будет! У меня свой барометр — ревматизмы... Ох-хо-хо... Ну и гиблая здесь сторона, Анна Федоровна. Прямо сказать, холодная сторона. Одним ученым интересно. А Кашлатый за ними, спросить, куда? Тоже — «по мечтанию»... Эх, Кашлатый! Франца-Есифа Земля!..

Петрик *(вне себя).* Барометр падает, падает... А я — подлец!

Занавес.

АКТ II

Ледяные просторы. Ровнушка, окруженная торосами. Входят усталые Падеркин и Кашлатый.

Падеркин. Не могу дальше. Вымок, как сукин сын! Просушиться бы...

Кашлатый. За все время такой бурищи не было. А снегу-то — кот наплакал, нэпманке на мороженое. Чуть ледок прикрыло. Кто ж ее знал, эту полынью? Ступил — провалился. А Товкач налетел, убьет, думал. Кричит: «Ныряй за струментом...» Так-то батька мой, бывало, в пролубь, в крещенскую иордань сигал да сигал... дык ведь помер.

Падеркин. Окончательно б сбились с пути, кабы не эти ненцы. Заносит же косых чертей куда Макар телят не гонял. *(Пробует разбить палатку.)* Нет, нельзя ее, окаянную, разбивать. Руки как лед. Костерчик бы...

Кашлатый. Товкач сказал: к кромке льда плавучий лес прибило — плавник, што ль. Так чтоб до их прихода выбрали.

Падеркин. Черта с два! Пусть сам в ледяной каше пошарит. А мы и без того плавника огоньком разживемся. *(Выхватывает из каяка запасную рейку и зажигает.)* Мигом схватило. Грейся, Кашлатый!

Кашлатый. Что ты? Запасную рейку! Это, брат, до конца экспедиции беречь надо было.

Падеркин. Кому конца ждать, а кому и начала довольно. Не крепостной, чай, охотничком шел. Да кто ж их знал, что они будут вконец ненормальные люди? На матерологии как помешаны. Тут вьюга, метель снег за спину, что наждак колючий, сыпет, а они — знай свое: стойку делают, воду меряют, ветрам запись ведут. Тьфу! Замерзнешь на ходу, они и не расстроятся. Правду говорят, что ученому букорашка последняя, паразит, дороже человека. Уставится он в него скрозь стекло и заглохнет, часами не дышит. Дался я ему, что ли, дешевле того паразита? «Пошарь, говорит, в кромке льда плавничку!» Кашлатый, будем вертаться, пока время. Пока вовсе к полярной матери не попали.

Кашлатый. Что ты задумал, блазнитель! Слышать не хочу! Угреюсь, просохну, просплюсь — и дальше. Вот послушай, хорошу ли я птичку под грудями пронес? В полынью как ухнул, и то не выпустил. *(Вынимает из-за пазухи маленький старинный аристончик.)* Музыку эту тятенька еще до старой империлистской войны купил. Ведь это на войне она французским гимном обернулась, а то все запрещенной какой-то была. *(Играет «Марсельезу».)*

Падеркин. Не дури, Кашлатый! Обратно нам, говорю, идти надо. А без компаса, слышишь ты, нипочем не дойти.

Кашлатый. А я дома завсегда без компаса — я по адресам хожу.

Падеркин. Брось, Кашлатый, блажить, говорю. Сейчас Ермилов с наукой своей придет — поздно будет. Решай немедля: идешь со мной ночью назад? А коль идешь, согласен у Ермилова компас взять?

Кашлатый. Последний-то компас? Нипочем! Без него ему ничего матерологического не взять. «Зеницей» он его зовет; как ляжет — в спальный мешок себе под голову. Блазнитель! Последний компас украсть!

Падеркин. Дурак! Когда в твоем доме пожар, есть тебе время думать, свои или чужие сапоги обуваешь, чтоб от огня убежать? А вдруг опять пурга? Как кружили-то! Как томились... Снег глаза залеплял. Погибали. *(Подходит близко.)* Вот что, Кашлатый, я все равно уйду, а тебя и одного мне вдогонку пошлют. Пожалеют, думаешь, ученые? Они, брат, по-своему тоже рвачи. Для науки родной матери не жалеют. Живот вспороть могут, из покойников стюдень варят — языком спробуют. Один такой-то, слыхал я, в газете написал: лжепредрассудок людей хоронить, вали всех покойничков на поля орошения, заместо жирных туков. А наш-то Ермилов — вконец ненормальный и Товкача с ума свел.

Товкач *(голос за сценой)*. Па-дер-кин! Каш-латый!

Кашлатый. Угу-у!

Товкач *(выглядывает из-за тороса)*. Есть, товарищ Ермилов. Здесь они.

Товкач, потом Ермилов входят.

Ермилов. Что ж, для лагеря ровнушка подходящая.

Товкач. Ровнушка — что надо: копыто не пишет, и торосами прикрыта. От ночной вьюги отогреемся. А вы, раззявы, что ж это палатку не дóбре поставили? Ишь, схилилась вся, як небога. А костер, хлопцы, напоследки палить треба. Костер, когда все в сборе.

Кашлатый. Да ведь мы после полыньи, товарищ Товкач. Зуб на зуб не попадал.

Товкач. Кто ж тебе виноват, тюлень? Да тебя б самого в эту полынью стоило.

Кашлатый. А сам бы ты без ненцев в том урагане не пропал? То-то! Я ж человек в полюсном поясе новый. Ненцы одни тут хозяйствовать могут, потому народ первобытно-кочевой. Чем им холодней, тем вольготнее.

Товкач. Не чеши языком! Опять нашкодишь. Здесь подтяни... Там спусти. *(Показывает, как ставить палатку.)*

Падеркин. Есть, товарищ Товкач!

Товкач. Ну, теперь внутри шевелись. Постели и мешки не прямо на лед. Эх, головы! С каяков бери боковой брезент. *(Подходит к Ермилову, который проверяет записи и вычисления.)* Как вспомню, что эти дьяволы третий каяк утопили, а с ним аж оба два компаса, так на них руки и чешутся.

Ермилов *(между делом)*. Оставьте. Уж им довольно за это дело попало.

Кашлатый. Обратите внимание, товарищ Ермилов, этот Товкач всегда, вроде как бывшие империлистские начальники, десять раз по одному месту пороть норовит.

Товкач. Сказал! Да из тебя б в таком разе шкелет один оставался. А то гляди, какой гладкой. Ну, веселей шевелись! Сыпь в котел пеммикан. Отдыхают тут, брат, одни тюлени. Да зато ж их и бьют.

Ермилов. Да, товарищи, в научэкспедиции один отдых — перемена работы.

Товкач. Загрузли руки, валяй ногами; а уж башкой двигай всегда. Не гулял бы у вас ветер в башках, того б каяка не сгубили. Вот привал сделаем, трохи ненцев обождем — и дальше.

Ермилов. Подбодритесь, товарищи, примерами предыдущих экспедиций. Если там в котле все готово, вы, Товкач, разлейте нам по порции. Будем насыщаться и поучаться.

Товкач *(разливает)*. Ты, Кашлатый, чего ж это пеммикану вдвое насыпал?

Кашлатый. По-нашему-то сушеные мураши, товарищ Товкач, их сколько ни ложи, все равно не наваристо.

Ермилов. Запасы надо экономить. В конце февраля еще могут хватить страшные морозы, а медведя и во весь этот месяц, пожалуй, не встретишь. Подбодритесь, товарищи, все это... сказать... пустяки по сравнению с тем, когда вас хватит цинга. Ноги распухнут, страшная боль, зубы кровоточат... Только бы лечь. Так и просят больные: оставьте помереть... Но я, товарищи, идти вас заставлю. С Товкачом, сказать, насильно вас поведем. Ведь дать вам лечь, товарищи, — конец... не встанете. И будете у меня передвигаться! На сведенных ногах, помогая себе руками, наподобие, сказать, человекообразных обезьян... Вы пойдете у меня...

Падеркин и Кашлатый пугаются.

Товкач. Товарищ Ермилов, позволю себе замечание осведомительного характера. Бо хлопцы не подбодряются, а, глядите, перелякались и исты перестали.

Ермилов. Это потому, что я свою речь не довел, сказать, до конца. Опасности, которые вам угрожают, должны, сказать, утроить вашу стойкость, мужество... Научить вас особому, ни с чем не сравнимому... *полярному* терпению. И немало примеров. Вот штурман Альбанов... еще перед войной, пошел пешком от своего, сказать, дрейфующего во льдах судна к земле. Экипажу грозила смерть от истощения... разделившись, они думали, им, сказать, легче спастись...

Кашлатый. Ну и что же, товарищ Ермилов, они спаслись?

Ермилов. Они? Они погибли. Из четырнадцати пошедших с Альбановым вернулось домой двое. А судно с прочими пропало... сказать, без вести.

Падеркин *(злобно)*. Хорошо подбодряете, товарищ Ермилов.

Ермилов. Но зато, товарищи, эта экспедиция доставила несколько важных сведений чисто научного характера. Подумайте, что же принесем с собой мы, если у нас специальная, сказать, исследовательская задача? И, кроме того, пора осознать вам, товарищи, насколько приятнее, сказать... умирать на всем полезной работе, чем, сказать, дома, от какой-нибудь дрянной бациллы. Воскресите в воображении последние, сказать, дни научной экспедиции Седова, про которую вам читали не раз. Дорога по тонкому льду сменяется непроходимыми торосами. Режущий ветер дочерна сжигает лица матросов. Они, сказать, еле справляются с нартой, к которой привязан их умирающий начальник.

Седов и в забытьи не выпускает из рук компаса. Все сверяет, правильно ли держат путь к норду. Седов умирает во льдах с компасом в руках. Седов... сказать... образец стойкости. Это, сказать, памятник героизма исследователя. А недавнее мужество красинцев? Самоотвержение наших летчиков обязывает, сказать, нас перед всем миром не снижать...

Товкач. Сыпьте, хлопцы, еще по порции! Чего носы повесили? Товарищ Ермилов вас ободрял только на случай погибели. А коль судьба вам вернуться, так вы ж себе вéрнетесь! Не корить хочу сейчас, тильки и я к слову скажу: вы утопили той каяк на хорошем месте, где б ему не треба вовсе тонуть. А предстоят вам, товарищи, тягчайшие переправы. Сами по зыбкому льду на лыжах, а каяки перетягивать на лямках. Они, окаянные, то скренятся набок, то устрянут в ледяной каше. Сигай за ними та сигай в самый Ледовитый океан, аж пока он не зробится Ядовитый. Хо-хо! Бо на льду, хлопцы, не имеется шинков, чтоб согреться. Ничего, братва, дойдем, куда дойти треба. Замерзать будемо — палатку спалим... каяки спалим. Сами — не помрем, так дойдем. А зáраз — до витру и в хатыну спать. Ночную вахту я стоять буду, а там Падеркина разбудим.

Ермилов. Товкач, берите секстан и прочее. Идем, сказать, определяться.

Товкач. Есть, товарищ Ермилов.

Ермилов и Товкач подходят к торосам. Ракета.

Все. Ракета! Ракета!

Ермилов. Кто б это, сказать, был?

Товкач. А, ей-богу, ненцы. Батько с дочкой.

Я ж старому и ракету давал. На табачок ма́лицу хотел батько выменять.

Кашлатый. Эти ненцы ненормальный народ. Прямо сказать, первобытный. Ходят по льду как по земле.

Товкач. Не чеши языком. Мачту ставь живей. Сейчас луна — далеко мачту будет видать. Бери остатние каяки. Бери лыжные палки. *(Ладят мачту.)* Крепи флаг! Подымай! *(Поднимают флаг.)*

Ермилов. Товкач, а вдруг это кто-нибудь с нашей «Победы»? Сколько раз Анна поминала: в экспедиции Брусилова так-то три раза свои товарищей догоняли. Нравилось это ей.

Товкач. Не расстраивайте себя, товарищ Ермилов, бо не можно никому с «Победы» нас найти. Сами вычисляли, что из-за метели снесло нас дюже к норд-осту. Одним ненцам впору найти. Они нюхом идут. Пойдемте, товарищ Ермилов, займемся делом науки. Ненцы тым часом пидыйдут. *(Берут мешок с приборами.)* Кашлатый, Падеркин, айда в спальные мешки. *(Уходят.)*

Падеркин *(влезает на торос)*. Кашлатый, лезь сюда. Два айсберга под луной как серебро горят. Ведь не сворует дьявол с неба луну. На лыжах мы до них мигом дойдем. Оттуда держать курс на базальтовы скалы. А дальше дело милое — большой ледник: под ним наша «Победа» вмерзши.

Кашлатый. Да ведь, если уйдем, никто в научэкспедицию уже нас не возьмет.

Падеркин. Чихать я на подобные вперед стану.

Кашлатый. А я подзакусил, и опять мечтания: бумагу б я мог получить. В своей Смоленской губер-

нии б показал. «Из научэкспедиции Ермилова вроде научсотрудник Кашлатый». Я сейчас если б и ушел с тобой, вернусь, обязательно вернусь. С новым каяком вернусь. Тогда и корить не будут. А машинку свою я кают-компании предоставлю. *(Играет.)*

Падеркин. Брось, дурак! Сейчас они придут. Ермилов даст мешок с приборами положить себе под голову. Надо улучить минуту, когда опять убегут они свою науку выслеживать. Ведь у них что ни час новая забота. Они за торосы направо, а мы, надев лыжи и из того мешка выбрав компас, за торосы налево. И бежать нам, Кашлатый, пока ненцы не пришли. Еще Товкач нам вдогонку их науськает.

Кашлатый. Эх, неохота компас брать. Без него им матерологического ничегошеньки не взять.

Падеркин. Без компаса до смерти здесь будешь. Слыхал: четырнадцать было, два дошли. А ненормальный-то наш «ободрял»: хуже еще, дескать, бывает.

Кашлатый. В документ имена наши вписаны, в гурий положены. Научсотрудники мы, вроде ледовитые пионеры.

Падеркин. Скажите, сколь велика честь, куча камней да в жестянке бумага белым медведям для ликбезу. А цинга, Кашлатый? На больных ногах силком тянуть будут, слыхал? А голод?.. А купанье в ледяных водах?..

Кашлатый. Ой, не поминай! И сейчас трясет. Второго разу нежелательно.

Падеркин. А тут десять раз на дню. В кают же компании, Кашлатый, сейчас камин топится, кок ужин дает. На людях и смерть красна. Все не в ледяной пещере — под крышей помрем.

Кашлатый. А он блазнил помирать как Седов.

Падеркин. Пусть сам и мрет. Последнее мое слово, Кашлатый. Они придут, говорить уж будет поздно. Слушай: я все равно уйду, если ты струсишь. А уйду — тебя и одного пошлют. Они, брат, не милуют. А ведь один ты, раззява, пропадом пропадешь, Кашлатый, лучше сразу иди. Там на судне сманишь стюарду Пётра и ворочайся, коль охота. А сейчас, слышь, Кашлатый, обязательно иди.

Голос Товкача издали, потом ближе: «Ау! Ау! Кто идет?»

Падеркин. Скорей в палатку! Оба!

Входят Ермилов и Товкач.

Товкач. Ведь вот что значит наука-то. Зазяб было, устал, а занялись матерологическим — все позабыл. Вот уж правда: часто отдыхать — скоро подохнуть. А наши, видать, завалились и огня не задули.

Ермилов. Товкач, кладите в мешок все, кроме подзорной трубы. Мы сейчас еще разок пройдем скоренько налегке, льдину обследуем. Не тюлень ракету пускал. Ночь лунная: кто идет, издали видишь. Выньте трубу, а прочее аккуратнейше. И «зеницу» мою, сказать, туда же. *(Подает компас.)*

Товкач. Без компаса як без сердца.

Ермилов. Дайте, Товкач, я сам затяну. *(Затягивает мешок, отдает Товкачу.)* Положите в мой спальный мешок под голову.

Товкач идет в палатку и возвращается с трубой.

Товкач. Вы, товарищ Ермилов, с подзорной трубой, а я с трубильной. *(Трубит.)* Эти проклятые торосы

все звуки заглатывают. Пойду потрублю за ними. Може, в добрый час кто отзовется.

Уходят. Из палатки вылезает, озираясь, Падеркин. У него в руках мешок Ермилова. За ним Кашлатый. За сценой труба, сначала ближе, потом все дальше.

Падеркин *(вынул компас из мешка, остальное завязал, подает Кашлатому).* Ложи обратно товарищу Ермилову под голову. Ну, рушь скорее мачту, да не греми. Хоть и ушли, а уши у них на макушке. *(Разбирает мачту, быстро надевает лыжи.)*

Кашлатый. Жалко мне товарищей обмануть.

Падеркин *(наскакивает).* А себя не жалко будет, когда в ледяную кашу нырять пошлют? Когда ослепнешь? Когда цинга тебя хватит?

Кашлатый поспешно надевает лыжи, Падеркин все наступает.

Себя, говорю, не жалко будет, когда слепой, в цинге, на четвереньках поползешь? А Товкач тебя для понуки сзади ногой, ногой.

Кашлатый. Ой, мамонька! Ой, ой!

Падеркин. А не пойдешь и с понукой — вовсе бросят тебя во льдах. Медведь тебя загрызет...

Кашлатый. Мамонька родная! *(Дает стрекача первый.)*

Труба за сценой — издалека, все ближе. Входят Ермилов и Товкач.

Ермилов. Как прекрасно, сказать, вы, Товкач, все понимаете практически. Высоту берете верно, и промер после вас хоть не проверяй. Хотелось бы, чтобы науку вы понимали, сказать, и по существу. Вот зай-

мемся сейчас, чтобы скоротать время, пока придут те, что пустили ракету. Повторяю, ведь не тюлень ее пустил.

Товкач. Старый ненец. Я ж вам кажу, сам ему давал. Ну-ну, товарищ Ермилов, займемся наукой, а оны пидыйдут. Это вы дело кажете, понять треба по существу. А сагитировать без понятия я, товарищ Ермилов, и сейчас добре могу на предмет матерологии. С циклонов начну да ка-ак шарахну селедкой... публика дюже сочувствует. Прямо скажу, товарищ Ермилов, верую я в науку, як маты-покойница в Троеручицу верили. А умственно объяснить не лучше их умею.

Ермилов. Вот именно. Это, Товкач, пора, сказать, ликвидировать. Подумайте только. Я знавал одного астронома, у него даже пудель кончил тем, что изображал своей персоной, сказать, вращение земли вокруг солнца с вращением вокруг своей оси одновременно. Астроном станет, как вы, Товкач, а пудель вокруг него — как я, и пойдет, кружась на своем хвосте. *(Изображает.)*

Товкач. Ха-ха-ха! Ах он, сукин сын собачка...

Ермилов. Ну вот, Товкач, поймите, сказать...

Товкач. Есть, товарищ Ермилов.

Ермилов. Поймите движение циклонов. Ваш пояс — экватор. Тут горячее всего. Вы сами, Товкач, земной шар. Ну, кружитесь.

Товкач кружится. Наверху одного из торосов появляется молодая ненка Ока. Она думает, что ученый и Товкач сошли с ума. Она закрывает лицо руками, качается, что-то шепчет по-ненецки. Потом открывает лицо, начинает водить руками над Ермиловым и Товкачом. Иногда берется за голову.

Стойте, Товкач.

Товкач. Есть.

Ермилов. Вы продолжаете быть земным шаром.

Товкач. Есть, товарищ Ермилов, земной шар.

Ермилов. Когда вы кружитесь *(показывает на Товкаче)*, у вас нагретый воздух от пояса — от экватора — идет вверх, к голове. Вы должны знать, Товкач, что горячий воздух легче холодного и всегда идет, сказать, вверх.

Товкач. Завсегда, товарищ Ермилов.

Ермилов. Итак, от экватора вверх, к Северному полюсу *(водит от пояса к голове и от пояса к ногам)*, и вверх — к Южному полюсу. *(Садится на пол и берет Товкача за носки сапог.)*

Товкач. Недоразумение, товарищ Ермилов, це ж самый низ, товарищ Ермилов, це никакой верх. Як так верх, коли воно от поясницы аж к пяткам?

Ермилов. Ничего не понял! Опять сначала.

Ока *(съезжает с тороса, перебегает от одного к другому, заклинает по-ненецки, вперемежку с возгласами)*. Угыда, Нум, Нум, Нум! Не надда ругать. Не надда ругать!

Товкач. Ха-ха! Уморила Оконька! Товарищ Ермилов, это она нас с вами заклясть хочет, по-ихнему зашаманить. Бо она решила, що мы сказились. Ох-хо-хо!

Ермилов. Это ты, Ока, ракету пускала?

Ока. Тату пускала. *(Изображает полет.)* Шш-пу!.. Тату пускала... Она собак брать пошла, тату. Меня с двумя к вам посылала... Два с корабля... *(Показывает два пальца.)*

Ермилов. Анна!

Ока. Ну-ну! Мужик молодая и баба. Ана, Ана! А мужик — трудно. Ока не знает.

Товкач. Стюарда Петрик.

Ока. Она!.. Пека... молодая.

Ермилов. Где они?.. Вина! Малицу! Где они?..

Товкач *(кидается в палатку)*. Падеркин! Кашлатый!

Ока. Чичас идут. Тату их нарта возил. Чичас тату пустили. Одни идут. Тиха-тиха идут... Больна, ой-ой-ой... Морозил руки, ноги. Ой-ой!

Товкач *(выскочил из палатки, в руках фляжка с вином, малица)*. Каш-ла-тый! Падеркин! Ушли, черти. Сколько раз говорил: не сметь в паре до витру ходить. Бо воны до витру, а медведь шасть сюда по витру. *(Берет трубу, лезет на торос, трубит.)* Не видать, бисовы диты! Хиба дичь поискать пошли. Ну, це дило. Прибавится у нас, как говорится, населения, треба сделать надбавку и к провианту.

Ермилов *(вырывает у него из рук малицу, бежит к торосам)*. Скорее, идем... скорее!.. Анна!

Анна и Ермилов падают друг другу в объятия.

Анна. Платон!.. *(Смех, слезы.)* Я думала, больше не увижу. Платон, ты...

Ермилов. Дорогая! Ты больна, сказать, измучена... В такую бурю. *(Закутывает ее в малицу, почти несет к огню.)* Скорее дров!

Товкач подкладывает что попало. Петрик с забинтованной рукой без сил падает у огня. Ока ухаживает за ним.

Товкач. Да что случилось, чтобы вам в такую бурю?..

Петрик. Мы бежали тайно предупредить вас об измене. Капитан Древс скрыл от вас, что у него было достаточное количество динамита, чтобы выйти в чистую воду. Он это дело задумал давно. На судне припасов на обратный путь для всех, конечно, не хватило бы... По вашей непрактичности, товарищ Ермилов, вы не обговорили, что Древс должен довезти вас дальше бухты Крестовой, пока будет вам нужно.

Ермилов. Во всяком случае, так предумышленно, так... сказать... обманно он не имел права действовать. Он за это ответит. Если б я знал, что через месяц мне некуда будет вернуться, я бы забрал многое, чего у нас сейчас, сказать, нет. Мы великодушно отказались почти от всякой провизии. Наконец, нам скоро не хватит... сказать, патронов. Если он уйдет, нам, товарищи, предстоит идти до мыса Медвежьего и оттуда по Новой Земле до бухты Крестовой. Только два раза в год туда, сказать, ходят пароходы.

Петрик. Надо немедленно спешить вам на «Победу» и, отложив вашу научную затею до лучших обстоятельств, всем нам сейчас как-нибудь вернуться обратно.

Ермилов. Научной работы я не отложу. Могу идти один. Возвращайтесь, сказать, сами.

Товкач. Товарищ Ермилов, я с вами. Бо мне наука як ридна матка зробилась.

Ермилов. Товарищи, сейчас, по метеорологическим бесспорным данным, погода продержится два дня. Мы с Товкачом поспеем, сказать, обернуться для наведения порядков на судне. Я вернусь за вами, прихватив отца Оки с собаками. *(Анне.)* Дорогая моя, тебе очень страшно здесь оставаться. Воображаю, что

ты должна была пережить. Надеюсь, Древс ничего себе не позволил относительно тебя лично? Ты молчишь? Ты дрожишь? *(Обнимает.)* Это ужасно! Она, сказать... совершенно больна.

Анна. Нет, Платон, я здорова... Это от волнения. Ведь я думала, конец. Я думала, мы с тобой уже не увидимся. Ведь мы замерзали... Если б не подобрали нас ненцы...

Ока. Тату в юрту брал. Тату абурдали. Они чай пили... много-много пили...

Анна. Петрик поддерживал, почти нес меня. Он из-за меня отморозил руку.

Ермилов. Как благодарить вас?

Петрик. Не за что. Не для вас старался.

Товкач. А вот мы доброго огня раздуем. Все стопим. Мало плавнику — каяк будем рушить. С этого проклятого судна все заберем, як дойдем. И вино пейте. У того жирного кока в камбузе добре припрятано. Хай вси стерегутся, як с товарищем Ермиловым к ним нагрянем.

Анна. Нельзя, Товкач. Ничего нельзя тратить. Капитан Древс из мести, что мы ушли, из страха, что вы придете... капитан Древс взорвать может раньше.

Товкач. Не посмеет, собака... перед судом ответит!

Отдаленный взрыв. Безмолвие.

Петрик. Посмел.

Анна. Негодяй!

Ермилов. Анечка, что теперь с тобой будет? Больная... Кругом льды...

Товкач. Да я его, стервеца Древса, под землей сыщу! Я его... как собаку.

Петрик. Обратного пути нет. *(Падает без чувств. Ока над ним хлопочет.)*

Ермилов. Аня, Анечка... *(Обнимает.)*

Товкач. Бодритесь, товарищ Ермилов. Мы Анну Федоровну сдадим ненцам, а сами все ж махнем, куда треба по нашей науке. Старик ненец и Ока — стоящие люди. На них — як на каменну гору. Хай Анна Федоровна у них претерпляють, пока мы летом их не заберем. Вы, Анна Федоровна, с теми ненцами трохи займетесь ликбезом, а к лету мы с товарищем Ермиловым, зробив усе наше матерологическое, повертаемся и заберем вас. И Оконьку заберем. *(Гладит ее.)* Дюже гарна дивчина. Як на сушу вступим, в загсу нашу советскую сведу. Будем с тобой жениться? А?

Ока. Ока богатый невеста. Три оленя, восемь чашек.

Ермилов. Спасибо, друг. *(Жмет Товкачу руку.)* Конечно, головы терять еще не от чего. Ты, Анечка, отлично проживешь с ненцами, пока мы тебя не заберем. А сейчас непременно ложись. Я тебя удобно устрою в палатке. Кашлатый! Падеркин!

Товкач. Они, должно, того взрыва злякались. Позабивались в торосы да ждут. Протрубить им еще. *(Уходит с трубой.)*

Ермилов *(из палатки, с вином)*. Анечка, милая. Еще выпей обязательно. И Петрику дай. А я сейчас все устрою. Ока, поухаживай тут за нашими больными. *(Уходит в палатку.)*

Анна. Бедный Петрик, вы очень страдаете!

Петрик. Зато и радуюсь в той же мере.

Анна. Что с вами?

Петрик. Только то, что я свободен. Ко мне вернулась на все сто процентов утраченная было в тумане романтики моя социальная ценность. Короче говоря, я очухался. Правда, не дешево заплатил за отрезвление — отморозил руку... Но что ж? Другие платятся дороже. Случается, всей головой.

Анна. Я ничего не понимаю.

Петрик. А то, что прав был кок, говоря: баба на корабле — пропасть кораблю.

Анна. Что за тон? Это после всего, что мы вместе перенесли, после того, как я не могу не чувствовать к вам благодарности?..

Петрик. Взаимно. И я от вас получил оздоровительную встряску. Вы вот думаете, что вы героиня, а я вас считаю индивидуалисткой из узкоэгоистических целей, а себя — окончательным дураком, этим целям послужившим.

Анна. Вы бредите! Ваши слова — бессмыслица!

Петрик *(в сильном волнении)*. Нет, не бессмыслица! Если бы действительно вы думали не о себе только, а хотя бы о научэкспедиции, вы бы убедили меня идти одному, а сами, оставшись на «Победе», заставили бы капитана оттянуть решение выйти в чистую воду.

Анна. Но вы знаете, что мне б угрожал позор, если бы я осталась. Капитан Древс мне сделал недвусмысленное предложение.

Петрик. Еще три дня назад эта мысль меня привела в ярость и двинула на безумие бежать вам вслед, бросив свое дело, свою командировку. Сейчас по вашей встрече с Ермиловым я увидал, что вы все

проделали лишь ради своего гнезда. Я думал — вы исключенис, а вам, как всем женщинам, нужна не любовь... гнездо... гнездо... как птице гаге, — вот что вам нужно. С меня дурман как рукой сняло. Сейчас в ответ на гнусные замыслы капитана я вам отвечу: ну так что ж? Его чувства были вызваны вашим же кокетством. И то, что вам угрожал позор, — ваше личное дело. Интересы научэкспедиции были бы спасены.

Анна. Ха-ха! Хорош герой... о науке вспомнил, испугавшись белых медведей.

Петрик. Да вы положения вещей не понимаете. Тут, «в ледяных просторах», все ваши тонкости ни к черту. Одни здоровые мускулы — вот что здесь надо. Сейчас вы всем нам жернов на шею. Поняли?

Анна. Лжете! Кроме мускулов, бывает и сильная воля и способность забывать себя...

Ока. Не надда ругать, ах, не надда! *(Обнимает Анну.)* Веселый будь. Я тебя смотреть буду, ты меня учить. Тату придут, собак приведут. Погода хороший просить надда. *(Танцует.)* Звать надда: Угыд милый, приди. Малькон, злой холод, уйди!

Ермилов выскакивает из палатки, в ужасе начинает из нее выбрасывать на лед все содержимое, перетряхивает спальные мешки и т. д.

Товкач *(подходит)*. Что случилось, товарищ Ермилов?

Ермилов. Компаса нет! Ищите! Ищите все!.. Последний, сказать, компас...

Товкач *(в ярости)*. Компас выбрали из мешка! Да то ж Падеркин и Кашлатый! Воны ж бежали... Глотку им перервать!..

Ермилов. Трубите! Они здесь... Они заблудились. Не может быть такой измены.

Ока *(подает со льда записку)*. Она письмо оставляла.

Ермилов *(хватает записку и читает вслух)*. «Испытав лишь одного первого перегону и вашего ободрения касательно болезни цинги, товарищ Ермилов, мы вертаемся на «Победу».

Товкач. Ни взад, ни вперед теперь пути нет.

Ермилов. Без компаса...

Товкач. Без компаса, товарищ Ермилов, вашему открытию нельзя будет веры давать. Без компаса! Голые, голые руки!.. *(Падает на ворох вещей, выброшенных из палатки.)*

Занавес.

АКТ III

Прошел месяц. Палатка. В ней Петрик и Ока. Он с забинтованной рукой. Очень исхудал. Глаза горят от голода и лихорадки. Все прочие тоже очень истощены. Едят уже несколько дней одни водоросли.

Ока *(при входе в палатку чинит одежду Петрика и тихо поет)*.

Позову-зову шамана,
Он наденет бубен пензер,
Он попросит варигаров
Нам пригнать медведь к харупор.

Сець наркаупа
Хэму мындра

Мань трем мам
Намехком вой хухатиан.

Подходит к Анне, которая пишет под диктовку Ермилова вычисления промеров высот и т. п. Ермилов в темных очках.

Пока спала, иду искать траву.

Анна. Хорошо, Ока. Я посторожу его. Водоросли ищи направо. *(Ока уходит.)* Какое солнце! Платон, зачем ты снял очки? Снежная слепота ведь может перейти в хроническую.

Ермилов. Но через стекла ничего не видно. Оставь, Аня. Мне важно кончить. Анечка, ведь это изумительно! Все цифры, сказать, совпадают. Значит, моя теория верна, только б компас!

Анна. Товкач на этот раз беглецов найдет. Уходя сегодня с каяком, он мне сказал, что будет оплывать последнюю часть льдины нашей. Хотя она огромна, но и ей есть предел. С нее им некуда деться.

Ермилов. Дорогой человек этот Товкач! Что бы я делал без него? И без тебя, мой незаменимый помощник? *(Хочет обнять ее.)*

Анна *(в ужасе отскакивает)*. Нет... нет... не надо!

Ермилов. Тебе что-то почудилось? От голода бывают, сказать, галлюцинации. Надо справиться с этим в самом начале и пресечь силою воли. Анна, что с тобой?

Анна *(овладев собой, старается отвлечь внимание Ермилова)*. Ну, разумеется, Платон, Товкач отыщет беглецов. Ведь они без каяка, им некуда уплыть. Ах, нет, не то... прости... Мысли так прыгают. Нахожу себя только когда мы работаем. Да, вспомнила. Сегодня ровно месяц, как наша льдина с таким ужасным

грохотом вдруг оторвалась и понеслась. Мы еще не успели прийти в себя от дальнего взрыва на «Победе», как вдруг все стало рушиться. Лед прошел трещинами. Сразу они были как огромные змеи, потом раздались, и в них забурлила черная вода. Мы понеслись... Мы несемся, и милая девочка Ока вместе с нами. Хорошо отблагодарили мы ее за спасение. Отец, уж верно, ее и не ждет.

Ермилов. Ложь, Анна. Это все не то, что тебя заставило отскочить от меня. Дорогая, мы так сейчас близки. В последних, в невозможных условиях дорогой ценой мы обрели наконец то счастье, которого я не только искать — хотеть боялся, думая ошибочно, что оно окажется враждебным моей работе. Да, признаюсь в этой глупости. Сейчас, когда ты мне необходима, как мой разум, как мои глаза, едва я хочу тебя обнять, в твоем лице один звериный ужас. Я тоже человек. Ослабел, сказать, и я... быть может, у меня свои галлюцинации... Анна, про капитана Древса ты мне все сказала? И так, как было?

Анна. Ну, развеселил! Впервые затеял ревновать, и где? Под полюсом! Но, прости меня, ты все же прав. И я хотела тебя избавить от лишнего страдания, с ним справиться одной. Да, у меня галлюцинации, Платон. Вчера я видела такой ужас там... *(Показывает на палатку.)* Я видела, как Петрик обнял Оку... как вот ты меня... Он долго неотрывно смотрел. О, этот напряженный, несытый взгляд. Это была, конечно, не любовь, даже не животная страсть. До нее ли здесь? Нет, этот напряженный взгляд с готовностью хватить вдруг мертвой хваткой я видела только у своры гончих, перед тем как им загрызть.

И такой был у него белый-белый оскал зубов... Прости, Платон, когда ты меня обнял, мне почудилось... Мне вдруг так стало страшно...

Петрик *(в дверях палатки)*. Я видел сон...

Ермилов и Анна вздрагивают и оборачиваются.

Ха-ха! Испугались? Сейчас у нас все вздрагивают, все друг друга боятся.

Анна *(кидается, дает Петрику ящик)*. Присядьте. Здесь на солнце вам будет полезно посидеть.

Петрик. Я только что видел сон — зеленый луг, и надо мной жаворонок... Проснулся, я все тут — в ледяной могиле.

Ермилов. Анечка, взгляни, как эти айсберги к нам близко подошли, совсем вплотную. Синие, сквозистые! Они скоро, вот-вот подтают.

Петрик. Хорошо бы рухнуть им на нас. Ха-ха! По крайней мере всех в лепешку. И уж никто бы никого не боялся.

Ермилов. Мы не звери... Мы и в последних условиях не будем бояться, а лишь один другому помогать.

Петрик. Романтика! Ха-ха... Извиняюсь, смех у меня теперь непроизвольный. Факты, товарищ Ермилов, факты! Что против них поделаешь? Еще на школьной скамейке мы читали, как в подобных обстоятельствах оскандалился человек. Даже пока не померк его разум, он, изголодавшись, метал жребий. Бывало, впрочем, и так, что не метал, а просто ел слабейшего... ха-ха... вкуснейшего... Да, товарищ Ермилов! И на практике выходит, что ваш дух — лишь свойство материи. А раз моя материя до черта голодна, то ей разрешается и способ насыщения не-

обыкновенный. *(Внезапная ярость.)* Ханжи проклятые! И перед смертью вы себе все врете. Боитесь ада! А в природе каждый жрет слабейшего.

Ермилов. Наука оставила ад пораньше вашей школьной выучки. И желаете ль знать азбуку этой науки... молодой человек? Не природа нам закон, а *непрестанное совершенствование* всего живого — *закон эволюции*. Если, отбросив детскую веру предков, на пустые алтари возвести одни инстинкты зверя — плохой замен...

Анна. Платон, не надо.

Ермилов. Не бойся, Анна. *(Подходит близко к Петрику.)* Мы должны найти в науке, как, бывало, находили в вере, неопровержимую базу. Она пусть даст нам силу сохранить во всех обстоятельствах жизни свое, сказать, достоинство, *свое лицо*. Лицо человека, не зверя. И наука дает нам эту базу. Как воздухом, которым мы дышим... чтобы не умереть... надо нам проникнуться ответственностью перед своим *званием — человек*.

Петрик. Так что *человечинку* вы, товарищ Ермилов, номрете — а не вкусите?

Ермилов *(совсем близко к Петрику, тихо и твердо)*. Не вкушу. И вам... вкусить не дам.

Петрик. Продержитесь чуть-чуть подольше моего, потому что вы постарше. Ха-ха! Но съедите и вы и еще прибавочку попросите.

Ермилов *(кидается, сбивает Петрика на землю)*. Негодяй!

Анна. Опомнись, Платон... Он ведь больной.

Ермилов *(хватается за голову)*. Все мы больные. Мы перестаем владеть собою.

Ока *(с водорослями, кладет их у палатки. Перебегает от одного к другому).* Не надда ругать! Можно Оку есть. Ну-ну! Как оленя... ножом колоть. Тебе рука, тебе нога, ему сердце. *(Петрику.)* Надо, чтобы Пека не смотрела, чтобы кушала. Ока не может, чтобы она смотрела... Не может...

Анна *(обнимает Оку).* Ока, девочка, мы не дадим тебя... Не бойся...

Ермилов *(обнимает с другой стороны).* Не бойся, Ока.

Ока. Не надда бояться. Ока знает — умирать надда. Когда дядька Венукан хоронил, горка на него сыпал, нарта перевертал, олень любимый Венукан бил. Слушай: шаман не сразу олень тот бил. Несчастно бил. Олень головой бодал, шаман пьяный гриб «пун» ел, бубен пензер крепко бил, долго камлал. Камлал — узнавал: еще из наша юрта один умирать надда. Не старый — молодой. У нас два — брат и я. Брат дороже. Брат мальчик. Я дешевый — девка. Дома рады будут: олень взял, как обещал, больше брать не будет. Здесь *(показывает на Петрика)* он здоровый будет. Он сытый будет.

Анна. Ока, мы не дадим тебя.

Ока. Если боишься ножом колоть, я наверх бежать буду. Вниз прыгать буду. Добрый Угыда без боли смерть дает. Злой Малькон внизу голову разобьет. Хочешь, бегу?.. *(Бежит к айсбергу.)* Медведь!

На вершине айсберга медведь, тихо спускается.

Ермилов. Патроны все у Товкача.

Ока. Я пугать буду. *(Распускает волосы, выстав-*

ляет руки на медведя.) Пыдро Угыда... Нум! Нум!.. Нума!..

Выстрел. Медведь падает в трещину айсберга. Из подплывшего каяка выходят Товкач, Падеркин и Кашлатый. Оба крайне истощены, идут со страхом, потупясь.

Товкач *(потрясая компасом)*. Товарищ Ермилов, компас цел! Ось «зеница»... Медведь здоровый забит. Будем на радостях прощать этих стервецов. Воны бильше нашего претерпляли, бо без палатки слонялись.

Ермилов *(кидается)*. Компас!

Товкач *(подает)*. Есть.

Ермилов *(хватает компас и без очков бежит к своей работе за торосами)*. Анна! Скорее проверить!.. Компас!

Анна. Платон, очки... *(Бежит с очками.)*

Товкач. Товарищи, тащи веревки, топоры, колья... Валите все!.. Бо гражданина Топтыгина добывать треба... Ура!

Петрик. Медведь!.. Спасение! Киньте мне конец. Одной рукой тянуть буду.

Все возятся в расщелине. Крики постепенно из веселых и бодрых переходят в разочарованные. Наконец — в отчаянные.

Голоса. Тащи! Подхватывай крюком... Сорвался, черт... Не достать его... Самому за ним в яму угодить... Тише ты! Загремишь. Дна не видно...

Товкач в полном изнеможении. За ним остальные. Кто валится в отчаянии на лед, кто без смысла бродит вокруг места падения медведя.

Т о в к а ч. Всё пропаще. Вин застрял аж в такой прорве, что вовик не достать. Хиба айсберг перевернется да его выпрет. Тильки пока сонце зайде, роса очи выест. А все-таки бодрись, ребята! Не медведя — гагару поедим. Земля тут определенно близко. Я ездил — гагару встречал... *(Слабеет.)* Гагара по-латински... *(Почти без чувств прислоняется к льдине.)* Она по-латински...

К а ш л а т ы й. Товарищ Товкач, тюленя можно будет взять. Издаля я тоже видал. Подсвистывал ему, как лошади. Он голову выставлял. Интересуется, сволочь. Мы еще ему подсвищем. А, товарищ Товкач? *(Падает изнеможенный.)*

П а д е р к и н. Не достать того медведя. *(Кладет топор. Голову на руки.)*

О к а. Надда достать. Ока будет след есть. Большой шаман говорил: кто первый медведя видал, пускай снег от его следа ел. Медведь пропадать не будет. Ока первый кричал: медведь. Ока идет наверх. Надда след есть.

Т о в к а ч. Ах, утешная дивчина. Серденько! Загремишь ты с того верху, только и всего. Вот лучше костер разведи, горячей водицы попьем.

Входит Е р м и л о в с приборами в руках. За ним А н н а с очками.

Е р м и л о в. Товарищи, моя задача увенчалась полным успехом. Научно объяснять вам сложно. Погода нашего Севера — в прямой, сказать, зависимости от того, что происходит в северной области. Для нашего Союза я открыл одну из точек пересечения необыкновенной важности. *(Показывает железную ко-*

робку.) Здесь все выкладки, наблюдения, доказательства для практических, сказать, выводов. Наш нищий Север, быть может, отныне не будет знать ни голода, ни непосильного труда. Быть может, мне изменят силы. *(Шатается.)*

Товкач *(выдергивает пень из-под Кашлатого).* Садитесь трошки, товарищ Ермилов!

Ермилов. Товкач, если ты переживешь, доставь по назначению...

Товкач. Есть, товарищ Ермилов.

Ермилов. Товарищи, если все мы так ослабеем, что будем, сказать, чувствовать, что нам домой не вернуться, то надо собрать последние силы и добраться в каяке до земли, которая за айсбергами. Там поставить гурий и в него эту жестянку...

Все потупились. Безмолвие.

Петрик. А я скажу: довольно трусости! Кинем жребий. Погибнет один — не все. И если...

Ермилов. Молчать!

Петрик. Когда люди в крайности, все средства хороши.

Ермилов *(внезапно поднимается с силой).* Нет, не все!.. Товарищи, напрягите... слух... соберите вашу волю. Товарищ, вы, сказать, люди... Слушайте, что я скажу вам. И даже не я лично, а вся наука, весь разум, вся правда тысячелетий скажут вам. *(Шатается.)*

Товкач *(подхватывает Ермилова).* Товарищ Ермилов, обопритесь на меня. Як ваше открытие найшлось, то до бисова батька всю вашу хворь.

Ермилов. Товарищи, не верьте, что слепая природа — закон жизни. Неустанное, непрерывное совер-

шенствование — высший закон всего живого. Слишком хорошо... мы знаем, что носим в себе все качества зверя — бессердечие рыб, ярость тигра, коварство.... обезьян. Все эти качества развились в борьбе за существование и передавались, сказать, последующим формам. Но, товарищи, вместе с этим возвышалось из области, называемой психикой... и то, что нам известно как голос совести. При помощи этого голоса росло и укреплялось все, что для данного типа является его достоинством и добродетелью. Стройностью всего существа. С утратой всего этого, знайте, товарищи, будет как с утратой легких — человеку нечем будет жить, нечем дышать. Всякий, кто станет действовать против того разума, который определяет его место в природе, тот добровольно возвратит себя за много, сказать, веков назад... Тот зачеркивает свое лицо... *(Минутная слабость, говорит с новой силой.)* Товарищи, раз человек поднялся с четверенек на две ноги — обратно ему уже нельзя. Нельзя.

Товкач. Налегайте на меня, товарищ Ермилов.

Ермилов. До последней минуты, товарищи, не будем отчаиваться и ждать лучшей, сказать, участи. *(Слабеет, опускается на руки Товкача и Анны.)* А если... как мне... придет конец — умрем... достойно человека.

Товкач. Грейте воду швидче! Ока! Кашлатый, распали костер...

Уносят Ермилова в палатку. Ока и Кашлатый у костра.

Кашлатый. Вполне ненормальные эти ученые, а хорошие люди. Другой даже говорить не может, как наш, в одно стекло глазом смотрит — не иначе рехнулся, не дышит... А он, гляди, холерную козявку

молочком открыл. Потом тыщи от смерти спасет. Почитать ученых надо. А нашего всем коллективом выхаживать будем.

Ока. Воду кипать надда. Горячо надда.

Кашлатый. Только, видать, и пищи у вас, что медведь вприглядку да вода. Наглотались и мы.

Петрик. А ты небось говядинки захотел. Дай срок — все захотят. И ученый всю спесь к собакам кинет.

Кашлатый. Зачем говядинки? И аржаные лепешки хороши. У нас, в Смоленской губернии, слушай, Окушка, после хлебов бабы аржаные лепешки в печь садят. Вынут, она пузырем вздуется, а в ее, в стерву, да сметанки.

Петрик. Молчи, дурак. *(Отходит к айсбергу осматривать трещину с медведем и остается у нее.)*

Кашлатый. От дурака и слышу... Злыдень!

Ока. Не надда ругать. Она больная. Я тебе буду песню петь.

Кашлатый. Ну, пой. Спасибо, хоть плавничку много — угреться можно. Уж и мерзли мы... Мамоньки! Пой, Окушка, пой, милая.

Товкач *(выходит из палатки)*. Уснул товарищ Ермилов. А воду про запас еще, Ока, грей.

Кашлатый. Ока песню петь собралась.

Ока. Можна петь — можна греть.

Товкач. Ой, правильная девка. Утешная! Ну, пой. Небось все про женихов?

Ока. Про женихов не много, про придано много. Ока умирать скоро будет. Хорошо про дом вспоминать.

Товкач. Ну, умирать ты еще погодишь. Постарше тебя есть. Спой, серденько.

О к а *(поет)*. Я — богатая невеста. У меня на пальцах кольца. За мной тата даст оленей. Еще ящик — восемь чашек, что чай пить. Одно блюдо... ложки... банки... Новую паныцу... Новую ендыцу...

Т о в к а ч. Ну и богачка ты, Окушка... Восемь чашек... Буржуйка, по-нашему... Еще пой. Я и очи заплющу.

О к а. Повезут невесту к жениху с приданым. А жених сготовил новый чум. Бьют теляток... Абурдают... Пекут белый, белый хлеб.

Т о в к а ч. Ну, девка, уж про хлеб не поминай. Ну его! Подтянуться потуже от того помину.

А н н а *(из палатки)*. Дайте горячих!

Т о в к а ч. Бери, Кашлатый, сколько есть, да пойдем. Може, перевертать его треба, чи що.

П е т р и к *(отходит от медведя)*. Ока!

О к а. Тута Ока.

П е т р и к. Айсберги еще ближе. Хоть бы они упали и раздавили нас. Какой завидный конец по сравнению с медленной смертью. Я опять теряю разум. Я зверею... Ока!..

О к а. Тута Ока.

П е т р и к. Я жить хочу. Я зубами буду бороться за свои двадцать лет.

О к а *(подходит, подает бутылку с горячей водой)*. Горячо надда.

П е т р и к. Не подходи близко! Не смей подходить. Смотри отсюда. Смотри на вершину снежной горы. Ты забыла — там след, еще не занесенный снегом. Свежий след медведя. По твоей дурацкой вере, ты должна была поесть от него снега. Тогда бы с медведем была удача. Так это так...

О к а *(на коленях)*. Ока не поела. Ока будет есть.

П е т р и к. Это, конечно, дурацкая вера. Это зовется суеверие. Словом, сплошная ерунда! Я должен тебе это объяснить. Но ты дикарка, ты первобытная дикарка. Ты все равно умней не можешь быть. Чего стала на колени, дура? Вставай.

О к а. Ока хочет след есть.

П е т р и к. Стой! Айсберг еще больше подтаял с тех пор. Ты свалишься, конечно, в воду или в ту же яму. И тогда какой в тебе черт?..

О к а. Ока будет метить, куда прыгать. *(Кладет доску у айсберга.)* Вот!

К а ш л а т ы й *(выходит из палатки)*. Что это, неночка на айсберге жить ладится!

А н н а. Ока, иди сюда!

О к а. Чичас!

Т о в к а ч. Ну, трохи отошел товарищ Ермилов. Угрелся, спит. Анна Федоровна над ним жалкует — хоть бы чашку ему горячей крови с того медведя наточить, обязательно б просветлел. А то два дня, говорит, продержится и очи заведет. *(Закуривает.)* Яке щасте, ще махорка е.

К а ш л а т ы й. У нас, в Смоленской губернии, банька — чистая липа. На полок взлезешь, березовым веничком попаришься — разомлеешь. Тут брусничку мочену. *(Ложится, тихо воет.)* Мамонька родная... Банька моя смоленская...

Т о в к а ч. Не вой, Кашлатый! Послухай трохи. Говорить хочу. И ты, Петра, и ты, Падеркин.

Все подходят к огню. Товкач курит трубку.

Вот что, товарищи, дело наше предпоследнее. И, как

смелые бойцы на фронтах, мы и сейчас опасности давайте глянем аж в самые очи. Пока я не в затемненном уме, хочу, товарищи, высказать. Товарищ Ермилов для науки и нашего Союза — наиважнейший ученый. А я сам после него стою вплотную, как говорится, к науке, к матерологии. Як ридну маты ее почитаю... И вот, товарищи, должны вы мне клястись, что ни товарищу Ермилову и никому иньшему не доверите того, что сейчас скажу. *(Оборачивается на палатку, понизив голос.)* Сейчас, товарищи, в полынье утонуть — момент. Ну, хоть бы мне. Поняли? Ну, а как выберете из полыньи, обязаны вы, товарищи, незамедлительно товарищу Ермилову сказать, что того окаянного медведя выхватили. Медвежатина, скажете. Добре? Хай сил от нее набирается. И вот клятвой всих вяжу, что не выболтаете. Слыхали? Мед-ве-жа-тина.

Падеркин. Подожди, товарищ Товкач, с полыньей. Мы еще настоящего медведя подпять испробуем.

Кашлатый. Совсем откладай, товарищ Товкач.

Товкач. Откладать можно, да не на дюже долгий срок. Кабы с товарищем Ермиловым не вышло як с тем конем у мужика, что совсем было без овса привык, кабы не подох. Ну, заболтался. Время мне *(смотрит на часы)* брать четвертое матерологическое. *(Идет.)* Если что помочь в палатке надо, кидайся, ребята.

Петрик. Товарищи, довольно трусости. Разве это не ложь, не сентиментальная ложь, если мы не ставим трезво вопрос в такой последней крайности — чем жертвовать: какой-то особью, стоящей на самой низшей ступени развития, или жизнью сознательных граждан, полезных коллективу.

П а д е р к и н. Чего заврался, Петра! При чем тут коллектив и какая-то особа? Не крути. Дело наше, Товкач прав, предпоследнее. Не словами тут деркотить, как ногами на танцульке, а решать в общем и целом. Ну конечно, Товкач нам товарищ, и его нельзя...

К а ш л а т ы й. Что это ты про медведя посулил? Сам знаешь, туша неподъемная. Аж на самом дне устрял.

П а д е р к и н. А ты б хотел, чтоб Товкач без всякого сумления на твоих глазах в полынью сиганул.

П е т р и к. Говядинки захотел? Ха-ха! Человечинки...

К а ш л а т ы й. Я-то? Ах ты, юда! Да вовек не захочу. Вот лепешеньку б смоленску. После хлебов, бывало...

П а д е р к и н. Молчи, дурак. Кончай, Петра, про дело.

П е т р и к. Ну что ж? Особь, говорю, на низшей ступени, совершенно первобытная дикарка. В богов верует, жертвы им приносит. Поп ихний, ненецкий шаман, уверил ее: когда оленя на могиле бьют, да не сразу, и он боднет, — верный признак, что в семье этой быть покойнику. Заладила — помереть ей надо, чтоб брат жив остался.

К а ш л а т ы й. У них, вишь, парень много девки дороже.

П е т р и к. Еще верит она, что кто первый медведя увидал, тот должен снег поесть от его следа, и уж тому медведю от людей не уйти. Я держал ей антирелигиозную пропаганду — она ни с места. И вот логический вывод, товарищи: так как все равно эта отсталая дикарка сделает по своей дурацкой вере, то счи-

таю я по совести возможным и сознательно допустимым ради общей пользы дело это поторопить, хотя бы затем, чтобы спасти дорогую для науки жизнь товарища Ермилова и нашего сознательного товарища Товкача!

Кашлатый. Мамоньки! Так это Окопька для подобного дела на айсберге отметину положила? Чтоб знать, куда прыгать? *(Бежит в сильном волнении к айсбергу и обратно.)* Нипочем, товарищи, нельзя! Запретить ей! Никак она за торосы пошла... Найду — застращаю!.. *(Убегает.)*

Падеркин. Запретитель голодный!

Товкач, незаметно для говоривших слушавший разговор, тихонько становится у отметины на айсберге, за глыбу льда.

Петрик. Ока! Ока! *(Идет к палатке.)*

Ока. Тише... Она тоже спит... Она устала... Ой, устала!

Петрик *(стискивая ей руку)*. Н-ну...

Ока. Не надда смотреть. Ока знает. Ока чичас.

Петрик. След медведя весь солнце съест, пока ты собираешься.

Ока. Чичас. Ока будет след есть. Любимый олень надда звать. Олень Выг-Ван понесет скора-скора. Добрый бог Угыда боль возьмет. Злой бог Малькон Ока голову бьет... *(Становится для разбега перед айсбергом, призывные шаманские жесты.)* Олень мой Выг-Ван...

Падеркин. Не иначе, ворожит.

Петрик *(в ярости)*. Н-ну...

Ока. Чичас кольца давать буду. *(Снимает с пальцев кольца, дает ему.)*

Петрик *(швыряет кольца)*. К черту! Тоже романтика... *(Наступает на Оку.)* Ну!

Анна выходит из палатки, поражена видом Оки.

Ока. Чичас! Чичас! *(Кружится в самозабвении.)*

Анна *(подходит быстро к Петрику, схватывает его за руку)*. Петрик, я все слышала... это нельзя! Мы погибнем раньше, чем умрем. Такой ценой вы никого не спасете. Назавтра понадобится новая жертва. Мы люди, и мы переедим друг друга!.. Кто спасется, разве забудет? Петрик! Все вы... дорогие... будем еще ждать... Будем сильны...

Ока закружилась и с криком: «Выг-Ван!» бежит к айсбергу. Ее подхватывает Товкач и берет на руки. Страшный грохот. Айсберги рушатся. Раскрывается горизонт, на нем яркое солнце, и совсем близко земля. Анна кидается в палатку к Ермилову.

Ермилов. Айсберги рухнули в океан. Должна, товарищи, быть близко земля.

Анна. Земля близко, Платон. Петрик, смотрите скорее в трубу. *(Передает ему трубу.)* Вон чернеется справа;. и простым глазом видно.

Петрик. Земля! Земля... Скалы!

Анна. Скалы усыпаны гнездами птицы гаги. Птица гага — моя сестрица. Ха-ха! Помните, Петрик, как вы меня назвали гагой.

Петрик. Анна Федоровна, простите. Я был дурак. Анна Федоровна, вы не птица гага, вы... вы... словом, по-своему и вы — полезный член коллектива.

Анна. Пожалуй, в этих льдах дозреем до этого чина мы с вами оба. Ну, Петрик, помиримся.

Падеркин *(вне себя)*. Медведь! Товарищи, того медведя выперло.

Все кидаются к медведю, вытряхнутому на лед. Тащат его к палатке. Кто свежует, кто пьет кровь, кто тащит плавник. Запалили огромный костер.

Товкач. Легче вы, бисовы дети! Не обжираться! С голодухи треба диету. Товарищи, ди-е-ту. Хиба не обидно — медвежатина в брюхе, а брюхо и лопнет.

Ермилов. Товкач, ведь это, сказать, мыс Медвежий!

Товкач. По матерологическим данным, бесспорно, есть, товарищ Ермилов.

Ермилов. Нельзя, сказать, медлить. Ближе, чем сейчас, к земле не будем. Льдина дрейфует, сказать, к норд-весту. Товарищи, свежуйте медведя. Подкрепитесь, сказать, и в каяки.

Кашлатый *(размотал голову, дико озирается)*. Ма-монь-ки! Банька моя смоленская!.. Помер я или жив? *(Орет.)* Она! Франца-Есифа Земля!

Падеркин *(подает ему на вертеле кусок медвежатины)*. Лопай паек из самого царства небесного. Недурное дежурное блюдо.

Кашлатый *(в ужасе отскакивает)*. Ни в жисть... Сгинь, сгинь! Умру — Окушку есть не стану.

Ока *(с огромным куском сала)*. Тута Ока! Тута.

Кашлатый. Жива! Андел ненецкий! Лепешенька аржаная, смоленская. *(Обнимает ее.)*

Товкач. Ну, Оконька — супруга наша. В загсу сведу.

Петрик. Это еще бабушка надвое сказала. Это уж кого она сама выберет.

Товкач. Ах ты, людоедных дел мастер! Разложился было хлопче. Не на высоте был. Окушку не в загсу, а, как коровушку, на убой норовил... Ты помалкивай.

Петрик сконфуженно стушевывается.

Ока. Ах, не надда ругать.

Товкач. И не будем, серденько. Запишу тебя, Оконька, в ликбез, обучим по новой орфографии, а как зробишься ты выдвиженкой из ненецкого нацмену, бери сама себе чоловика.

Ока. Как Угыда добрый хочет. А чичас медведю песню петь надда. К человеку медведь ходить бросит. Камлать медведю надда.

Товкач. Камлай, серденько, камлай.

Ока *(танцует у костра, поет медведю)*.

Хозяина злой Малькон бил,
Не мы били.
Мы не дадим бить.
Мы жир дадим,
К нам иди, иди, приди!

Ермилов. Товарищи, нельзя, сказать, медлить с отплытием. В лучшем положении относительно, сказать, земли мы уже не будем. Рубите медведя, нагружайте каяки.

Все тащат медведя к каякам, рубят, возятся.

Анна. Платон, два-три дня, и твое зрение вернется. И мы спасены. Какое счастье. Отчего же ты не радуешься?

Товкач *(смущенный)*. Товарищ Ермилов, с цим медведем не поладим вси в каяки — дюже важко.

Ермилов. Я это знал. *(Всем.)* Товарищи, предлагаю оставить меня пока на льдине. Пока я, сказать, слеп, я вам лишь обуза.

Анна. И я с тобой. Я не уйду от тебя. Нас обоих оставьте.

Петрик. Нет, товарищ Ермилов, мы не допустим. Ваша жизнь для данного коллектива социально необходимейшая. Я с больной рукой бесполезнее вас. И потому останусь, товарищи, я.

Товкач. Товарищ Ермилов, за що нас обижаете? Хиба ж, поив того медведя, мы аж свиньями зробились? Выгружай, братва, ту окаянну тушу. Бери в зубы каждый добрый шматок, а прочее закладайте льдинами. Можно будет — вернемся, а не можно — и так обойдемся.

Кашлатый *(смотрит в кулак)*. Скалы пестрые, товарищ Товкач. Не иначе, там птичий базар. Гагарок наловим.

Товкач. Да что тут балакать? Итак, товарищи, довольно мы предка нашего изобидели. Обезьяна — вона ж, товарищи, предок наш, вроде прадид. Скильки вона, бидна, горя претерпляла, як з четырех лап тильки на две спрокинулась. Товарищи, по науке, нам нельзя назад вертаться. Слухайте добре, вси слухайте: кто на две ноги встал, тому на двух и ходить. Назад до обезьяны нельзя вертаться. Бо четвереньки — срам. Ось, товарищи, наш компас в поведении. А теперь, уставя очи в компас мореходный, командую: сигайте швидче в каяки!

Занавес.

АКТ IV

Слева, вдали, причальная мачта для дирижабля. Прямо — внутренность станции. Большая комната; в ней три двери: выходная, налево — в кладовую, направо — в комнату Дарьи Логовны. Перед спущенным занавесом маршируют гуськом капитан, Ремешков, два цинготных матроса, Выкин и Доков, кок и Дарья Логовна, завхоз причальной станции. Маршируя, делают гимнастику — руками вверх, вниз, вперед — под команду капитана: «Links um![1] Ать-два! Rechts um![2] Ать-два!» Занавес поднимается. Через боковые двери все проходят в комнату и делают бег на месте.

Капитан. Halt! Вольно!

Дарья Логовна. Уморили, капитан Древс!

Капитан. Будете благодарить капитан Древс, что всех поправлял от цинга. А вы, кок, еще имеете спускать жир ein bißchen.[3]

Кок. Что ж это, мне себя в полпорцию истощить, вроде какой модной мамзель?

Дарья Логовна. Не расстраивайтесь, Илья Капитоныч. Корпус ваш в самой препорции. А моцион почтенному человеку всегда во здравие.

Капитан. Вы есть умная дама, Дарьевна. Моцион — это есть долгое лето, один добры сон и добры аппетит. А вы будете сегодня нажаривать нам гагарок, Дарьевна?

Дарья Логовна. Нажарю, коль набьете.

Капитан. До обеда мы имеем много время. Выкин и Доков, марш на охоту. Кок, торопите ремонт на

---

[1] Налево! *(нем.)*
[2] Направо! *(нем.)*
[3] Немножко *(нем.)*.

наше судно. Штурман Ремешков, вы остаетесь, есть дело.

Матросы остаются. Вбегает радист Крон.

Крон. Капитан Древс, из Москвы вторично радио — запрашивают, не пришла ли научэкспедиция Ермилова? Хотят аэроплан на разведку выслать.

Капитан. Хорошо. Будем давать Telegramm. Ремешков, einen Augenblick[1] ждите. Я сейчас обратно.

Ремешков. Есть, капитан.

Капитан уходит.

Кок. Ну и стоеросовый этот Древс! Хоть кол ему на голове теши. Давно ль мы с тобой, Ремешков, заставили его вместо Архангельска идти честно к норду на помощь научэкспедиции? Как струсил-то! Как пардону просил! А гляди, опять в силу вошел. Тоже командует! В случае, наши счастливо вернутся, кабы он нас с тобой первых не оклеветал. С такого гоголя станется.

Капитан *(возвращается)*. Кок, ремонт на судне ждет вас... bitte!

Кок, пожимая плечами, уходит.

Опасно есть наше дело, Ремешков. За научэкспедицией высылают один аэроплан. Машина будет летать. Летать и искать Ермилов. На это надо быть готовым, Ремешков, машина может Ермилов находить. А если Ермилов und Kompanie прибудут сюда, они могут спрашивать, Ремешков, что значил тот взрыв невдали наше судно. Взрыв они должны были слыхать, потому что в ту ночь, Ремешков, была очень злая буря. Они, наверно, сбивались с пути и при нас блудили. Они,

---

[1] Минутку *(нем.)*.

Ремешков, заинтересуют знать, кто взрыв этот производил. Und dann[1] кого мы будем называть, Ремешков? Вы молчите? Очень карашо. Я буду называть. Ну конечно, наш кок.

Ремешков. Эх, капитан Древс. Раз уж было послушал я вас на свою голову. Да чуть перед самим собою в подлецы не попал. Спасибо коку — поднял матросов — не дали уйти. А случись по-вашему, стрельни мы тайком в Архангельск — хорош бы я вышел гусь. Да одна совесть бы мне жить не дала. И пошел бы я до конца дней свое горе водкой глушить. Так нет же, капитан Древс, нет! Не предатель я вам! Второй раз на срам не толкнете. Ищите себе другого осла!

Капитан. О, зачем грубы слова, Ремешков? Однако слушайте, есть еще выход. Подавайте сюда карту. *(Разворачивает на обеденном столе большую карту.)* В тридцать километр есть норвежски станция... Что вы скажете? Один хороший переход отсюда — и вам, Ремешков, эмигрирен, а мне — nach Vaterland zurück.[2] О, там не доставай меня никакой советски губной суд.

Дарья Логовна *(в руках поднос с тарелками, подплывает к карте, косится на капитана)*. Стол пора к обеду накрывать, а вы развалились.

Капитан *(поспешно складывает карту)*. А, Дарьевна! Ну, говорите, как я учил: bitte zum Tisch! Просьба к обеду.

Дарья Логовна. Стара, батюшка, язык ломать. Коль есть захочешь, и по-русски, чай, поймешь. А зовут

---

[1] И тогда *(нем.)*.

[2] Обратно на родину *(нем.)*.

меня не Дарьевна, а Дарья Логовна. Может, в вашей заграничной стране хорош обычай человека и по матушке величать, а у нас по батюшке считается много повежливее. Прошу запомнить — Дарья Логовна.

Капитан. Дари́ Люковна. Пакучий имя! Вы были в вашей Jugend[1] один розовый цветочек, Дари Люковна.

Дарья Логовна. Да уж верно, что не похуже других.

Капитан. И рядить любили, Дари Люковна — бантик, кантик, капелюшхен, мантильхен... тру-ля-ля-ля!

Дарья Логовна. Не отрекусь, нарядница была.

Капитан. И сюда, на Северный Pol, вы, я заметил, тоже привозил свой наряд. На праздник вы имей другое платье — цвет бордо.

Дарья Логовна. В жизни бордового не любила! Пюсовое у меня в праздник. Еще маменьки-покойницы подарок. Пюсовое.

Капитан. О, какой замешательный цвет. Пюс — по-французски есть одна блошка. У вас блошкиное платье, Дари Люковна. Покажите. Я интересант к такому платью.

Дарья Логовна. Так сейчас вам из шкафа и вытащу! Другого дела у меня нет? *(Уплывает к себе в комнату.)*

Ремешков. Капитан, эта баба прехитрая. С ней поменьше б языком чесать. Ведь с коком она связалась.

Капитан. Я уж вам говорил, Ремешков, вы не есть Шерлок Холмс. Нам надо Дари Люковну разговором располагать. Я имей хорошую науку в женское

[1] Молодости *(нем.)*.

сердце, Ремешков. Нет, Ремешков, такая твердая крепость, которая не дает себя брать умелой осадой. Молодая женщина надо делать скорое признавание в любви и внимание; женщина в летах — внимание и... тоже признавание. С Дари Люковна я все же думаю остановиться на одна первая часть.

Ремешков. Тем более что во второй действует кок форсированным маршем.

Капитан. Есть, Ремешков. И нам, как говорят, это одна синица под руку. Я буду вести наступление через Дари Люковна, а вы — прямым фронтом на самого кока. Коротким словом говоря, предлагайте, Ремешков, коку денежная премия и чтоб он делал свое признавание на причину взрыва. А я буду, как Фауст Гретхен, соблазнять Дари Люковну... О! Вдова всегда ein klein wenig[1] хочет замуж. Я уж знаю моя наука про женщин. Nun, Ремешков, сейчас я буду присылать вам кок на деловое заседание для провиант, и вы будете его легко навертывать на ваш палец. По русски обычай, охотнику нельзя желать удача. И потому я говорю вам, Ремешков: ни пук, ни перо. Ни пук, ни перо! *(Стучит в дверь Дарьи Логовны.)*

Дарья Логовна. Ну что еще? Только грибы перенизывать села.

Капитан. Дари Люковна, мы с вами будем ходить осматривать провиант. Плохой консерв будем отделяй от хороший консерв. Здесь штурман будет делать деловой заседание.

Дарья Логовна неохотно идет за капитаном. Ремешков в волнении ходит по комнате.

---

[1] Немножечко *(нем.)*.

Кок *(входит)*. Капитан меня к тебе прислал, Ремешков. В чем дело? Опять, что ли, вместе стакнулись?

Ремешков. Что у тебя за тон? Прошу переменить.

Кок. Рад стараться! Для вашего благородия к кузнецу побегу, язык перекую. Ох ты, Ремешков. Кисельная, брат, у тебя душа. Опять к Древсу перекинулся? Чуть было не подвел он тебя под беду. После взрыва, вспомни, Ремешков, как совесть тебя зазрила! Едва я воспротивился в Архангельск идти, не ты ли ко мне примкнул? Не с тобой ли вместе принудили Древса к норду взять? Что ж ты опять с ним шушу по углам? Испугался, что аэроплан за Ермиловым выслан? Не фасон, Ремешков, не фасон!

Ремешков. Не буду с тобой, Капитоныч, хитрить. Действительно, испугался. А ну как все вернутся и нас к ответу?.. Петрик обязательно все выведал. Иначе с Анной Федоровной чего бы ему бежать? А если взрыв экспедиция слышала, дело-то выходит совсем дрянь. Вот если б ты, Капитоныч, на себя его взял? Показать только: взорвал, дескать, в пьяном виде, вроде для фейерверка. Пустяковая твоя выйдет вина, ну просто плевое дело. А уж от Древса благодарность бы тебе.

Кок. Заткнись, Ремешков. Не человек ты — стюдень. Негодяя покроешь — себя живьем зароешь. И, спросить, чего ради, глупая твоя голова? Ведь про тебя-то лично я по справедливости покажу: без него, скажу, мне с капитаном вовек не справиться б. Мое дело — кухня, штурманово — корабль. Вдвоем напирали. А Древсова карьера, конечно, бамбук! Подобных

коммерческих капитанов советским кораблям не надо. И мой совет, Ремешков, — ты в его грязное дело не влипай. Лишь для видимости будь с ним заодно. Диалектику с ним разводи, а смычку держи со мной. Пред экипажем и выйдешь товарищем. А мне наградные капитановы — тьфу! Самостоятельно заработаю, как старший полярный кок.

Ремешков. Правильно, кок, твердый ты человек. А меня, как семью я завел, ровно кто рассиропил. Засадил я садок и стал баба бабой. У руля стою, а передо мной будто буйный малинник. Под глазок малинку чикну и новой мочалкой к палочке привяжу. Обряжу таким манером весь малинник и за яблоньки. Которой прививочку, которой фосфориту под корень. У меня выспевают, Капитоныч, и белый налив, и антоновка, и вся возможная садовая флора.

Кок. Эх, Ремешков, середняк ты беспросветный. Новой эпохи ни в какой мере не чувствуешь. А моложе меня. Видать, не по одним классам и по возрасту люди делятся, а по нутряной комплекции. Иной — помрет и в гробу не слежится, а иной — как ты, Ремешков, раньше сроку сам к земле прирастет.

Ремешков. Сиротой горьким вырос я, Илья Капитоныч. Женился поздно, а у жены садок. Как овдовел, с головой в это дело ушел. Прямо скажу, потянуло меня с воды да в землю. Зато сейчас зарок даю, Илья Капитоныч, коль научэкспедиция в добром здравии вернется, коль все в целости, я жениным племяшам сад дарю. Сам, бездетный, налегке доживу. Ну, по рукам, што ль, Капитоныч? Поддержим один другого.

Кок. Уж ладно. Ну, иди, разводи диалектику Древсу, чтобы раньше сроку куда не удрал. Подкупается, мол, кок, только дорожится.

Ремешков уходит.

(Стучит Дарье Логовне в дверь.) Старший полярный кок...

Дарья Логовна *(кокетливо выглядывает).* Ах, Илья Капитоныч!

Кок. Дарью Логовну чмок-с!

Дарья Логовна *(выходит, жеманясь).* Что это вы, Илья Капитоныч. Какие шалости. Молодые наши годочки припомнили. Бывало, при покойнице матушке не раз меня таким родом в сад выманяли.

Кок. А чтоб к себе в дом окончательно заманить, не судьба вышла. Мечтаю, Дарья Логовна, сейчас упущенное наверстать. К примеру, как вы на подобное?.. *(Поет.)*

И в дом мой сме-ло и свобод-но
Хозяйкой пол-ною войди!..

Дарья Логовна. Ах, ах, Илья Капитоныч! С вами встреча в этом Ледовитом океане — хоть Союзом нашим и запрещено — не иначе, чудо. Ведь нужно было мне, одинокой вдове, попасть сюда на станцию завхозом, а именно вам приплыть на «Победе». Вы заметьте, Илья Капитоныч, ехала я как в монастырь. Овдовела наконец и вот думаю: не было в жизни радости и, уж конечно, не будет. Позади любовь поруганная, так пускай впереди — одно снежное поле, пустое небо да гагары на скалах. И вдруг — мечтанье юности: вы, Илья Капитоныч!.. То в одной губернии маялись, не встречались, и вот привелось

у самих у белых медведей. *(Вытирает глаза платочком.)*

Кок. Судьба, Дарья Логовна, или — как приличней по-современному — диалектика. Женимся, Дарья Логовна. Я — старший полярный кок, вы — наша супруга, полярная кокиня. Ваш опыт, ваше обхождение, Дарья Логовна... и то обстоятельство, что вы еще до встречи со мной самосильно ничуть не саботировали, а переключились на советские рельсы и пошли по нашему революционному хозяйству и ныне имеете по заслугам стаж полярного завхоза — все мне в вас соответствует, все манит новым счастливым созвучием. Словом, желанны вы мне, Дарья Логовна, как в бытность вашей нежнейшей юности, когда дитей видал вас у матушки. Увы, Дарья Логовна, пренебрегла ваша матушка в ту пору моей бедностью и силком выдала вас за богатого, не предвидя, конечно, наших декретов о национализации всего движимого и недвижимого.

Дарья Логовна. Не вспоминайте, Илья Капитоныч! В те горькие годы одной радостью мне было: когда, одинешенька, раскрою дареные вами ноты — тот дуэт, что мы с вами в роще украдкой певали... Свою партию пропою, а уж вашу, Илья Капитоныч, вашу проплачу...

Кок *(на коленях)*. Дарья Логовна! Дашенька!..

Дарья Логовна *(поет)*. «Не ис-ку-шай меня без ну-жды...»

Кок *(вторит)*. «Не ис-ку-шай...»

Дарья Логовна. А толку в мужнином богатстве мне, Илья Капитоныч, не вышло никакого. Ведь ни деток с ним, ни радости... До чего мне, например, каракулевую саку иметь хотелось. Особенно как

подруга моя, Марья Сидоровна, от мужа с войны письмо одно получила. Был он простой солдат, отличился — и вдруг ему и Владимира, и дворянство, и чин офицерский... Вообразите, Илья Капитоныч, письмо его я как сейчас слово в слово помню, потому что обида мне в нем была несусветная. Писал же он так:

«Как с прошлого месяца в наших жилах ныне течет одна благородная дворянская кровь, то вы, наша супруга, с простым званием не водитесь, — это со мной, значит, — а идите немедля в Гостиный двор и купите себе каракулевую саку. На нее прилагаю соответственно. Алферов».

От обиды, Илья Капитоныч, я в те поры глаза все проплакала. А мой скупердяй в утешение мне и тут денег на саку не дал.

Кок. И в этом обстоятельстве будет вам полное удовлетворение, Дарья Логовна. Но как сейчас каракулевую саку одни бывшие люди донашивают, а им жулики в трамваях заднюю полу ловко срезывают, то ко дню свадьбы преподнесу я вам какие хотите иные пролетарские меха из Пушторга.

Входят цинготные матросы.

Выкин. Мы к тебе, кок, за советом.

Доков. Капитан Древс в подозрение нас вводит.

Кок. Ну-ну, братва, излагайте.

Выкин. На судне машину смазать велел, к скорому отходу наладить. А радист говорит: по радии из Москвы есть приказ всем оставаться, дирижабля ждать. Дрáла он хочет дать.

Кок. Ну, до вечера не удерет. А вечером всех ребят на совет соберем, порешим это дело. А сейчас

поздравляйте меня, братва, — с Дарьей Логовной сочетаюсь.

Доков. Ну, Капитоныч, сразил. Кругом льды, замерзать впору, а он, гляди, разворошился.

Выкин. Ухажер... с полярным стажем!

Дарья Логовна. А вот и неправда. Наше знакомство не морское, а еще сухопутное. Только тогда нам судьбы не было. А сейчас хоть не судьба... так *(вспоминает)*... ди-а-лех-тика... Так, что ль, Илья Капитоныч?

Кок. Истина, Дарья Логовна.

Выкин, Доков. Поздравляем, поздравляем!

Дарья Логовна. Не порядок всухую. Надо наливочки дать. *(Приносит, кок разливает.)*

Выкин. Ай да кок! Ай да Капитоныч!

Доков *(приплясывая)*.

Капитоныч коком был,
Да камбузу изменил.

Выкин *(подхватывает)*.

Ты прости-прощай, камбуз!
Коку в Даше нынче вкус.

Кок. Ой, лешие! *(Хлопает то одного, то другого.)* Ой, лешие!

Дарья Логовна *(с наливкой)*. Пожалуйте!

Выкин, Доков. Поздравительная.

Дарья Логовна. Да какая. Не вчерашняя. На полюсах вылежалась. То-то вас не было облегчить.

Кок. Эх, Кашлатый! Франца-Есифа Земля! Будешь ли, брат, на моей свадьбе гулять? Угощайтесь, ребята!

Выкин. Здоровым быть! Долго жить!

Доков. На полюсе б свадьбу отпраздновать, Илья Капитоныч.

Кок. Что ж, можно и на полюсе! Прейскурант вин и меню там для тела, советский загс для души.

Дарья Логовна. По-церковному, значит, не выйдет, Илья Капитоныч?

Кок. Лжепредрассудок, Дарья Логовна. И, кроме того, у вас это уже было в прошлом с моим соперником.

Дарья Логовна. И пренесчастливо, Илья Капитоныч. Вы правы — у нас с вами все будет по-новому.

Выкин. Ну, и самим бы омолодиться не мешало — от барашка аль там от обезьянки...

Кок. И собственных ресурсов, надеемся, хватит. Ну, пейте, ребята! А между прочим одно дело разумейте. За капитаном Древсом, конечно, надо в оба. Хоть стрекача ему дать тут некуда. Разве что к тюленям.

Дарья Логовна. Ах, не одни тюлени тут, Илья Капитоныч. И норвежская станция недалеко. Давеча, вот послушайте только, капитан на стол навалился, по карте пальцем водит, а Ремешков вроде его чурается: не хочу, дескать, с вами делов иметь.

Кок. Умница вы, Дарья Логовна. Ценное свидетельское показание! Еще, ребята, по одной! *(Пьют.)*

Вваливается Кашлатый.

Кашлатый. Кок! Капитоныч! *(Хочет обнять. Кок в ужасе не верит глазам.)*

Дарья Логовна. Свят, свят. Да воскреснет бог и расточатся врази его!

Кок. Призрак это твой, Кашлатый, аль ты сам?

Дарья Логовна. Хорош призрак! Ишь, наследил... Только пол вымыла. *(Кидается вытирать.)*

Кашлатый. Живой я и жрать хочу!

Кок. Живой, живой, сукин сын!

Все. А прочие где? Живы ли?

Кашлатый. Идут! Недалече отсюда пристали. Думали мы, Медвежий мыс, а напоролись на причальную станцию. Спасибо ей — мачта торчит. Издаля видно. Идут наши, идут.

Все. Идут! Идут!

Кок. Да откуда? Как с неба свалились. Выпей ты, Кашлатый. *(Наливает.)*

Кашлатый *(опрокидывает)*. С подвижной плавучей льдины. На каяках. *(Опрокидывает.)* Мамонька родная! Уж и претерпляли мы!.. *(Опрокидывает.)* Анна Федоровна, мамочка, с ног сбилась, шла, шла, а намедни сомлела. На руках ее наши несут — то-то отстали. Меня налегке на разведки выслали.

Кок. Надо Анне Федоровне комнату потеплей. Лучше нет — к радисту Крону. Пойдем распорядимся.

Кашлатый. Кабы не Анна Федоровна, ведь ослеп бы ученый-то. Выходила! Петру руку спасла. На всех, на всех разорялась. Да что говорить? Без нее мы бы друг дружку поели. Было дело... *(понизив голос)*. Уж на Окушку зарились. Анна Федоровна осадила. Вот и неправедно ты, кок, говорил: баба на корабле — пропасть кораблю. Ан бывает, что и спастись.

Кок. Ах ты, Франца-Есифа Земля! Ну-ну... опрокинь еще!

Кашлатый. Огонь, Капитоныч. Огонь в нутре. Хоть бы одну навстречу им снести.

Д а р ь я Л о г о в н а *(ставит несколько бутылок).* Вот берите...

К о к *(берет две).* Скоро вернемся. Оправдаем остатние. Встречу готовьте, Дарья Логовна. Все, что в печи, все на стол мечи. Научэкспедиция идет. Ура!

В с е *(к выходу).* Ура!

К о к. Стой! Выкин, Доков, вы, ребятки, на ноги плохи. Все равно отстанете. Вы капитана уберегите, чтоб не сбежал. У самого выхода дежурьте. Из дома никого не пускать, окромя Дарьи Логовны, — ей по хозяйству туды-сюды приведется.

К а ш л а т ы й. Капитан про меня, уж верно, знает. Я с радистом говорю, а он издаля глядит. Повернулся было к нему, а он за торосы ка-ак порскнет. Должно, личность свою соответственно подготовить.

К о к. Ну, идем скорее! Ребята, капитана не упускать.

Уходят. Дарья Логовна накрывает большой стол, уставляет его бутылками и закусками. Останавливается в мечтании, напевает: «Не ис-ку-шай меня...»

Д а р ь я Л о г о в н а. Бог с ней, с Марьей Сидоровной. Отпущу ей каракулевую саку. «Не иску-шай меня...»

К а п и т а н *(входит).* Кто тут делал шум? Где матросы? Где субординация? Сейчас к нам будет научэкспедиция. *(В волнении ходит по комнате.)* О, я им буду показывать субординация. А, тут делают один фестиваль... Оч-чень хорошо. *(Наливает и пьет много рюмок подряд.)*

Д а р ь я Л о г о в н а. Да что это вы, капитан Древс? Не по правилу!

К а п и т а н. Я сам есть правило. Слыхали: бог на небо — капитан на кораблю.

Дарья Логовна. Какой же это корабль, когда это совершенно сухопутное помещение!

Капитан идет к выходу. Матросы его не выпускают. Пререкания.

Голос Докова. Велено одну Логовну выпускать. Вас не велено!

Капитан. Я требую субординация. Я под суд отдам. *(Возвращается обратно.)* Дарья Логовна, вы есть добры женщина. Прошу вас папирос. Я не захватил.

Дарья Логовна. Папирос нет, один насыпной для команды.

Капитан *(овладев собой, обычным шутливым тоном)*. Ну что ж, и я умей крутить один козий ножка.

Дарья Логовна *(идет в кладовую, ворчит)*. Да уж вволю-то раскуриться не дам!

Капитан делает ловкий прыжок, затыкает Дарье Логовне рот салфеткой, другой связывает руки назад, вталкивает в кладовую, потом кидается в комнату Дарьи Логовны, надевает плюсовое платье, платок, берет в руки корзину, в нее кладет со стола несколько бутылок вина и уходит. Дарья Логовна бьет в дверь ногами, потом затихает. Крики, шум. Входят Петрик, Товкач, Падеркин, кок, радист, Ока. Всех усаживают, раздевают. Огонь в камине. Суматоха. Возгласы: «Экспедиция идет!», «С того света ворочаемся!», «Мерзли, да не домерзли!», «Да целы ль вы? Да живы ль вы?», «Целехоньки!», «Шамать давай!», «Ах, черти! Ах, стажеры полярные!»

Ока. Хочу такой юрта жить!

Товкач. Доперлись до хаты, товарищи. Ба! Горилка першая встречает. Ой, и добра! *(Опрокидывает.)* Налегайте для здоровья, товарищи! Оконька! Кашлатый, смотри с посудой не проглоти. Треба до теплой хаты товарищу Ермилову снести.

Кашлатый. И Анне Федоровне для подкрепления сил.

Товкач. На! *(Дает.)* Катись. Ну, а де ж той собака, капитан Древс?

Кок. Выкин, Доков! Стеречь приказано вам. Где Древс?

Матросы. И не выходил, а, сказать, скрозь землю провалился, товарищ кок. Логовну, точно, выпускали. Сами дивимся, что капитана и след простыл.

Стук в чулане. Открывают, выводят связанную Логовну.

Дарья Логовна. Связал... Рот заткнул.. душил было.

Выкин. Да мы ж тебя выпускали, Логовна. В парадном платье была, в платке в черном...

Дарья Логовна *(кидается в комнату)*. Пюсовое украл... Пюсовое! Держите!

Кок. Ну и команда! Капитана от бабы не отличили. Успокойтесь, Дарья Логовна. Откушайте водицы.

Матросы. Обернулся, дьявол, Логовной. Все одно — уйти ему некуда. Разве к медведю в берлогу. Идем!

Крон. Куда вам одним, цинготным. И я с вами пойду. Кстати, надо Анну Федоровну поудобней устроить.

Товкач. Ну, швидко. А не найдете — я того собаку пошукаю. Да що с него взять? Вин наемный капитан. А вот как наш Ремешков на таке погано дело пошел. Где Ремешков?

Радист и матросы уходят.

Петрик. Товарищ кок, аэроплан летит Ермилова разыскивать. А он уж сам здесь. Изумительные собы-

тия. Изумительные! Мне кажется, я два вуза сразу окончил. Просто вот чувствую, как поумнел.

Шум в сенях, крики, смех. Товкач уходит узнать, в чем дело. Тотчас возвращается.

Товкач. Ну, отсалютовали наши хлопцы не капитану, а капитанше! Бо бабник Древс сам бабою зробился. Повели его очухаться в кают-компанию, там запрут — не удерст. А привезем домой — на суде разберут, что он за птица.

Дарья Логовна. Пюсовое платье снять надо. Измял... испаскудил... Пюсовое!

Выкин *(входит, подает платье)*. Нате, Дарья Логовна. Получайте свое. А недалеко и ушел капитан-то. Через край, видать, водочкой где-то подбодрился. Тут сейчас за торосами и нашли его.

Товкач. А где же... сказать... Ремешков?

Падеркин. Одурел Ремешков — вешаться вздумал. Вот кок приведет его. В самую в пору из петли вынули.

Кок и Ремешков входят.

Кок. Товарищи, вот успокойте парня. Убивается. Через капитана, говорит, и мне теперь веры не будет. А я, товарищи, свидетельствую: без содействия Ремешкова быть сейчас нашей «Победе» в Архангельске, а нам зиму тут зимовать.

Ремешков. Дайте, товарищи, заслужить. Доверьте судно, доведу.

Все. Верим, Ремешков, доводи.

Товкач. А сейчас, братва, давайте кока почествуем, бо в этом довольно темном деле он, как говорится, дюже аттестовался как светлая личность.

Все. Кока чествовать!

Кок. Коль на то, ребята, пошло, так не одного ж меня, а с нашей супругою. Дарья Логовна — выдвиженка с полярным стажем. Дарья Логовна, вашу руку.

Дарья Логовна дает руку.

Ока. А Ока чичас не будет жениться. Ока — бедный невеста. Придано у тату оставлял. Тату продадут придано... Три оленя, во-о-семь чашек...

Товкач. Я ж тебе, серденько, аж дюжину куплю. А учеба — це добре, Оконька. Первый ненецкий женотдел.

Ока. Это карашо, очень карашо.

Кашлатый *(вбегает)*. Товарищи, сейчас товарищ Ермилов придет, он по радии принимает. И Анна Федоровна обязательно сюда хочет. Отошла, мамочка, отошла.

Дарья Логовна. Кресло ей, миленькой, выкатим. У меня в кладовке на подобный случай припасено.

Кашлатый. Бегу. На руках ее, мамочку, принесем.

Петрик, Ока, Дарья Логовна выкатывают кресло. Дарья Логовна обмахивает его веничком. Петрик вытаскивает из кладовки барабан.

Петрик. Ого, это пригодится. *(Пробует.)*

Дарья Логовна. Пауки паскудные. Скрозь оботкали.

Петрик. Ура, Дарья Логовна! *(Кружит ее вместе с креслом. Она его смазывает веником.)*

Дарья Логовна. Отвяжись, балда.

Петрик. Оконька, душенька, станцуем ненецкий танец. *(Танцуют.)*

Шум за дверью.

Кашлатый. Кресло Анне Федоровне есть?

Все. Есть, есть.

Кашлатый и Выкин вносят Анну Федоровну и сажают в кресло.

Анна. Спасибо, дорогие. Мне отлично. Как я рада, что я у вас... и такие все добрые...

Кок. Приветствуем, Анна Федоровна, с благополучным прибытием. Рекомендуем — супруга наша, Дарья Логовна.

Дарья Логовна делает книксен, обнимаются.

Товкач. Дарья Логовна, разлейте всем по склянке. Бо товарища Ермилова треба тушем встречать.

Дарья Логовна наливает. Входят Ермилов и радист Крон.

Все *(подняв бокалы)*. Ура товарищу Ермилову!

Петрик бьет в барабан.

Ермилов. Товарищи, по радио сообщение: летчик, посланный за нашей экспедицией, сейчас прибудет.

Крон. И как счастливо-то, что искать вас не придется.

Ермилов. Сам нашелся. Анечка, хорошо ли тебе?

Ока. Карашо. Он как медведь лежит.

Крон. Товарищ Ермилов, боюсь вас и спрашивать, подтвердились ли ваши научные предположения. Это вещь такой важности. По радио все запрашивают.

Ермилов. Да. Проверка все подтвердила.

Товкач. Голодали, товарищ радист, замерзали, а матерологию не предали.

Ермилов. Расскажите, товарищ радист, приводятся ли в исполнение наши полярные проекты. Уж полгода я ничего не знаю.

Крон. Все идет лучше, чем ожидали. К нашей

причальной мачте летит дирижабль. Связь со станцией на полюсе будет поддерживаться на самолетах. И когда вы, товарищ Ермилов, окажетесь в состоянии лететь, то, быть может, вместе с летчиком проследуете к норду.

Ермилов. Я уже здоров. Я вижу без очков. Я уже могу. Немного подкрепиться, и далее. Все так благополучно кончилось. На аэроплане, наверно, окажутся отличные приборы. И знаешь, Анечка, если к моему исследованию прибавить еще кое-что на полюсе... Но нет, нет. Конечно, это невозможно. Я только мечтал. Боюсь, что новая разлука тебе уже не по силам. Я только помечтал...

Товкач. Анна Федоровна, а вдруг товарищ Ермилов и на полюсе каку-нибудь штуковину откроет... А? Матерологична каша тильки заварилась.

Пауза.

Анна. Товкач прав. Знаешь, Платон, улетай. *(Обнимаются.)*

Товкач. Це добре! Ай да Анна Федоровна! Выходит, и вы недаром померзли. Бо окончательно переключились с личности на коллектив.

Анна *(сквозь слезы)*. Вот за это спасибо, Товкач, аттестат выдал.

Товкач. Сами заработали, Анна Федоровна.

Крон. Товарищу Ермилову, во всяком случае, удастся отдохнуть, Анна Федоровна. Ведь самолет вылетел с расчетом затратить время на поиски, а уж потом отправиться вслед дирижаблю.

Товкач. А сейчас, товарищ радист, затратим время на добрый пир. А там, як живы будем, аж вси перекинемся на полюс.

Дарья Логовна. Илья Капитоныч старшим полярным коком.

Кок. Вы, Дарья Логовна, — полярная кокиня.

Дарья Логовна жеманится.

Ока. Ока учить камлать будет. Медведь, добрый хозяин, приди. Угыда Гидерв. Нум... Нум... Ну-у-ма...

Кашлатый. Меня на Франца-Есифой Земле, товарищи, скиньте. Обратно подберете. Побуду — обсмотрюсь.

Падеркин. Кашлатый там с медведицей угнездиться хочет.

Кашлатый. А скоро летчик-разведчик прилетит?

Крон. Вот-вот. Телеграмма уж есть. Сейчас пора на мачте иллюминацию зажигать. Идем, Доков. *(Уходят.)*

Ока. Чичас! Чичас! Чичас!

Кашлатый. Товарищ радист, а как дирижабель к нам не сядет, а с разбегу возьмет да мимо причальной мачты даст?

Крон *(от дверей)*. Нельзя ему мимо. Без причальной мачты до цели ему не дойти. Тут и бензин ему заготовлен. Чай, тоже проголодалась машинка.

Товкач. Товарищи, разрешите, пока летчик-разведчик не прилетел, сказать вам краткое слово насчет культурной революции. Бо тая причальная мачта меня на думки навела. Слыхали, товарищи? Дирижаблю — воздушной птице — и той треба на причальную мачту сесть. Бо без причальной мачты вин пустобрюх. И нема ему ниякого взлету. Так и наша революция, товарищи, не может быть без культуры. О! Менее научно выражаясь, революция без культуры — це пустой

сарафан без бабы, пирог без начинки. Це, товарищи, изба-читальня без якого народа, где, як горьки сироты, по стенам одни вожди скучають. Еще скажу, товарищи, по линии культурной революции граждане делятся, як овощ, по сортам. И вот, граждане, на полях орошенья, к примеру, турнепс — ему б места побильше занять та лежнем лежать. Солнечко его греет, а вин на земле тильки преет. Но е, товарищи, совсим другого сорту чоловик. Он — як живчик колобок. Ему всего земного шара мало. Он этот шар под микроскоп загонит, чтоб увеличился. И прет такого живчика, товарищи, все дальше, без передыху, як нашего доблестного товарища Ермилова. Хай живе товарищ Ермилов! Хай живе причальна мачта нашей революции — культура, и моя ридна маты — матерология!

Пропеллер трещит все сильней и сильней.

Все. Самолет-разведчик.

Кашлатый. Снизился, товарищи, чтоб ему... Снизился, сукин сын. Сюда идет.

Товкач. Дирижабль! Музыка ему!

Петрик. Музыку!

Логовна подает из кладовой гармонь, трубы. Кто бьет в барабан, кто в жестянку. Ока кружится, как волчок.

Товкач. Хай наш Союз не обижается, бо другого струменту нема. *(Дудит сквозь бумагу на гребешке.)*

Все. Ура! Дирижабль!..

Занавес.

ПРИМЕЧАНИЯ

В том 7 входят рассказы, очерки О. Д. Форш, опубликованные в 1924—1929 годах, и пьесы этого периода. Первые три раздела состоят из рассказов и очерков, входивших в сборники «Летошний снег» (1925), «Московские рассказы» (1926) и «Под куполом» (1929). Последний раздел составляют пьесы.

ЛЕТОШНИЙ СНЕГ

В данный раздел включены два рассказа из сборника О. Д. Форш «Летошний снег», М. — Л., «Земля и фабрика», 1925. Сборник состоит из шести рассказов, объединенных общей темой, на которую образно указывает название книги: в центре внимания автора — изображение остатков прошлого, пережитков старого, дореволюционного уклада в их контрасте с новым, советским строем жизни; эти остатки обречены на исчезновение, как неизбежно растает «летошний снег».

ДЛЯ БАЗЫ

Впервые — альманах «Круг», 1924, № 3, стр. 235—259.

Стр. 7. *...дьякон-то Мардарий, живцом стал!* — Живцы — сторонники «живой церкви», течения, отколовшегося в 1922—1923 годах от русской православной церкви; пытались приспо-

собиться к новым условиям, организовали высшее церковное управление (ВЦУ), признавшее советскую власть.

«Совместное выступление»... — Диспуты между представителями так называемой «живой» и «мертвой» церкви проводились в начале 20-х годов в Москве и других крупных городах.

Стр. 9. *...распухшую от обращения красную столимонку...* — «Лимонами» называли в 1920—1923 годах обесцененные денежные знаки миллионного достоинства. Купюра в сто миллионов была красной.

«Ара» — сокращенное название Американской администрации помощи, созданной в 1919 году для оказания «помощи» европейским странам, пострадавшим от первой мировой войны. Во время голода 1921 года в Поволжье советское правительство разрешило деятельность этой организации, но в июле 1923 года, в связи с ее враждебными действиями против нашей страны, деятельность «Ара» на территории Советской России была запрещена.

Стр. 10. *Ектенья* — молитвенное прошение в церковной службе, обращенное к богу от лица всех молящихся.

Стр. 11. *...«и взыграше младенец».* — Имеется в виду евангельская легенда, согласно которой во чреве Елизаветы — матери Иоанна-предтечи — «взыграл младенец», когда она услышала приветствие девы Марии.

Стр. 12. *...едет опять на собор...* — Всероссийский поместный собор православной церкви — один из центров внутренней контрреволюции — происходил в Москве с августа 1917 по сентябрь 1918 года.

Стр. 18. *Читали: в Кельне...* — В январе — феврале 1918 года в Кельне происходили крупные стачки, сопровождавшиеся демонстрациями.

Стр. 19. *Орарь* — часть дьяконского облачения.

Встрепенулся дьякон при «изъятии ценностей»... — Закон об

изъятии ценностей у церквей был издан президиумом ВЦИК в феврале 1922 года.

Стр. 23. *...с указанием на далекое прошлое Византии и гонение императора-арианина.* — Имеются в виду события церковной истории Византии, когда император Констанций II (время царствования 337—361) склонился на сторону арианства (течение в христианстве, названное по имени его основателя, александрийского священника Ария, 256—336) и начал гонение против православной церкви.

Митра — головной убор архиереев, архимандритов и епископов при полном облачении.

...живцовский «Журнал для всех»... — По-видимому, речь идет о журнале «Живая церковь» (1922—1923).

Стр. 30. *Фрейд* Зигмунд (1856—1939) — австрийский врач-психиатр и психолог, основатель теории психоанализа — фрейдизма.

БЕЗ СИГАРЫ

Впервые — «Ленинград», 1924, № 5, стр. 7—14.

Стр. 33. *«Суровый Дант не презирал сонета»* — первая строка стихотворения Пушкина «Сонет» (1830).

Стр. 34. *...милая Лотта, вас верный Вертер зовет...* — Шарлотта (Лотта) и Вертер — главные герои романа Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

Стр. 35. *Брунгильда* — персонаж средневекового германского эпоса — «Песни о Нибелунгах» (1200—1205).

Гедда Габлер — героиня одноименной драмы Генрика Ибсена (1828—1906).

— В «Петербурге» Белого уже некто Дудкин бледнеет... — Андрей Белый — псевдоним Бориса Николаевича Бугаева (1880—1934) — поэта, романиста и теоретика символизма. Дудкин — персонаж романа «Петербург» (первое издание — 1916).

Стр. 39. *...во враче-женщине... видит Прекрасную Даму...* — Прекрасная Дама — поэтический образ первой книги А. А. Блока («Стихи о Прекрасной Даме», 1905).

...напомнила в письме миф Платона... — Миф Платона о происхождении и сущности любви, изложенный в одном из его диалогов («Пир»), здесь цитируется в пересказе Ги де Мопассана (пьеса «В старые годы», 1879).

Стр. 45. — *Вы гурия, гурия Магометова сада!* — Гурия — по мусульманским верованиям о загробной жизни, райская дева, красавица.

МОСКОВСКИЕ РАССКАЗЫ

Раздел составляют рассказы, опубликованные О. Д. Форш в 1925—1926 годах в различных журналах и альманахах и затем собранные в отдельную книгу — «Московские рассказы», Л., «Прибой», 1926. В сборник входят девять рассказов, из которых здесь помещается семь. Рассказы расположены в порядке их первой публикации.

БАШНЯ

Впервые — «Ковш». Литературно-художественный альманах, кн. 3, Л., 1925, стр. 123—126.

Стр. 51. *...эта башня...* — Речь идет о Сухаревой башне в Москве, готическом трехъярусном здании, построенном Петром I в 1692 году в честь Сухаревского стрелецкого полка, единственного оставшегося верным во время бунта 1689 года.

...для школ — навигацкой и математической. — Училище математических и навигационных наук было открыто в Сухаревой башне в 1700 году, в 1715 году — переведено в Петербург.

Стр. 52. *Нижинский* Вацлав Фомич (1890—1950) — выдающийся русский танцовщик.

Стоглав — решения церковного собора 1551 года по поводу церковно-монастырского землевладения; были сформулированы в сборнике, содержавшем сто глав.

Стр. 54. *Жорес* Жан (1859—1914) — руководитель французской социалистической партии, вел борьбу против милитаризма. Убит наемным убийцей Вилленом 31 июля 1914 года.

VICTORIA REGIA

Впервые — «Ковш». Литературно-художественный альманах, кн. 3, Л., 1925, стр. 126-128.

«ВСЕМИРНАЯ БАНЯ»

Впервые — «Ковш». Литературно-художественный альманах, кн. 3, Л., 1925, стр. 128—132.

Стр. 62. *...в предместье, когда-то воспетом Карамзиным...* — Речь идет о повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792).

ПЯТЫЙ ЗВЕРЬ

Впервые — «Ковш». Литературно-художественный альманах, кн. 3, Л., 1925, стр. 132—140.

Стр. 70. *Шаляпин в «Юдифи»...* — «Юдифь» — опера А. Н. Серова (1820—1871). Шаляпин исполнял в ней партию Олоферна.

Стр. 71. *...аллигатор, которому, по... Майн Риду, полагается жевать негров и оставлять «кровавую пену на водах Замбези».* — Это выражение встречается в романах Майн Рида (1818—1883) «Квартеронка» и «Приключения молодых буров».

...убитый Зигмундом и Георгием Победоносцем... — Речь идет, по-видимому, о Зигфриде (в рассказе ошибочно Зигмунд) — одном из главных героев средневекового германского эпоса «Песнь о Нибелунгах». Согласно легенде, Зигфрид убил дракона и выкупался в его крови, отчего стал неуязвимым. Георгий Победоносец — мифический христианский святой, тоже победитель дракона.

Стр. 74. *А не угодно ль сапожника — Якова Бёме?* — Бёме Якоб (1575—1624) — немецкий ремесленник, философ-мистик.

ВО ДВОРЦЕ ТРУДА

Впервые — «Прожектор», 1925, № 14, стр. 2—7; № 15, стр. 19—21.

Стр. 88. *...как четверть века назад, когда... увезли тетушки из института.* — Речь идет о Николаевском сиротском институте, в котором училась О. Д. Форш с 1884 по 1891 год. Рассказ носит автобиографический характер.

На правой группе, посаженной скульптором Витали, с отбитой подписью: «Просвещение»... — Декоративная скульптура, изображающая аллегорию — Милосердие и Воспитание, была создана русским скульптором И. П. Витали (1794—1855) в 1832—1835 годах и украшала ворота Воспитательного дома, в котором помещался Николаевский сиротский институт. После перестройки соседнего здания Опекунского совета эти ворота стали въездом к обоим домам (ныне — Солянка, дд. № 12 и № 14).

Стр. 95. *«Фермопилы» — звался в честь древней доблестной битвы этот узкий проход.* — Узкий горный проход из Фессалии (Северная Греция) в Локриду (Средняя Греция) вошел в историю как место знаменитой битвы 480 года до н. э., где триста греков долго удерживали многочисленное персидское войско, пока все не погибли.

Стр. 96. *Пепиньерка.* — Пепиньерками назывались девушки, окончившие закрытое учебное заведение (институт) и оставленные в нем для педагогической практики.

Стр. 97. *...изучать французские непристойности по Рабле и Вольтеру.* — Имеются в виду роман Франсуа Рабле (1494—1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль» и сатирическая поэма Франсуа Мари Аруэ Вольтера (1694—1778) «Орлеанская девственница».

Стр. 100. *— Ну, вспомни Деция Муса...* — Героиня рассказа перепутала имена древнеримских героев, приписав подвиг Марка Курция, который легенда относит к 362 году до н. э., Публию Децию Мусу, пожертвовавшему жизнью ради отечества в битве 343 года до н. э.

САЛТЫЧИХИН ГРОТ

Впервые — «Огонек», 1926, № 36, стр. 10—12, под названием «Подмосковная». Заглавие «Салтычихин грот» дано в сборнике «Московские рассказы», Л., «Прибой», 1926, стр. 38—53.

Стр. 104. *...Салтычиха загубила более сотни своих крепостных.* — Рассказ Пети Ростаки о Салтычихе (Салтыковой Дарье Николаевне, 1730—1801) исторически точен.

Стр. 112. *На плакате изображен был Иона...* — Согласно библейскому сказанию, кит проглотил Иону вместе с плотом, на котором он плыл по морю.

«Не о хлебе едином жив будет человек» — евангельское изречение.

Стр. 113. *Мазуркевич* Владимир Александрович (1871—1942) — русский поэт, автор популярных в начале XX века водевилей и «монологов».

Сологуб — псевдоним Федора Кузьмича Тетерникова (1863—1927), поэта и романиста декадентского направления.

Стр. 114. *...юных таитян с картины Гогена...* — Картины французского художника Поля Гогена (1848—1903) посвящены жизни коренных обитателей острова Таити, где он прожил много лет.

Стр. 116. *«Прожектор»* — иллюстрированный литературно-художественный и сатирический журнал, издавался в Москве с 1923 по 1935 год. В нем печаталась и сама О. Д. Форш.

СОВМЕСТИТЕЛЬ

Впервые — сб. «Московские рассказы», Л., «Прибой», 1926, стр. 79—90.

Стр. 121. *Иверская* часовня находилась вблизи здания Исторического музея при входе на Красную площадь. В 1929 году была снесена.

Стр. 124. *...насчет марокккских делов... Нашей... санкции нет, чтобы рифов решать...* — Речь идет о подавлении в 1925 году Испанией и Францией национально-освободительного движения в испанском Марокко, получившего особенный размах на северо-востоке страны, населенном племенами рифов.

Стр. 126. *«Тюня»* — испорченное «туника» — спортивная одежда первых советских физкультурников, придуманная в подражание древней Элладе.

ПОД КУПОЛОМ

Замысел цикла рассказов и очерков о загранице осуществлялся уже в ходе путешествия О. Д. Форш по Франции и Италии в апреле — декабре 1927 года. В статье о посещении Сорренто в конце 1927 года Н. Асеев рассказывает: Ольга Форш «написала за время своей заграничной поездки двенадцать рассказов, теперь переписывает их на маленькой дорожной ма-

шинке и в перерывах заходит к нам... рассказывать нам о Франции увлекательно и остроумно» (см. «В гостях у Горького». — Горький. Сборник статей и воспоминаний. М., ГИЗ, 1928, стр. 472). В книгу О. Форш о поездке по Франции и Италии действительно вошло двенадцать рассказов и очерков, однако лишь два из них были завершены и опубликованы во время путешествия, остальные еще дорабатывались и редактировались позднее. Вскоре после возвращения на родину О. Д. Форш сообщала о своих творческих планах: «Ближайшая моя работа — подведение итогов моим заграничным впечатлениям (очерки и рассказы). Материал — Франция (от Парижа до Люшона) и Италия (от Турина до Сорренто)» (газета «Читатель и писатель», 1928, № 6, 18 февраля).

На протяжении 1928—1929 годов рассказы и очерки публиковались в журналах, а затем были объединены в книге «Под куполом», Л., «Прибой», 1929. В апреле 1929 года Форш писала А. М. Горькому: «Посылаю вам свою новую книгу «Под куполом», где «Лурдские чудеса» — посвящены вам. По-моему, они вышли удачней прочего, кроме того, запомнилось, как хорошо вы смеялись, когда я вам кое-что оттуда рассказывала в лицах» («Горький и советские писатели. Неизданная переписка». — «Литературное наследство», т. 70, 1963, стр. 606). В ответном письме Горький выразил свое восхищение новой книгой Форш: «Книжку вашу прочитал с наслаждением, — очень хорошая, «сытная» книжка, эдакая кулебяка, начинки — много, начинка — разнообразная, и все анафемски вкусно, хорошо видит глазок у вас, и язычок хорошо заострен. Старый, прокопченный литератор и читатель, я такие книги, как «Под куполом», читаю — т. е. воспринимаю — с радостью. Я — «извиняюсь» — очень русский, очень варвар, и, как таковой, обожаю людей, живущих без «купола» над ними. Как хотелось бы, чтоб француз без «традиций» и знающий дух нашего языка перевел вашу книгу на

свой, элегантный! Вот шокировался бы Париж» (М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 30, М., 1956, стр. 138).

В настоящий раздел вошли десять рассказов и очерков; сохранен тот порядок расположения, который дан автором в сборнике и, несомненно, связан с идейным замыслом цикла.

Эпиграф к циклу — цитата из произведения Ф. М. Достоевского «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863).

ПОД КУПОЛОМ

Впервые — «Звезда», 1927, № 10, стр. 110—120, под названием «На Западе. Под куполом». По-видимому, Форш предполагала назвать цикл — «На Западе». Очерк стал заглавным для всего цикла в сборнике 1929 года.

Стр. 136. *Петлюра* Симон Васильевич (1877—1926) — один из главарей националистической контрреволюции на Украине. После разгрома контрреволюции эмигрировал во Францию; был убит в Париже.

...к поражавшему его мысль Пантеону. — Церковь аббатства святой Женевьевы была построена в 1763—1790 годах по проекту архитектора Ж. Суффло. В 1791 году Учредительным собранием церковь была объявлена национальным Пантеоном.

...сходство с далеким Исаакием, отбросившим наконец-то свои костыли. — Речь идет о выпрямлении колонн Исаакиевского собора, которое длилось 16 лет — с 1882 по 1898 год.

Стр. 137. *...от исторической надписи, данной Конвентом, дважды зачеркнутой реставрацией и Наполеоном и навеки проставленной наконец при великолепном торжестве погребения Виктора Гюго.* — С 1806 по 1830 и с 1851 по 1885 годы Пантеон снова назывался церковью святой Женевьевы. В 1885 году, по случаю погребения Виктора Гюго, название «Пантеон» было восстановлено.

...отокары Кука... — автобусы английского туристического агентства Кука.

Стр. 138. *...мимо нежно-матовых фресок Шаванна...* — Фрески «Жизнь св. Женевьевы» французский художник Пьер Пювис де Шаванн (1824—1898) писал на протяжении 22 лет (1876—1898).

На вторую годовщину перемирия, тринадцатого ноября... — Перемирие между Германией и странами Антанты было подписано 11 ноября 1918 года в Компеньском лесу (Франция).

Гамбетта Леон Мишель (1838—1882) — французский политический деятель, сторонник продолжения франко-прусской войны (1870—1871) до полного освобождения французской территории.

...под Триумфальною аркою. — Триумфальная арка в Париже сооружена в память побед наполеоновской армии по проекту архитектора Шальгрена в 1806—1836 годах.

Жорес — см. прим. к стр. 54.

Бертело — Бертело Пьер Эжен Марселен (1827—1907) — французский химик и политический деятель.

Стр. 139. *Мирабо* Оноре Габриель (1749—1791) — деятель французской революции 1789 года, прославленный оратор; был погребен в Пантеоне (15 апреля 1791 года).

...странным ярмарочным чудом святого Дени, несущего в руках собственную голову. — Согласно преданию, католический святой Дионисий после казни его врагами христианства поднял собственную голову и понес ее в руках.

«Institut de France» — Французский институт, высшее научное учреждение Франции, был основан в 1795 году, объединив пять академических учреждений: Академию наук (математические и естественные науки), Французскую академию (французский язык и литература), Академию изящных искусств (живопись, архитектура, музыка, эстетика), Академию надписей

и изящной словесности (археология, востоковедение, языковедение) и Академию нравственных и политических наук (философия, право, история, экономика). Все пять академий собираются 25 октября, в годовщину учреждения института Конвентом, на общее годичное торжественное собрание, которое происходит в круглом зале, под куполом (в бывшей часовне). Здесь же проводятся торжественные заседания при приеме новых членов.

...на выборах нового «бессмертного», Поля Валери... — «Бессмертными» называются сорок членов Французской академии. Поль Валери (1871—1945) — поэт и публицист, сторонник «чистого искусства», признанный стилист, был избран во Французскую академию в 1925 году.

...я сам, вслед за вашим Мопассаном, бывало, бранил ее... — После сооружения башни Эйфеля Мопассан и несколько других виднейших писателей подписали протест против башни, «уродующей облик Парижа».

Нотр-Дам — собор Парижской богоматери; построен в XII—XIII веках.

Стр. 141. *Метерлинк* Морис (1862—1949) — бельгийский драматург и поэт, символист.

Стр. 142. *...как в музее Гревен...* — Речь идет о парижском музее восковых фигур, основанном в 1882 году художником Альфредом Гревеном (1827—1892).

Стр. 143. *...мимо статуи Кондорсе...* — Бронзовая статуя французского математика и философа Жана Антуана Кондорсе (1743—1794) возвышается вблизи Французского института.

...сдержанно-неистовым движением выставлялся вперед Боссюет, с другой... застыл Фенелон. — Боссюэ Жак Бенинь (1627—1704) — французский церковный деятель, историк и писатель эпохи Людовика XIV. Фенелон Франсуа (1651—1715) — французский писатель, один из ранних предшественников просветителей XVIII века. Здесь речь идет об их скульптурных портретах.

...«Institut» основан еще Ришелье для охраны языка и латинской культуры... — Здесь речь идет о Французской академии, основанной кардиналом Ришелье (1585—1642) в 1635 году.

Стр. 145. *...парнасцы вокруг Леконт де Лиля...* — Леконт де Лиль (1818—1894) — французский поэт, создатель и вождь парнасской школы, провозгласившей как основные художественные принципы «бесстрастие» и «объективность». Для парнасцев характерен демонстративный уход от тем современности в мифологию и античную древность.

Стр. 146. *Коклен* Бенуа Констан (старший) (1841—1909) — французский актер, выступавший главным образом в комедийном репертуаре; играл в театре Французской комедии.

Мунэ-Сюлли Жан (1841—1916) — французский трагический актер, связанный с традициями классицизма.

Стр. 147. *...речь Антония над трупом Цезаря!* — Марк Антоний (82—30 до н. э.) — римский государственный деятель и полководец, сподвижник Юлия Цезаря (100—44 до н. э.). Его речь по поводу убийства Цезаря — образец ораторской иронии.

Стр. 148. *...выразительного монумента Вольтеру, чью память столь ядовито закрепил над Сеной Гудон...* — Речь идет о памятнике Вольтеру работы французского скульптора Жана Антуана Гудона (1741—1828). Авторская копия в мраморе находится в Эрмитаже.

Стр. 149. *...про балет Дягилева.* — Русский художественный и театральный деятель Дягилев Сергей Павлович (1872—1929) был организатором ряда русских художественных выставок и балетных спектаклей в Париже и Лондоне.

...лучше, чем в «Комедии». — Французская комедия — парижский театр с классическим репертуаром; ведет начало от труппы Мольера, возникшей в 1680 году.

Стр. 150. *Флобера, Бодлера... Осужденные у вас — расцветают у нас.* — Роман Гюстава Флобера (1821—1880) «Госпожа

Бовари» подвергся в 1857 году судебному преследованию за «оскорбление общественной морали, религии и добрых нравов». Сборник Шарля Бодлера (1821—1867) «Цветы зла» (1857) также подвергся судебному преследованию; Бодлер и его издатель были приговорены к денежному штрафу. После смерти Бодлера суд Второй империи осудил сборник стихотворений, не вошедших в «Цветы зла», — «Обломки». Только в 1946 году, по требованию коммунистической фракции, Учредительное собрание Франции отменило эти решения. Творчество Бодлера оказало значительное влияние на русских символистов, в частности — на Брюсова.

Гоген Поль (1848—1903) — французский художник.

...в галерее, собранной русским купцом... — Имеется в виду С. И. Щукин.

Стр. 151. *Тацит* Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — римский историк.

...философ Бергсон определил всю цивилизацию как «чувство меры». — Имеется в виду работа французского философа-идеалиста Анри Бергсона (1859—1941) «Творческая эволюция» (1907).

Стр. 152. *Эгалите, либерте, фратерните* (франц. égalité, liberté, fraternité) — равенство, свобода, братство — девиз буржуазной французской революции 1789 года.

КУКЛЫ ПАРИЖА

Впервые — сб. «Под куполом», Л., «Прибой», 1929, стр. 23—36.

Стр. 157. *...куклы «Нана»...* — Куклы названы именем героини романа Э. Золя «Нана» (1880).

Стр. 159. *...драгоценным камнем горело за ним витро древней готики.* — Витро, или витражи, в готических соборах — окна со сложными изображениями из цветных стекол.

Стр. 160. *Вандомская колонна* — установлена на Вандомской площади в Париже в 1806—1810 годах. Колонна отлита из бронзы неприятельских пушек и увенчана статуей Наполеона. Ее высота 43,5 метра.

ПАРИЖ С ПТИЧЬЕГО «ДУАЗО»

Впервые — «Красная новь», 1928, № 5, стр. 210—216.

Стр. 165. *...как для Мопассана... башня Эйфеля, от которой, как известно, он в ужасе убежал.* — В книге путевых очерков «Бродячая жизнь» (1890), Ги де Мопассан писал: «Я покинул Париж и даже Францию, потому что Эйфелева башня чересчур мне надоела».

Стр. 166. *...египетского Фуада.* — Фуад I Ахмед (1868—1936) — египетский король с 1922 по 1936 год.

Дуров Анатолий Леонидович (1865—1916) — известный русский дрессировщик и клоун-сатирик.

«Action française» — реакционная ежедневная газета, выходила в Париже с 1908 по 1944 год. В 20—30-х годах стала фашистской газетой.

Стр. 167. *...постановка на тему Пруста — «Les jeunes filles en fleurs»...* — Речь идет о произведении Марселя Пруста (1871—1922) «Под сенью девушек в цвету» (1919), представляющем часть многотомного романа «В поисках утраченного времени».

...в день бегства Леона Доде... — Доде Леон (1868—1942) — политический авантюрист, французский журналист и публицист, один из руководителей французской монархической лиги, сотрудник газеты «Action française».

Стр. 168. *Сорбонна* — ныне часть Парижского университета, первоначально богословская школа, основанная в 1253 году каноником Робером Сорбоном (1201—1274), духовником короля Людовика IX.

Конт Огюст (1798—1857) — французский социолог и философ-позитивист.

Стр. 171. *Жанна д'Арк* (1412—1431) — национальная героиня Франции, во время войны с Англией возглавившая патриотическое движение народа против оккупантов. По наветам католических церковников была обвинена в «связях с дьяволом» и по приговору инквизиции сожжена на костре. Позднее той же католической церковью был начат процесс ее реабилитации, в результате которого в 1919 году Жанна д'Арк была канонизирована в качестве святой.

Стр. 172. *...шла пьеса Бернарда Шоу...* — Пьеса Бернарда Шоу (1856—1950) «Святая Иоанна» (1923).

Стр. 173. *В Champs-Elysées идет... «Ревизор».* — Комедия Н. В. Гоголя «Ревизор» была поставлена на сцене театра Champs-Elysées в 1927 году.

...отрывки из биографии Кулиша... — Имеются в виду «Записки о жизни Н. В. Гоголя» в двух томах (СПб., 1856), выпущенные украинским писателем, этнографом и публицистом П. А. Кулишом (1819—1897).

...приведено письмо Гоголя после первого представления... — Речь идет об «Отрывке из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору», датированном 25 мая 1836 года и опубликованном впервые в 1841 году.

На пьесу самим Жувеном, прекрасным исполнителем Жюля Ромена, затрачено немало сил... — Жувэ Луи (1887—1951) — французский актер; в театр Champs-Elysées перешел в 1922 году, был режиссером, с 1927 года — руководителем труппы. На сцене играл главным образом в пьесах Мольера, Жюля Ромена, Жана Жироду. В «Ревизоре» Жувэ исполнял роль Хлестакова. Жюль Ромен — литературный псевдоним французского писателя Луи Фаригуля (р. 1885).

...Андре Жид, наивно попавшись на письмах Достоевского, распинается в целой книге... — Книга Андре Жида (1869—1951) о Достоевском (1923) включает статью «Переписка Достоевского», опубликованную впервые в 1908 году. Мысль, на которую обращает внимание О. Форш, развивается и в других разделах книги Андре Жида.

Стр. 174. *Давыдов* Денис Васильевич (1784—1839) — поэт, герой Отечественной войны 1812 года, один из зачинателей партизанского движения.

Стр. 175. *Верлен* Поль (1844—1896) — французский поэт-лирик, оказавший влияние на русский символизм.

...похоже у Гете в ауэрбаховском погребке... — Сцена «Погребок Ауэрбаха в Лейпциге» из «Фауста» Гете.

Стр. 178. *Доде* Альфонс (1840—1897) — французский писатель-романист.

КЛАДБИЩЕ ПЕР-ЛАШЕЗ

Впервые — «Красная новь», 1928, № 5, стр. 216—222, под названием «Пер-Лашез».

Стр. 179. *Пер-Лашез* — кладбище, получившее свое название от имени духовника Людовика XIV — иезуита Франсуа Лашеза (1624—1709), дом которого находился на месте, где позднее была построена кладбищенская часовня.

...Лафонтен... обессмертил своей басней лесть. — Имеется в виду басня Лафонтена «Ворона и лисица».

Стр. 180. *Сторож... прирожденный резонер, как второй могильщик у Шекспира...* — См. трагедию Шекспира «Гамлет» (1600—1601), акт V, сц. 1.

Стр. 181. *...юных и прекрасных существ — Абеляра и Элоизы...* — Абеляр Пьер (1079—1142) — французский философ и богослов, учение которого было объявлено еретическим. Трагический конец любви Абеляра к Элоизе — юной племяннице

влиятельного парижского каноника Фульбера — вынудил их обоих вступить в монастырь.

...на памятнике нашего великого баснописца... — Речь идет о памятнике Жану Лафонтену (1621—1695).

Бернарден де Сен-Пьер Жак Анри (1737—1814) — французский романист и естествоиспытатель, ученик Руссо.

Парни Эварист Дезире де Форж (1753—1814) — французский поэт.

Стр. 185. *Неопалимая купина* — горящий, но не сгорающий куст (библейский образ).

СОБАЧЬЕ ЗАСЕДАНИЕ

Впервые — «Красная новь», 1928, № 6, стр. 176—181.

Стр. 191. *...ваш народный мудрец... Кузьма Прутков.* — Козьма Прутков — коллективный псевдоним писателей А. К. Толстого (1817—1875) и братьев А. М. Жемчужникова (1821—1908) и В. М. Жемчужникова (1830—1884). У Козьмы Пруткова афоризм звучит так: «Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану».

Стр. 193. *...мечты Жуковского об идеальной казни.* — Имеется в виду статья В. А. Жуковского (1783—1852) «О смертной казни» (1849), в которой предлагалось предавать казни под церковное пение о спасении души казнимого.

Стр. 195. *Гинденбург* Пауль (1847—1934) — германский фельдмаршал, президент Германии в 1925—1934 годах.

Стр. 196. *...затеяли на днях столь гигантский прыжок на воздушной птице из Парижа в Нью-Йорк!* — Попытка французских летчиков Ненжессера и Коли перелететь через океан оказалась неудачной, оба они погибли.

Стр. 199. *Лассаль* Фердинанд (1825—1864) — немецкий мелкобуржуазный социалист, участник революции 1848 года.

ЛЕБЕДЬ НЕОПТОЛЕМ

Впервые — «Огонек», 1927, № 44, стр. 14—15, с подзаголовком: «Рассказ из французской жизни».

ЛЬВИЦА ЛЮСИ

Впервые — «Красная нива», 1929, № 6, стр. 4—7.

Стр. 213. *Савонарола* Джироламо (1452—1498) — итальянский монах, религиозный и политический реформатор, обличавший продажность и развращенность римских пап, за что был сожжен на костре инквизиции.

Стр. 214. *«Эхо Парижа»* — ежедневная националистическая и клерикальная газета; основана в 1884 году.

«Petit Parisien» — ежедневная парижская газета, орган радикалов-республиканцев; издавалась с 1876 по 1944 год.

«Le Sourire» — иллюстрированный развлекательный еженедельник; печатал объявления, в которых девушки предлагали себя в качестве содержанок. Основан в 1898 году.

«Humanité» — парижская газета; основана в 1904 году Ж. Жоресом как орган французской социалистической партии; с 1920 года — центральный орган коммунистической партии Франции.

Стр. 216. *«...операций русского ученого де Воронбф».* — Речь идет об известном русском хирурге С. А. Воронове (1866—1951), занимавшемся проблемой омоложения посредством пересадки желез.

Стр. 218. *Тиверий* (Тиберий) Клавдий Нерон (42 до н. э. — 37 н. э.) — римский император.

Октавиан Август (63 до н. э.— 14 н. э.) — римский император.

Стр. 219. *...зазвал Ришелье. Для приезда «дюка»...* — Ришелье Арман де (1696—1778) — внучатый племянник кардинала

Ришелье, влиятельный придворный Людовика XV. Дюк — герцог (франц. duc).

Стр. 222. *Вагнер* Рихард (1813—1883) — немецкий композитор, поэт, драматург.

В АВТОМОБИЛЕ

Впервые — «Красная нива», 1928, № 41, стр. 4—6, под названием: «По Италии на автомобиле».

Стр. 232. *...картину Давида...* — Картина французского художника Жака Луи Давида (1748—1825) «Наполеон при переходе через Сен-Бернар» (1800).

Франциск Ассизский (1182—1226) — основатель монашеского ордена францисканцев; канонизирован католической церковью как святой.

Стр. 234. *«Каморра»* — организация уголовных элементов в Неаполе, существовавшая на протяжении XVI—XIX веков и занимавшаяся тайными убийствами, бандитизмом и т. д.

...историю, совсем подобную той, что случилась еще с Герценом. — Имеется в виду случай с пропавшим портфелем, возвращенным неаполитанскими лаццарони по объявлению, рассказанный А. И. Герценом в его «Письмах из Франции и Италии» (1847—1852).

Стр. 242. *...любил изображать Рерих.* — Имеются в виду картины раннего периода творчества (1904—1914) русского художника Н. К. Рериха (1874—1947).

ПОСЛЕДНЯЯ РОЗА

Впервые — «Новый мир», 1929, № 2, стр. 149—162.

Стр. 246. *Карл Лысый* (823—877) — король Франции с 840 года, позднее — германо-римский император и король Италии (с 876 г.).

Стр. 247. *...Реймсский собор богаче, Амьенский совершеннее, — собор Шартра единственный, неповторимый... Это более Франция, чем Версаль...* — Реймсский, Амьенский и Шартрский соборы — знаменитые соборы Франции, построенные в готическом стиле в XI—XIII веках. Версаль — грандиозный архитектурный ансамбль недалеко от Парижа — главная резиденция французских королей с XVII века.

Наш Перикл не Луи Четырнадцатый, а Людовик Святой... — Перикл (ок. 490—429 до н. э.) — афинский государственный деятель, при котором Афины стали политическим, экономическим и культурным центром древнего мира. Людовик IX (1215—1270) был канонизирован католической церковью в качестве святого.

Стр. 261. *...Литературные заслуги шартрской Notre Dame — обращение Гюисманса, Пеги и главным образом внука давнего, все еще ненавистного врага церкви, Ренана — поэта Псикари.* — Французский романист натуралистической школы Гюисманс Жорж Карл (1848—1907) к концу жизни стал рьяным католиком. Пеги Шарль (1873—1914) — французский публицист и поэт. Ренан Эрнест Жозеф (1823—1892) — французский историк религии, автор знаменитой книги «Жизнь Иисуса». Псикари Эрнест (1883—1914) — французский писатель.

ЛУРДСКИЕ ЧУДЕСА

Впервые — «Звезда», 1928, № 11, стр. 89—128. Очерк был посвящен А. М. Пешкову (Горькому).

Стр. 270. *Купол Брунеллески казался такой нечаянной легкости...* — Речь идет о грандиозном куполе флорентийского собора, сооруженного Филиппо Брунеллески (1377—1446) в 1420—1436 годах.

...Давид... стоял весь подобранный... — Мраморное изваяние Давида стоит у входа в палаццо Веккио. Подлинник создан Микеланджело в 1501—1504 годах (находится в музее Флорентинской академии).

...к нише Уффиций... — Галерея Уффици — крупнейший музей изобразительного искусства.

Стр. 272. *Лука делла Роббиа* (1400—1482) — итальянский скульптор.

Фра Джироламо — брат Джироламо, монашеское имя Савонаролы.

Стр. 273. *...как в книге схимника из «Страшной мести»...* — В повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» (1832) буквы священной книги у схимника Печерской лавры налились кровью, когда к нему в пещеру явился страшный злодей колдун с просьбой помолиться за его погибшую душу.

Стр. 274. *...из библиотеки св. Женевьевы.* — Здание этой библиотеки построено по проекту архитектора Анри Лабруста в 1843—1850 годах. Фасад выходит на площадь Пантеона.

...здание покровительницы города... — Покровительницей Парижа считалась святая Женевьева.

Стр. 275. *...подробности распри иезуитов и знаменитого Пор-Рояля...* — Пор-Рояль — монастырь около Версаля; в XVII веке — центр янсенизма, противников иезуитов. Папа объявил янсенистов еретиками, Людовик XIV тоже стал на сторону иезуитов, и в 1712 году версальский Пор-Рояль был разрушен.

И несется звездой на коне В хороводе других амазонок... — Здесь рассказчик подшучивает над собеседником: приведенные строки (как и продолжение — «Улыбается с лошади мне...») не стихи раннего Блока, а сочинение капитана Лебядкина из романа Ф. М. Достоевского «Бесы» (1871—1872). Первая строка приведена неточно. У Достоевского: «И порхает звезда на коне...»

Стр. 277—278. *Вы продолжатель Флобера, который учил, сокращая до предела определение характера предмета, давать его в одном слове.* — Имеются в виду суждения Гюстава Флобера о стиле, высказанные в его переписке.

Стр. 278. *У нас, если любовник ревнует, то не бежит, как в романе Достоевского, кидаться на шею счастливому сопернику...* — Имеется в виду герой-рассказчик романа Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные» (1861) Иван Петрович.

Стр. 280. *Пастер* Луи (1822—1895) — французский биолог, основатель современной микробиологии.

Стр. 281. *...эрудите Лонэ, который еще по приказу Людовика XIV разоблачал придуманность жизнеописаний многих святых.* — Речь идет о французском богослове Жане Лонуа (1602—1678), исследователе первых времен христианской церкви во Франции.

Стр. 283. *...на площади Дениса Дюссуба.* — Дюссу Дени — брат депутата Законодательного собрания левого республиканца Гастона Дюссу. Вместо больного брата надел депутатский шарф, выступил (2 декабря 1851 г.) против Луи Наполеона и был убит.

Стр. 284. *...бывшим д'Аннунцио...* — Д'Аннунцио Габриеле (1863—1938) — реакционный итальянский писатель-декадент, один из провозвестников фашизма. После утверждения фашизма в Италии получил титул князя.

Стр. 285. *...для нее... написан «Святой Себастьян».* — Мистерия «Мученичество св. Себастьяна» была написана Габриеле Д'Аннунцио в 1911 году для артистки Иды Рубинштейн (р. 1880).

Стр. 289. *...попадают в страну Сирано де Бержерака...* — Имеется в виду Гаскония. Сирано де Бержерак (1620—1655), по рождению парижанин, служил в роте гасконцев; Ростан в своей пьесе изображает его гасконцем и по происхождению.

Стр. 290. *...миракулисты, признающие чудом...* — Миракулисты — производное от французского слова miracle — чудо.

...как советовал в свое время Золя... — Речь идет о романе Э. Золя «Лурд» (1894).

Стр. 291. *...книгу, которую ваш Рим подвел под index.* — Роман Э. Золя «Лурд» был включен Ватиканом в список «еретических книг».

Стр. 292. *...вроде декораций к «Мейстерзингерам».* — Опера Р. Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» написана в 1868 г.

Стр. 295. *Зовется он «Трагедия в Лурде»...* — Речь идет о кинофильме 1923 года «Кредо, или Трагедия Лурда» (режиссер Жюльен Дювевье).

Стр. 296. *...наши экклезиастики молодцы...* — «Экклезиаст» (греч. «проповедник») — одна из так называемых канонических книг Ветхого завета, в которой поэтически выражены настроения пессимизма, отвергаются богатство, слава и почет как «суета сует».

Жироду Жан (1882—1944) — французский писатель.

Стр. 298. *Тик* Людвиг (1773—1853) — немецкий писатель-романтик.

...«Голубом цветке» Новалиса... — Новалис — псевдоним немецкого писателя-романтика Фридриха фон Гардерберга (1772—1801). «Голубой цветок» — символический образ в неоконченном романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген» (1802, посмертно). Поискам голубого цветка посвящает свою жизнь герой романа.

После первой канонизации... — Первая канонизация Бернадетты состоялась в 1858 году.

Стр. 298—299. *...это просто мадонна Мурильо.* — Картина знаменитого испанского живописца Бартоломе Мурильо (1617—1682), известная под названием «Непорочное зачатие».

Стр. 301. *...церемония беатификации Бернадетты была совершена уже совсем в наши дни, в 1925 году.* — Беатификация — акт посвящения умершего в сан святого. Церемония беатификации совершается римским папой по представлению епископа епархии. Объявленный таким образом святой считается святым для определенной местности.

Стр. 302. *...вроде былых панорам Плевны и Карса...* — Плевна — город в Болгарии. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов под Плевной происходили длительные бои. Карс — военная крепость на северо-востоке Турции, которая была во время русско-турецкой войны взята русскими войсками.

Стр. 303. *Голгофа* — холм вблизи Иерусалима, где, по евангельскому преданию, был распят Христос.

...по остроумному наблюдению Гюисманса... — Имеется в виду роман Гюисманса «Толпы из Лурда» (1906).

Пилат Понтий — наместник Иудеи в 25—36 годах н. э. По евангельскому преданию, Пилат не воспротивился решению священнослужителей распять Иисуса Христа.

Стр. 304. *...учеников Сен-Сира...* — Сен-Сир — пансион для благородных девиц, открытый Людовиком XIV и госпожой де Ментенон; позднее — привилегированная военная школа близ Парижа.

Стр. 305. *Здесь со времени Золя...* — Э. Золя посетил Лурд в 1891 году.

Альфонсо XII Бурбон — Альфонс XII (1857—1885), испанский король.

Бюро «медицинских подтверждений» — врачебная комиссия, призванная регистрировать «чудесные» исцеления больных; была создана в 1882 году.

Стр. 308. *Деннер* Бальтазар (1685—1749) — немецкий художник-портретист. Часто изображал стариков и старух.

Стр. 310. *Фабиш* Жозеф (1812—1886) — французский скульптор; с 1860 года — профессор школы изящных искусств в Лионе.

Стр. 313. *«Париж стоит обедни».* — Предание приписывает это изречение французскому королю Генриху IV, который в 1593 году, чтобы вступить на французский престол, отрекся от протестантства и принял католичество.

Массис Анри (род. 1886) — французский критик, воинствующий католик. Здесь приведена цитата из его книги «Защита Запада» (1927).

Стр. 318. *Фортуни* (1838—1874) — испанский живописец и гравер, писал главным образом жанровые картины.

Стр. 319. *...то каких-то авторов «до Константина».* — Константин (ок. 274—337) — римский император, в правление которого христианская религия впервые была признана римским государством. Авторы «до Константина» — пропагандисты христианства, когда оно еще не было государственной религией и преследовалось законом.

Ваш же любезный Жорес в своем предвоенном диспуте с Густавом Эрвье... — В отличие от Жореса (см. прим. к стр. 54), выступавшего против войны, Густав Эрве (1871—1944) начиная с 1914 года занял крайне шовинистические позиции, выступил за войну и в 1916 году порвал с социалистической партией.

Стр. 320. *Философ Бекон брал взятки...* — Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский философ и политический деятель; в 1621 году был обвинен во взяточничестве и присужден к тюремному заключению.

Стр. 327. *Д'Арсонваль* Жак Арсен (1851—1940) — французский физиолог и биофизик, разработал метод лечения высокочастотным электрическим током.

ПЬЕСЫ

ЛЕКТОР-ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Впервые — отдельное издание под названием «Смерть Коперника. (Современный драматический этюд)». М., 1919, за подписью: А. Терек. С некоторыми переделками и под названием «Лектор-заместитель» — в V т. Собрания сочинений, Госиздат, 1930, стр. 84—100.

Стр. 334. *...Как Птоломей и Аристотель учат...* — До открытия Коперника господствовало представление древнегреческого астронома и географа Птоломея (II в.) о неподвижности земли и твердом куполе неба над нею, по которому движутся солнце и звезды. Аристотель (384—322 до н. э.) в своем сочинении «Метеорология», по существу, обосновал эту же идею задолго до Птоломея.

Стр. 335. *Ретикус* (Георг Иоахим Лаухен, 1514—1576) — немецкий астроном и математик, ученик и последователь Коперника.

Стр. 343. *Платон в своем Тимее...* — Речь идет о сочинении древнегреческого философа-идеалиста Платона (427—347 до н. э.) «Тимей», в котором описано устройство и судьба государства, существовавшего некогда на острове Атлантиде.

Пифагор (ок. 571—497 до н. э.) — философ-идеалист, учение которого выражалось в форме арифметической символики с мистическим истолкованием числовых значений. Пифагор рассматривал космос как стройное целое, подчиненное законам гармонии и чисел.

Стр. 348. *Не прогадал Сократ с своей цикутой!* — Греческий философ Сократ (469—399 до н. э.) выпил чашу с цикутой по приговору афинского суда, объявившего его учение кощунством по отношению к богам Олимпа.

ПРИЧАЛЬНАЯ МАЧТА

Впервые — «Звезда», 1929, № 10, стр. 5—52. В начале 1929 года пьеса под названием «Компас» была завершена и предложена к постановке. В том же году была поставлена на сцене в Ленинградском театре госдрамы, ныне Академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Стр. 354. *Стоит ей своим дыханьем...* — Неточная цитата из поэмы американского поэта Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (1855).

Стр. 359. *...куплет из Жирофле-Жирофля.* — «Жирофле-Жирофля» (1874) — оперетта французского композитора Ш. Лекока (1832—1918).

Стр. 364. *Нансен* Фритьоф (1861—1930) — норвежский ученый, исследователь Арктики.

Стр. 377. *Седов* Георгий Яковлевич (1877—1914) — русский полярный исследователь; совершил экспедицию в 1912—1914 годах на парусно-паровом судне к Северному полюсу.

Стр. 379. *Брусилов* Георгий Львович (1884—1914) — лейтенант флота, полярник; речь идет о его экспедиции 1912—1913 годов в Арктику на шхуне «Святая Анна».

Стр. 418. *И в дом мой смело и свободно Хозяйкой полною войди!..* — строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Когда из мрака заблужденья» (1845).

Стр. 419. *Не искушай меня без нужды...* — романс М. И. Глинки на слова Е. А. Баратынского.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕТОШНИЙ СНЕГ

МОСКОВСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОД КУПОЛОМ

ПЬЕСЫ

Ольга Дмитриевна Форш

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, т. 7

Редактор *А. Бихтер*
Художественный редактор Л. Чалова
Технический редактор В. Алексеева
Корректор Л. Никульшина

Сдано в набор 25/XI 1963 г. Подписано к печати 9/VI 1964 г. Бумага 70×108[1]/32. 14,5 печ. л. 19,87 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 16,98+1 вкл.=17,004 л. Тираж 107 500 экз. Заказ № 689. Цена 65 к.

Издательство
«Художественная литература»
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Главполиграфпрома» Государственного комитета Совета Министров СССР по печати, Гатчинская, 26